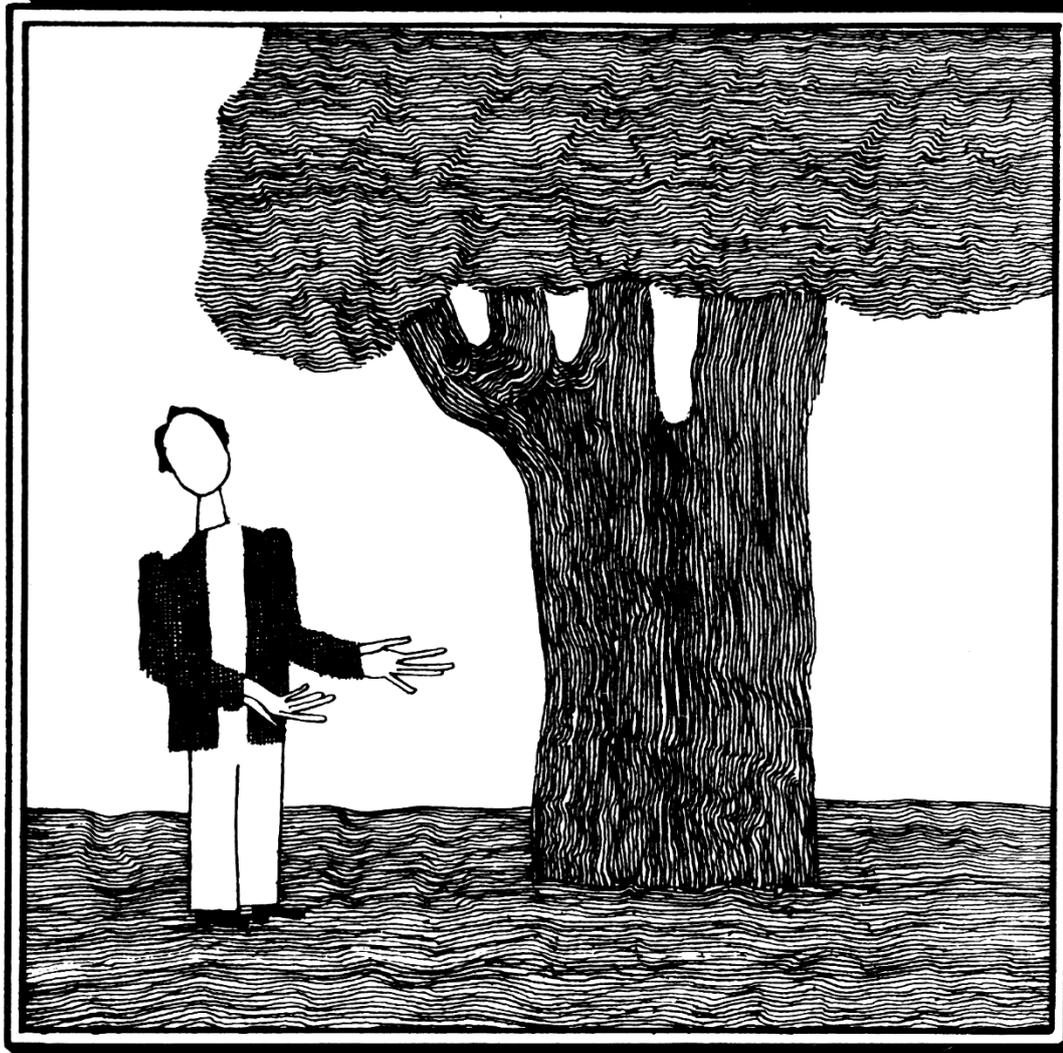
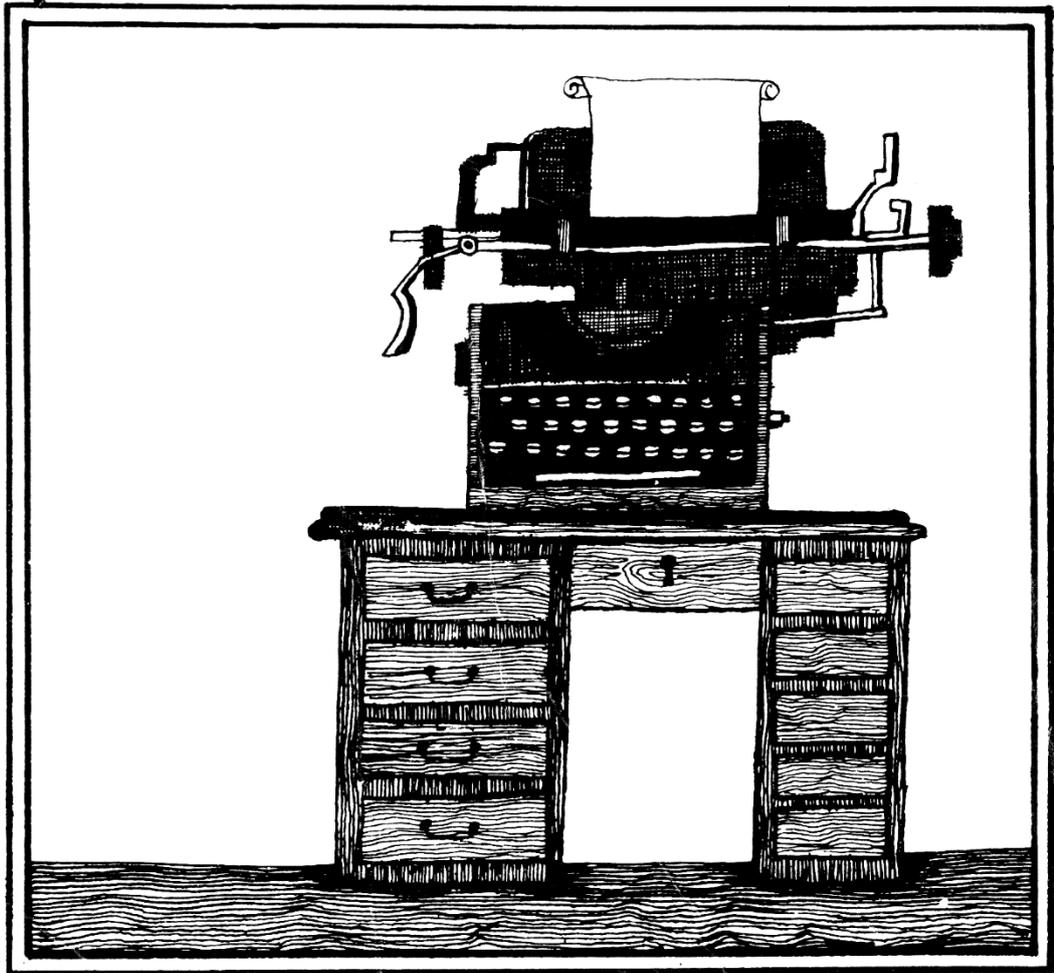
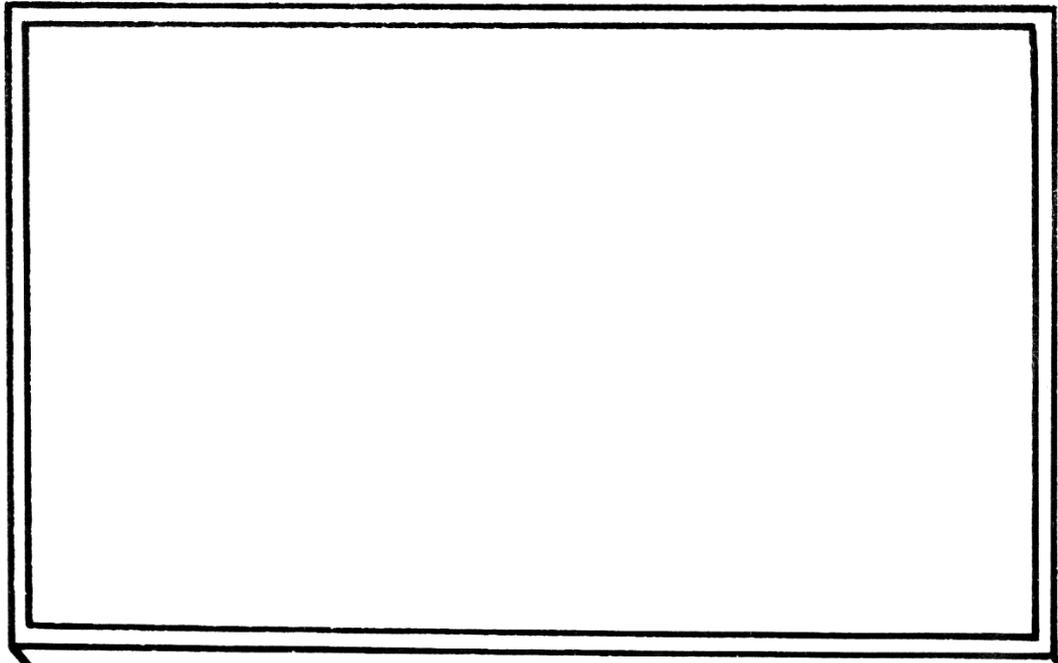


ГРАНТ МАТЕВОСЯН

ХОЗЯИН





ГРАНТ МАТЕВОСЯН

ХОЗЯИН

ПОВЕСТИ

Перевод с армянского

Анаит Баяндур

МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1989

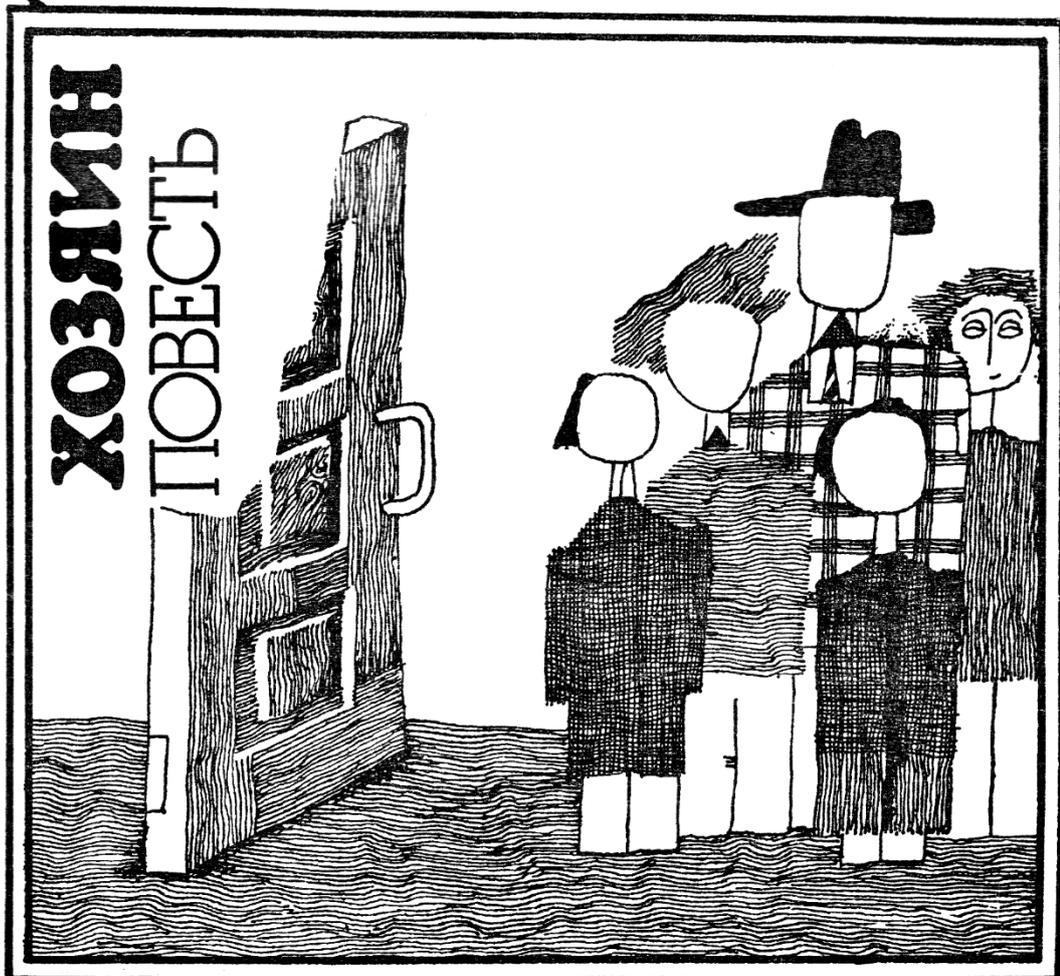
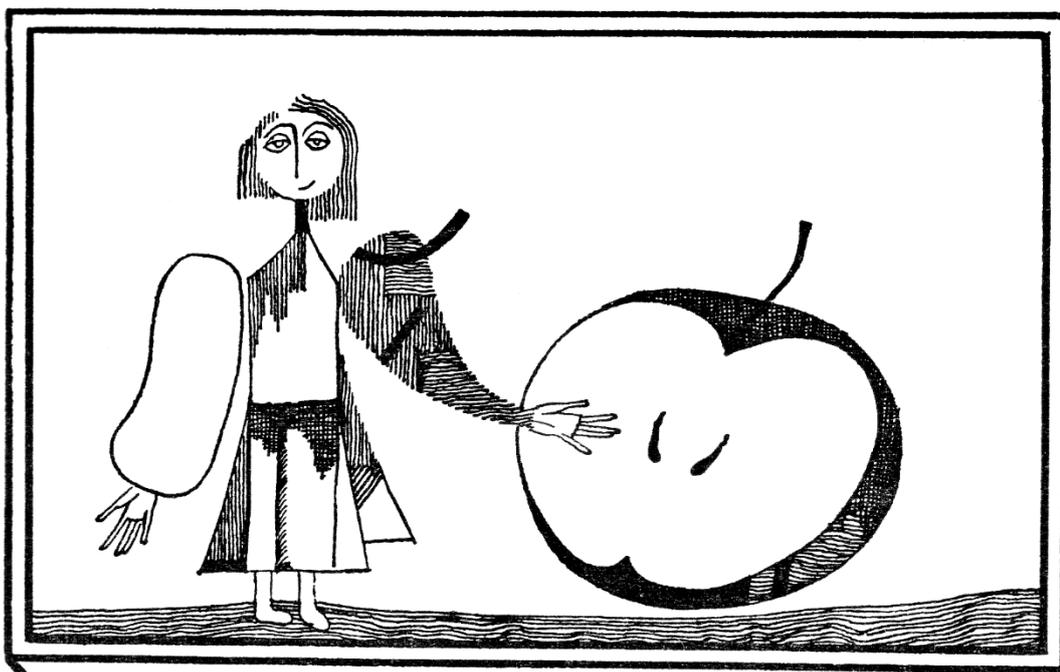
ББК 84 Ар 7
М 34

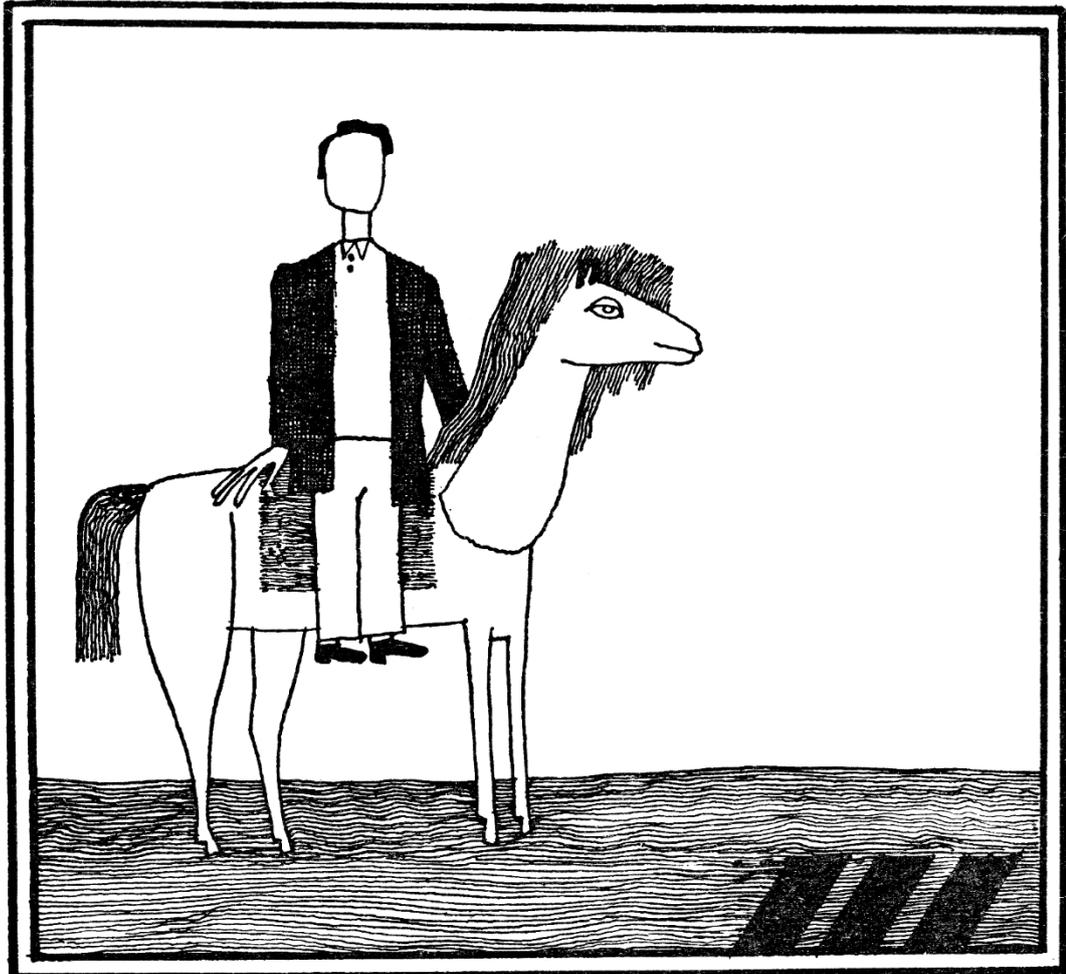
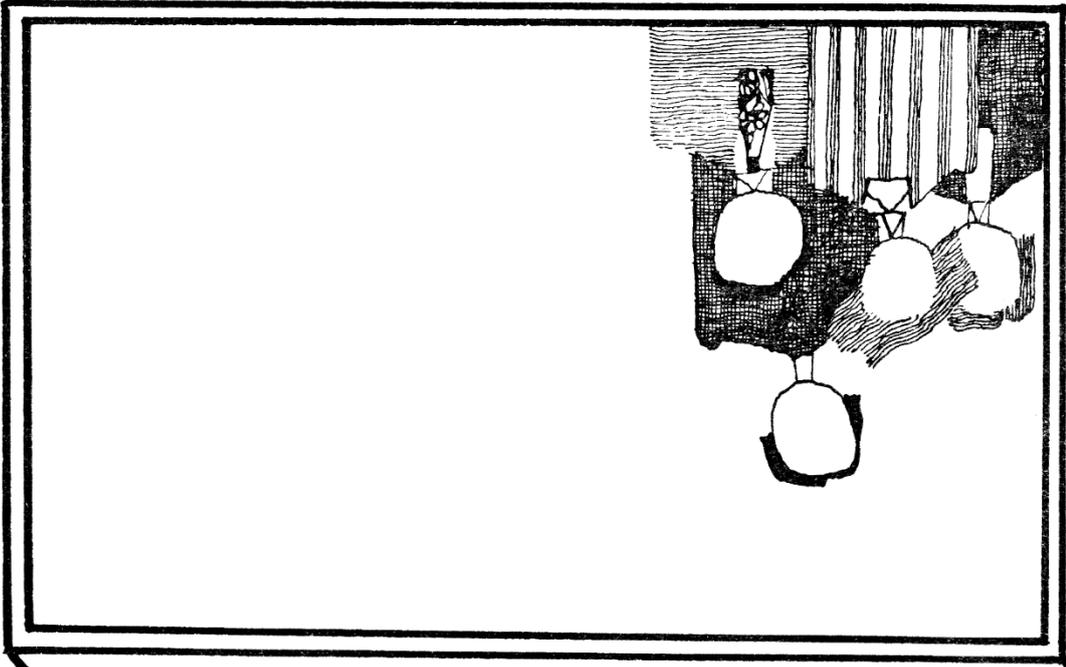
Художник
АШОТ БАЯНДУР

М $\frac{4702080201 - 356}{083(02) - 89}$ 276 - 89

ISBN 5-265-00774-1

© Перевод на русский язык
Издательство «Советский писатель» 1989





В их роскошной, благополучной квартире, в этом грязном, зажатом в ущелье заводском городишке некрасивенькая, щупленькая, любименькая дочурка нашего начальника увидела во сне мечту-сказку, проснулась и рассказала своему всемогущему коротышке отцу, но это был одновременно и сон отца и сон столетней бабушки.

— Значит, так, бабочка... — рассказывала девчушка, — бабочка.

— Бабочка Алла или та, что возле речки летает? — умилялся отец, ещё лёжа в постели. Девчушка была любима всеми и знала, что любима.

— Настоящая бабочка, красная, зелёная, — говорила девчушка.

— Бабочка Алла, значит, летала на бережку вместе с красной бабочкой, — заключил отец.

— Ты не слушаешь, — говорила девчушка, — не слушаешь меня.

— Слушаю... — отвечал отец. — Старые яблони...

— Почему старые?

— Ну ладно, не старые, дальше?

— Значит, так — маленькое озеро, рыбки, цветы, — продолжала девчушка.

— Мосточек, — подбрасывал отец.

— Мосточек, — принимала подсказку девчушка, — через речку мосточек. Но ведь ты не построишь. Не построишь ведь, не построишь!

— Э, Аллочка, воображения у тебя никакого, эка невидаль — мост построить.

Столетняя мать нашего начальника, подававшая своему чаду кофе, очень сну девчушкиному подивилась: «Ребёнок сам увидел этот сон или же мой старый сон рассказывает?»

— Вай-ме, — сказала старуха, — я тоже тогда сон увидела, а мой батюшка-князь всё как по писаному и исполнил.

— Ну-ка, ну-ка, послушаем, что дальше, давай дальше. — Наш начальник хотел свести воедино девчушкин новый и бабкин старый сон и извлечь корень.

— Бабочка, — с ясными утренними глазками рассказывала девочка, — речка, деревья, я и Тузик...

Старуха ушла в воспоминания:

— Мой отец построил, а деревенские из вражды сожгли, не сделай они этого зла, теперь и вода была бы, и деревья, и розы с соловьями, всё наше было бы, а деревенские приносили бы нам мацун и мёд.

— Их собака искушает нашего Тузика, — сказала девчушка.

— И сами они неотёсанные чурбаны, и собаки ихние, — согласилась старуха.

А наш начальник тем временем посерьёзней, нацелился-навострился и уже видел самый красивый уголок нашей земли, там, где были мельница и сад нашего деда, сейчас разорённые, заброшенные.

Но ведь и мы люди, и у нас свои мечты есть — полуспя-полубодрствуя, лежали мы на

том же берегу, и виделось нам, будто бы мы ещё молоды, мы закатали штанины, засучили рукава и купали в речке коня, а из малинника возвращались овитовские молодухи, при виде нас стали подталкивать друг дружку, загалдели: «Да женат он, обручён», «Недостойная-то, смотри, кого себе заграбастала», — и вроде бы они и смущались немножечко, и тайком посмеивались над нами.

Мы проснулись от шума трактора и машин, в секунду вскочили, метнулись из комнаты, взгляделись — там, где старый ток наш, по краю обрыва двигалась маленькая легковая-грузовая машина так называемого руководителя объединённых хозяйств Овита — Цмакута, а за нею грузовик с полным кузовом народа, а за грузовиком трактор-бульдозер.

Сухонькая наша супруга заваривала чай на веранде.

— К лесу не имеет отношения, — высказала она предположение, — в поле, наверное, едут работать.

Сверкнули мы в её сторону глазами, бросились в комнату одеваться...

...Этот отряд, призванный строить прибрежный особняк для нашего нового начальника лесного хозяйства, выехал на покинутое цмакутское гумно и остановился возле дверей старого хлева, народ посыпал из грузовика — здесь были: овитовец, руководитель объединённых хозяйств, тот, кого в народе считают нашим родным братом, его шофёр, сын нашей сестры, зав. животноводческой фермой, парнишка из рода Мураденцев, кого тайно считают нашим потомком (от нас, одним словом, зачатым), два брата руководителя хозяйств — один из них мастер с лесопильни, группа рабочих ребят и три непонятные личности в кожаных пиджаках, кого вообще не знаешь, то ли преступниками считать, то ли тайной милицией, то ли спортсменами. Явились разрушить пустой старый хлев, разобрать его и обеспечить всякие там балки-сваи для особняка. Бессердечные, бездушные, безразличные, деятельные — приставили лестницу, поднялись на чердак, вошли в просторный хлев, обследовали верхние балки и дубовые опоры, пересчитали их (двести штук), расковыряли крышу, побросали несколько черепиц вниз, высунулись в образовавшуюся дырку, крикнули «ку-ку» и похвалили стройматериал: «На всё с лихвой хватит». И ещё удивились, как это, дескать, в старину у этого несчастного села поголовье было дай бог: «Одних коров двести голов здесь стояло». Потом кто-то предложил черепицу не поштучно снимать-складывать («Кому она нужна», «Всё равно там жечь крашенная будет»), а закрепить тросы и трактором разом сдёрнуть («В два дня управимся, а то возись тут десять дней»), в Америке, дескать, старые строения просто взрывают («В кино видели, обкладывают динамитом и взрывают»). Сын нашей сестры ни на шаг не отставал от руководителя хозяйств: дела его на данный момент были неважные, он из кожи лез, старался понравиться, у него здесь, несмотря на то, что здешний, не было ни голоса, ни воли, ни, главное, сострадания к своему гибнущему селу. И среди всего этого делового и бездушного народа наш конь был единственным — жалким, старым и живым существом: стоял чуть поодаль от хлева в несаяных-покинутых полях и смотрел на этот переполох. А эти собрались у дверей хлева и уже открыли бутылку водки по случаю начала работ, некоторое сомнение чувствовалось только в руководителе хозяйств, однако это не было то сомнение, которое могло остановить дело, просто он немножечко колебался, но в руки ему вложили стакан, и в эту минуту он заметил нашего коня. Рассмеялся. Сказал:

— Мой брат Ростом.

Сына нашей сестры, нашего племянника, упоминание о нас не оставило равнодушным.

— Чем меньше мы это имя произносить будем, — буркнул, — тем лучше для всех.

Один из кожаных пиджаков присел на корточки, стал складывать на земле дом из сигарет, объясняя своим товарищам, каким должен быть особняк. Это заинтересовало остальных.

ных, нашлись понимающие, кто-то сказал: «Только на второй этаж тридцать кубометров чистого дуба уйдёт». «Ничего, хватит», — ответили ему (глядя на коровник). У сына нашей сестры, племянничка нашего, на это уже ответ готовый имелся: «А не хватит — вон он, живой стоит».

«Живым стоял» вековой лес.

Хрипя и задыхаясь, мы вышли к току. Лошади своей, что, наострив уши, смотрела на нас, сказали «постой тут», а сами прошли в хлев. У хлева было два входа-выхода — с двух концов, — вход для скотины, где столпились сейчас разорители, и ещё один, к этому входу пристроили когда-то деревянный флигелёк для доярок и скотниц, сейчас пристройка была на замке; мы просунули руку в узкую щёлку, извлекли двумя пальцами ключ, отомкнули, зашли в помещение, когда-то здесь жили люди, радовались, печалились, гордились трудами своими, теперь пустота царила, от прежней жизни два-три знака только сохранилось — переходящее Красное знамя в углу и Доска почёта, на доске фото: доярки, доярки с коровами, просто коровы, тяжёлый бык Донбасс и возле него наш несчастный дядюшка, махонький весь, с прутом в руках. Перед лицом воспоминаний мы закрыли глаза. Мы подошли, взяли свёрнутое знамя. «И всё?» — сказали мы. Потом толкнули дверь, что вела в коровник.

Ряды окон снопами света высвечивали ровные добротные подпорки, ровные стойла, дощатый пол. Глубокое царило молчание. Грусть нас охватила несказанная. Остановились мы, опустили тяжёлые наши веки, постояли так, потом пошли к другому выходу, откуда доносились голоса и виднелись силуэты людей.

На миг мы замерли в дверях, ослеплённые дневным светом, потом воткнули древко на старое место, затворили за собой двустворчатую дверь, протянули руку и потребовали:

— А ну, дайте замок.

И снова прикрыли наши тяжёлые веки и, стоя так, подождали немного. И повторили.

— Здесь замок висел, давайте его сюда.

Мы протиснулись через кожаные пиджаки, мы прошли и встали рядом с теми, кого более или менее считали своими: с сыном нашей сестры, с руководителем хозяйств и прочими. Мы оглядели всех пришлых по одному и сказали:

— Вы в этом краю незнакомые, чужие люди, кто вас сюда звал?

Руководитель хозяйств, приходившийся нам братом, посчитал себя обязанным выступить посредником между нами и этим народом, он сказал, взяв нас за локоть:

— Не хотели мешать тебе, знали, что почивать изволишь, а вообще-то должны были, конечно, поставить в известность, ознакомить со своим решением.

Мы к нему спиной повернулись, отрезали:

— Ты первый враг этому краю, чтоб мы тебя здесь больше не видели, — и повторили: — Кто привёл сюда чужаков?

Сын нашей сестрицы почувствовал, что гроза сейчас над его головушкой разразится, и готовился дать нам достойный отпор.

— Ты? — сказали мы ему, но тут внимание наше привлекла приставная лестница, ведущая на чердак. Растволкав кожаные пиджаки и удостоившись на этот раз их бранчливого презрения («Откуда ещё этот вол тут взялся?»), мы подошли к лестнице, закинули её на чердак, а стоявшему там мураденцевскому парню сказали: «Как забрался туда, так и слазь», — и снова прошли мимо кожанок и дали им подобающий ответ («Ошиблись, не вол, а бугай, знать надо своё стадо») и напустились на сына нашей сестры — ударяя себя по шее, сказали: — Вот на этих вот плечах ты вырос, не знали, что для чужих ворот пса растим. — Наш гнев был гневом домашнего, своего человека, но наш племянник как раз нас за врага

и принимал, и всё равно мы и дальше вели себя как старший рода — подталкивая в затылок, отвели его в сторону, сказали: — Марш отсюда, разоритель, чтоб духу твоего здесь не было. — Потом вернулись и, проходя, намеренно, но как бы случайно задели руководителя хозяйств, сказали: — Рыжий жеребец цмакутский предал тебя, недостойного, и забрал себе ферму, а ты снова себя в верхи вывел. Что же ты на этот раз пообещал несчастному пепелищу, интересно?

Мы пошли, прислонились спиной к дверям, сказали:

— Мёртвые мы, но не настолько же — кто вы такие, какого рожна вам тут надо?

Прозывавшийся руководителем хозяйств с обстоятельностью вышеставленного человека решил было разъяснить ситуацию:

— Да ведь по закону всё, постановление есть, в этой стране без соответствующих решений... — Но он был пьяницей и шутком и раздражал нас больше всех.

— Молчать! — рявкнули мы. — Знаешь ведь, что один твой вид приводит нас в бешенство, так нет же, каждый раз под горячую руку лезешь!

Потом повернулись к кожаным пиджакам.

— Так кто же вы, милуши?

Голоса своего у них не было — спокойная ненависть прислужников мафии, — лишь бы сбоку, со стороны легонечко приказали.

И мы сказали:

— Может быть, мы ворвались в ваше село, сожгли ваш дом, на вашу мать косо взглянули, почему это вы так стоите, что смотрите волками?

Зачатый нами, отпрыск наш, выходит, прыгнул с чердака, чуть не упал, с горделивым достоинством поднялся, смерил нас взглядом с ног до головы и отошёл в сторону.

— Ну уж про этого-то ничего не скажешь, — улыбнулся тот, кто приходился нам братом, — уж этот-то твой земляк и сын мураденцевской Эли.

От мураденцевской Эли у нас тяжёлые воспоминания остались — мы заорали:

— А отца у него нет, а имени у этого отца нет?! Да что же вы пришли сюда над нашей болью глумиться?! Двести коров стояли в этом хлеву, с каждым маем двести телят выбегали из этих ворот, жизнь и радость были здесь, а вы налетели, как стервятники...

Тут руководитель хозяйств отчаялся.

— Да брось ты, «двести», — он махнул рукой, повернулся, чтоб уходить, но нас это почему-то ещё больше взбесило.

— Если хочешь знать, двести двадцать, двести двадцать четыре! — уточнили мы. — Это знамя не случайно тут навечно оставлено.

Потом мы нашего неосёдланного коня привязали к дверям старой конторы, а сами поднялись на балкон, где стоял ровесник наш, продавец магазина, мы бормотали что-то бессвязное и думали, что победили, мы с враждой и презрением смотрели на вереницу машин, которая, перекрыв овражек, приближалась к домам, что через улицу стояли. Напротив конторы победно возвышался бронзовый памятник погибшим в войну. И сходство наших обликов — нашего и фигуры на памятнике — не ускользнуло от насмешливого глаза продавца. Он сказал:

— С аппаратом в руках крутились тут, может, потихонечку щёлкнули тебя, потом памятник по этой фотографии отлили?

Потупились мы скромно, сказали:

— Ну вот ещё... Сорок восемь ребят погибло, и хоть бы что-нибудь от них в нас было. Они святые были, — вздохнули мы.

— Погибли и стали святыми, — сказал он.

Машины остановились, люди сошли и стали переговариваясь подниматься к старым

дверям Мураденцев. Покрутились на балконе, распахнули дверь в комнату, вошли. Мы напрыглись и с беспокойством ждали, что дальше будет, продавец спросил:

— Много их там, не наших?

Маленький «газик» развернулся и поехал к нам, к конторе, значит, но мы, прежде чем он подъехал и прежде чем узнать суть дела, уже угадали намерения приезжих. Мы резко засвистели и нашим зычным голосом крикнули:

— Что вам от этих развалин надо, вы что там делаете, эй?!

Они переговаривались между собой, вроде бы и не собирались отвечать, потом так называемый руководитель сказал им:

— Скажите этому — вот уж не твоё дело.

Мы крикнули, взбесившись:

— Как это не наше?

«Газик» подкатил — за водкой посылали, водитель раньше продавца, первым вошёл в магазин и сообщил:

— Хотят разрушить, для печки-бухары два хороших камня нашли.

И мы крикнули на ту сторону улицы:

— Эй, видите нас? Хорошо видите? Так вот знайте, это наше место, и мы привыкли видеть отсюда этот дом. Это наш вид, а не ваш. И мы тут будем стоять, пока живы. И этот дом тоже должен стоять — собирайте манатки и убирайтесь.

Так называемый руководитель ответил:

— Хозяин с нами рядом стоит, тебе слова не дали.

— В гробу мы видели вашего хозяина! — закричали мы, в магазине продавец с шофёром рассмеялись, а мы сказали всему этому народу: — Смех этот слезами вам обернётся. Проваливайте, освободите вид, — и рванулись уйти.

Прибрежный сад и мельница нашего деда были, того то есть труженика, кого народ считал нашим дедом, потом в смутные годы его в общей неразберихе убили, и мельница с садом, оставшись без хозяина, пришли в запустение, потом колхоз посчитал, что это общее владение, и великодушно подарил сад школе, чтобы мы лучше учились, любили и трудились, но у нашего поколения на уме был город; не помню уже, срубил хоть кто-нибудь из нас один высохший сучок в том саду, но мы приходили сюда купаться, ребята говорили: «Пошли искупаемся в речке твоего деда». В давние, давно прошедшие времена, сто лет назад поэт Ованес Туманян, проезжая здесь с друзьями, попридержал лошадей, измученный жаждой Туманян поглядел на деревья, и погонщик, встав на лошадь, сорвал для него яблоко, потом, говорят, Туманян вызвал нашего деда, дескать, очень обидишься, ежели попрошу продать мне этот овраг, на что вроде наш дед ответил: «Ты приезжай из своего города, когда хочешь, овраг не продаю — дарю тебе, всего нашего армянского народа ты гордость, всего нашего Лори». Да разве мог наш дед так ответить или вообще какой-нибудь крестьянин тех времён — придумали после, когда давно уже стали воспоминанием и наш дед, и Ованес Туманян, и все.

Место это нам нравилось, нравилось и тогда, когда мы школьниками были и не понимали ещё, почему нам здесь нравится, но когда ложились тут и смотрели на постаревшие деревья и разрушенную каменную стену — нравилось. Детским умом своим скрытым мы размышляли, пытались угадать, что же такого в этих старых деревьях, в этих цветах, в прибрежной каменной ограде, в этом тёплом цвете и глухом шелесте, почему убили нашего деда, и мы не находили ответа... Нравилось нам здесь, и когда мы были молоды, только-только женились, мы приходили сюда купать нашего жеребца, закатывали наши штанины, скидывали рубаху и заводили коня в речку, проходившие мимо молодые девушки и невестки смеялись, шептали друг другу на ухо, потом кто-нибудь осведомлённый говорил,

что женаты мы уже, дескать, и они замолкали, опечаленные. Женатые мы были, но всё ещё, как только что угасшая надежда, всё ещё немножечко их, поскольку и они были наши — всё равно как эти прибрежные камни и постаревший сад не были нашими, но всё же и нашими немножечко были.

Потом ребята, кто открыто, принародно бранясь — дескать, гнёшь-гнёшь спину в этом проклятом селе, а толку! — кто с печалью, с глубокой печалью, что покидает навеки родные места, а кто просто втихомолку, перебрались в город, и смех и радость перевелись в этом селе, умолкла школа, и прибрежный сад был уже ничьим — он принадлежал всем, каждому прохожему и в то же время никому.

Как стареет кладбище, как угасает среди голодной зимы улей — мы ещё не верили, что школа вот так на глазах у нас умерла, что жизнь оставила здесь свою старую шкуру, а сама удалилась в город, но это было так: шаги нашей лошади гулко отзывались в пустых классах, в брошенной кузнице и на старом току, и это было ужасно, словно сказочный богатырь кружил в сказочном каменном городе, иногда из старых домов выходили старые, совсем дряхлые люди и просили вдеть нитку в иголку или жаловались, что курица у них теряет яйца, и мы обязаны были наклониться и войти в курятник, и это было так печально, что нам хотелось умереть.

Потом нам сказали, что безжизненное это пространство передаётся соседнему селу, что мы отныне подчиняемся им, то есть они по телефону должны распоряжаться — того-то не делайте, а это делайте, и мы должны делать это и не делать того. Но ведь вчера ещё они сами у нас сено просили, мы-то у них никогда, они не смели сватать наших девушек, а их девушки, приплясывая от радости, бежали в наше село, и теперь они должны приказывать нам — здесь не косите, косите там, и, ежели мы не подчинимся, выкладывай, значит, партбилет. Мы сумели нашу особу, исключительно нашу личность уберечь от их власти — мы перешли в лесничество, стали владельцем всех лесов и полей от Кошакара до армяно-турецкого Воскепара и продолжали верить и надеяться, что село это ещё воспрянет и большая свадьба, называемая жизнью, с весёлым шумом снова вернётся в эти края. Не может же такого быть, чтобы вот было это, а теперь нету, да так, словно и не было никогда, но ведь голоса этих старых деревьев, этих растрепавшихся изгородей, заброшенных пустых ворот, вчерашние голоса старых хлевов и гумна всё ещё стоят у нас в ушах.

Ограду из речной гальки так заботливо человек только сам для себя сделает — починили, заложили туда металлические крюки и на крючьях закрепили высокую сетку, весь старый сад обнесли металлической сеткой. Мы на лошади, а сетка всё равно выше. Поехали мы вдоль ограды до конца обрыва, потом вернулись, решили постучаться в железные ворота, но стучаться не стали, доехали до другого конца ограды и остановились в растерянности, потом, и вовсе уже не зная зачем, снова вернулись и снова поехали вдоль ограды. Там за металлической сеткой среди старых деревьев была разбита белая палатка, виделось два-три улья, кой-какая одежонка, выстиранная, висела на верёвке, а на земле лежала гитара. Чёрт побери, чужими здесь они были, не мы, так чего же мы стеснялись, почему не вламывались, почему не стучались, на худой конец, в ворота? И всё же, наверное, чужими были мы, потому что так и не набрались духа сделать какой-нибудь решительный шаг, мы повертели коня нашего и поехали прочь, сами не знали, куда ехали, лошадь перенесла нас на тот берег и встала, и мы не знали, что нам дальше делать, но потом почувствовали, что не можем оторваться от сада. «Ну раз привезла сюда, — сказали мы лошади, — хочешь, значит, чтобы мы отсюда ещё на это полюбовались. Ну давай, раз так».

Мы остановились на вершине холма и стали обозревать сад спереди. Под деревьями стояла красивая, но скромная, почти что неприметная машина. В саду не было никого, но мы чувствовали человеческий дух, нам казалось, из какой-то засады за нами следят, наша

несчастливая речка там, пониже, превращается в пенистый водопад, и не скажешь, что это всего-навсего та жалкая речка. На прибрежных гладких валунах мы разглядели женскую одежду, потом сквозь глухой говор реки послышался чей-то вздох, но людей по-прежнему не было видно. Лошадь, прядая ушами, смотрела куда-то, лошадь, значит, видела кого-то, а мы нет.

Наш начальник лесного хозяйства, мы ещё не знали, что он наше руководство, а он очень даже хорошо знал, что мы его подчинённые, стоял в чистом белом костюме в густой узорчатой тени яблони и посмеивался над нашими тщетными усилиями. Когда мы повернули лошадь, чтобы уйти, он окликнул нас, поднял руку и позвал:

— Хозяин!

Хозяином и господином был он сам, а он нас так называл. Наш конь и весь наш облик были смешны ему. Он был тайным властителем этого мира и прекрасно знал, что наша старая деревенская повадка приветливого хозяина уязвима ещё более, чем смешна, и мы в его глазах были жалки, но он вдобавок и ненавидел нас, он явно завидовал то ли нашей здоровой мощи, то ли нашему простодушию и тому, что глаз у нас сытый, одним словом, в его представление о мире мы не вписывались, наш облик не умещался в нём. Он не должен был показывать, а мы не должны были догадываться, что он здесь важная птица, он должен был принять вид случайного и второстепенного человека, но даже одна поступь его и молчаливая уверенность, что стоит ему одним взмахом руки сказать нам «погоди», и мы будем стоять и ждать хоть до скончания века, — всё это выдавало, что навстречу нам двигается некто имеющий на нас права. Мы спешили и покорно ждали, потом невесть почему сильно вдруг внутри себя запротестовали и обратно на своего коня взгромоздились. Так что, когда он приблизился, мы снова на коне восседали. Он подошёл, протянул руку, указывая скорее, и назвал нас по имени:

— Ростом Мамиконян.

Мы спешили, мы смиренно сказали:

— Да, это мы. Простите, а вы кто будете?

Он не назвал, не представился, повторил только:

— Ростом Мамиконян. Работаете?

Мы ответили:

— По мере сил, сколько можем.

Он кивнул в сторону сада.

— Это что?

Поглядели мы на него, поглядели на сад и не поняли, о чём это он, он один про это ведал. Очень небольших, ну, совсем маленьких габаритов, ладненький такой, крепенький парень стоял перед нами. Потрепав нас по затылку, он обнял нас за плечи, по-дружески качнул и сказал:

— Силён, Ростом Саргсян, ничего не скажешь.

Это не похвала была и не удар, скорее и то и другое вместе, это были его право и привычка.

— Не изменился, — продолжал он, — тот же силач.

Поддались мы ласке, улыбнулись, откликнулись:

— Знаете, значит, нас.

— Кто же не знает Ростом Мамиконяна, — ответил он.

Та, которую мы не видели, но чьё присутствие всё время чувствовали, вышла из ущелья и шла к нам — это была могучая женщина, необъятность её особенно обозначилась, когда она подошла ближе. Мальчик-с-пальчик выглядел рядом с ней просто крошкой, была она полуодетая и, по-видимому, босая, ступала осторожно, внимательно глядя под ноги, и тело её так и подрагивало, так и играло. Если скажем, что единственной одеждой на ней были

болтавшиеся на животе фотопричиндалы, это будет сплетня, клевета — кое-какая одежда на ней всё же имелась, непременно даже была, и она никаких таких специальных движений, чтоб ещё больше обнажить свои обнажённые и не до конца обнажённые телеса, ничего такого она не делала, нет, но, повторяем, никакая одежда, будь это халат, или, скажем, бурка, или даже целое одеяло, никакая одежда не в силах была прикрыть её тело, одежда словно спадала с неё, то есть она и в одежде казалась голой, после этого мы видели её и плачущей, и с малиной во рту — смотрит на нас, вылупилась и ждёт, и её чистая и наивная суть огромного животного заключала в себе что-то задушевное, честное слово. И каждый раз она казалась голой. Она сама была, пожалуй, непричастна ко всему этому, так же как была непричастна к своему здесь нахождению, хотим сказать, она не сама сюда пришла — её привели, привезли, вернее. Как бы там ни было, именно её облик олицетворял для нас чужеродное прошлое. Увеличиваясь в размерах, она подходила всё ближе. И наше новое начальство сказало нам:

— Ростом Саргсян... знаешь ведь, чего она хочет... так что будь любезен, надо бы бедную девушку ублажить.

Собрались мы с духом, ответили:

— Вы привезли, ваша, значит, и забота.

Посмотрел на нас изучающе.

— Скромным прикидываешься, а ведь слава твоя гремит.

На это мы ничего не ответили, промолчали, давний грех душил нас, мы сказали:

— Сами, извините, кто будете?

На наш вопрос он снова не ответил, женщина в это время совсем уже близко подошла, и он, обняв её за талию, потянул к себе.

— Познакомься с Ростомом Мамиконяном, мой друг это. В случае чего обращайся к нему, обещал посодействовать во всём.

Мы взмокли, чёртов сын вогнал нас в краску, вдобавок она жвачку жевала, придвинув своё лицо к нашему, медленно жевала и словно разглядывала нас, мы подались назад, и она вроде бы незаметно улыбнулась и щёлкнула во рту жвачкой, а сбоку поглядывал на нас и усмехался коротышка. Мы эту издёвку чувствовали, но ничего решительного не делали, мы только сказали:

— Этот сад нашего деда был.

Тем временем женщина, ухватившись за седло, пыталась оседлать нашего коня. Орудя фотоаппаратом, коротышка распорядился: подсоби. И мы подпёрли её тушу, помогли ей оседлать коня и долго тёрли руку о штаны, хотели вытереть. Это не ускользнуло от коротышки, он сказал насмешливо:

— Снимаю, перестань вытирать руки.

Мы окаменели. Не знаем, с этой женщиной и лошастью он нас заснял или как, но его следующие слова привлекли наше внимание, он сказал:

— Так, говоришь, сад твоего деда был?

С полотенцем через плечо наша супруга ждала нас.

В нашем бедном строгом доме мы долго основательно умывались и бог знает почему вдруг улыбнулись — то, что мы на минуту прикоснулись к этим тяжёлым бёдрам, наверное, помимо нашей воли нам понравилось — и мы нашей сухонькой супруге сказали с присущей нам торжественной обстоятельностью:

— Не знаем, мадмазель, не знаем, сегодня нам выпало скромное.

Ответила:

— На здоровье.

Хоть бы что-нибудь спросила, нет, сразу же — «на здоровье». Это было подозрительно,

мы сказали:

— И не спрашиваешь даже, где, мол, и когда. Из одной ноги целая бы мадмазель получилась, с сестрицей Шушан в придачу.

Усмехнулась.

— Это представление мальчишки во главе с городским вот уже пятнадцать дней как смотрят, подкрадываются тайком и смотрят.

— Вот как? А ещё? — поинтересовались мы. — Что ещё говорят?

— Говорят, у тебя припрятанные тысячи имеются, захватил мельницу дедовскую, дворец возводишь.

— Не знают истины — обязаны что-нибудь сочинить, — пояснили мы, — народ, он молчать не станет.

Потом уже, трапезничая хлебом и сыром, сидя перед миской обеда и непечатой бутылкой водки — для себя мы её никогда собственноручно не откроем, — мы высказали своё горькое убеждение:

— Не знаем, госпожа, какой вывод ты сделаешь сейчас из наших слов, но говорим тебе с чистой совестью, как на суде: за то, что двадцать лет с нами, как брат, лямку тянула, благодарим, но за то, что нам наследника не дала, благодарим вдвойне.

Ответ на это у неё давно имелся, сказала:

— Народ голову теряет, озверел — ты по-прежнему на коне, другие и воруют и девок заводят...

Под тяжёлым нашим взглядом она замолчала, а мы отложили ложку и сказали:

— Знаешь, какое это благо, когда среди всеобщего поголовного воровства, грабежа и прочего Ростом Мамиконян один на своём белом коне стоит-красуется?

То, что мы смывали греховное плотское с наших рук и нашей совести, во сне вконец одолело нас, мы увидели тяжёлый сон — будто бы мы под той бабой, подыхая от натуги, стонем и поднимаем её, поднимаем и не можем поднять, а она делается всё тяжелее, всей своей тушей давит на нас, и вот мы уже обессилели и позволили ей тяжело, мягко и медленно обрушиться на нас, но это уже не давешняя женщина, а стог сена, тот, что в своё время обрушился на нас с Элей. Ясно так, чётко, как наяву, мы услышали жалобный плач: «Чтоб этого бога, тоже всё по благу делает, что за мужа дал мне!» — «Ну-ну!» Мы проснулись, сели на кровати, спустили ноги на пол. Но, даже проснувшись, даже очнувшись от сна, не могли отогнать от себя то, что в нашей жизни, хочешь не хочешь, уже случилось и что невозможно было отогнать — невестка Мураденцев Эля, упокой бог её душу, стоит рядом с обвалившимся стогом, отряхивается от трухи, солома за пазуху набилась, она смахивает её с лица и всё отряхивается, её младенец сидит на земле, весь в соплях-слюнях, заливаётся плачем: «Мама, комары кусают... кусают же...» И впервые познавшая через нас радость, недовольная мужем и семьёй, невестка Мураденцев прокляла своего ребенка: «И пусть кусают, пусть совсем сожрут, избавлюсь я от вас тогда наконец, чтоб вы околели». «Ну-ну! — пригрозили мы. — Знаешь, что за парень вырастет... вот бы нам такого пострела, а?» Мы подняли ребёнка с земли, дали матери. Она сказала: «Девчонка это, где у него (про мужа) сил на мальчонку, у нас все девочки».

Мы вышли на веранду, облокотились на перила, во рту невозможная горечь была, мы сплюнули.

Наш грех потом вот как продолжался: мы вели коня на луг, видим, она идёт из лесу, мы коня от верёвки освободили, сказали ему «ты иди... да в посевы, смотри, не лезь», а сами спрятались за деревом, стали высматривать её оттуда. Она коня заметила, остановилась и смотрит кругом, коня видно, а нас нет, но дух наш она уже почувствовала и всё смотрела, озиралась кругом, нас распирало от смеха, мы выглянули из-за дерева и свистом

и пальцем поманили её — иди сюда! Секунду только колебалась, оглянулась на дорогу, по которой пришла, поставила вёдра наземь и направилась к нам, мы попятнулись к камням, вёдра остались на дороге, она, сбиваясь с шага, задыхаясь, шла к нам. «Посуда твоя, — сказали мы, — посуда же, глупая». На секунду только осмыслила опасность и презрела её — презрела? забыла? — при виде нас теряла разум, про всё забывала, забыла, что семья следом идёт, мы тоже обезумели, камни из-под ног наших посыпались, мы рванулись навстречу и забрали это трепещущее задыхающееся тело под полу нашего пиджака, потянули к тёмной пасти пещеры. Потом помним, как, сидя, отползли на заднице в глубь пещеры и говорили «иди сюда» и сердились — что она нами играет, радость желания была в ней так сильна, хотела, что ли, подольше продлить этот единственный для неё праздник, а может, ещё какие причины были? Она вздёргивала плечом — «не-а», не пойдёт, мол, к нам, и мы, снова улыбаясь угрожающе — кому говорят, иди, и она снова отказывается. Потом сама опустилась на карачки и поползла к нам, ринулась, вскрикивая, с перехваченным горлом, сразу охрипнув, обдирая локти, хоть беги от сумасшедшей. Опять же на карачках, на четырёх ногах должны были доползти до выхода, выглянуть — семья её, муж и дети, пришли, наткнулись на свои вёдра и стояли, поглядывая на пещеру, ждали. Мы сказали «из скольких хоть бы один, один бы хоть от Ростомы был», ответила: «Немножечко терпения, и будет», — но мы сказали: «Ты Ростомы своим псом не увидишь». Как всё быстро, впопыхах у нас вышло, так и сказала, не придавая словам особого смысла, засмеялась и сказала: «Вот-вот, вы сладкое сначала отведаете, а после, утирая подбородок, от горького отвернётесь». — «Ага, — сказали мы ей, — как же, чистый мёд ты», — и чертыхнулись. Семейство поджидало её, а самая младшая из девочек словно почувствовала, что мать рядом, совсем близко подошла, ещё немножко, и увидит нас, или нам показалось? Но, когда мать вышла, а мы на четвереньках снова отползли в глубь пещеры, её и ещё чьи-то шаги прозвучали совсем близко.

...Наша супруга вышла из комнаты в белой ночной сорочке, худая, почти что бесплотная, пиджак наш вопреки нашему желанию нам на плечи набросила, постояла рядом с нами, и дальше воспоминание словно наше общее было, да так оно и было на деле, а если быть немного жестокими и точными, дальше шло только её, супруги нашей, воспоминание, мы то есть при этом не присутствовали, народ хоть и говорит, что нами самими и организовано всё было и сами мы при этом были и собаку на ту несчастную спустили, да ещё и подглядывали потихонечку из укрытия.

Средь бела дня на глазах у всего села, у всего народа нашего сельского, малого и старого, мужчин и женщин, она вдруг стала подбрасывать грудного младенца в воздух, подкидывает и приговаривает: «Чей это цветочек, чей росточек, чей род? — и сама себе отвечает (при народе же): — Моего Ростомы род, моего Ростомы росточек, моего Ростомы саженец». Те, что постыдливей были, заткнули уши и отошли в сторонку, ротозеи-бездельники, напротив, навострили уши и радовались, что не они умом тронулись, не они срамятся — несчастный муж безумной и жена того, кто ославился. С вечной своей пастушьей палкой в руках, словно с ней и родился, бедный муж с оттопыренными ушами стоит за нашей оградой, подышает от стыда, от стыда же смеётся и приглушённым голосом издали хочет припугивать её, зовёт «эй, ахчи», и снова «ахчи», и опять «ахчи», а ахчи всё нипочём — подбрасывает ребёнка и наявливает: «Свет Ростомы, надежда Ростомы, лампадка в очаге Ростомы, надежда Ростомы!» Наша супруга, стоявшая с народом в дверях магазина, какое-то время сдерживалась и вдруг как метнётся к безумной, но сын нашей сестры, племянник наш, перехватывает её, значит, не пускает и говорит, смеясь: «Пусть себе болтает, что тут такого, даже если немножко и дядюшкин», — а наша сестра подходит к безумной, ребёнка у неё забирает, берёт её за руку, подводит, вручает несчастному мужу, сестре нашей безумная безропотно подчиняется, дескать: «Я тебя знаю, ты моего Ростомы сестричка Шушан, —

и припечатывает: — Земли этой хозяина Ростома».

С сопливым младенцем на руках она убежала от домочадцев и кружила в нашем саду. Не помним уже, чем мы в доме заняты были, каким делом, но, должно быть, неясная, странная беда какая-то нависла над нами, должно быть, смущены мы были. Наша супруга дверь прикрыла, и мы почувствовали, что нас запирают на замок. Мы кашлянули, дескать, внутри мы, здесь, а она, значит, делает вид, что не слышит, и запирает нас, чтобы мы не видели того, что потом было, тот ужас. Мы рванули дверь — уже заперта, мы дёрнули — оторвали ручку. Окно отворили, чтобы выпрыгнуть — своим тощим жалким телом хотела загородить, не пустить, препятствием нам послужить, уперевшись обеими руками нам в грудь, напряглась и, как тонкая хворостинка ивовая, выгнулась, даже улыбнулась своим напрасным усилиям, то, от чего она нас хотела отгородить, совсем даже не вызывало улыбку, и лучше бы действительно мы не видели этого.

Безумная с ребёнком на руках зашла в наш сад, подняла высоко ребёнка и приговаривала: «Сорви со своего дерева яблочко... Ростома дар, Ростома цвет, Ростома свет». На дальней тропе стоял растерянный её муж. Перед таким собаки цепенеют, знаете? Наш волкодав распластался на земле и тихо поскуливал, тихо отползал в конуру, пятясь, дыхание у нас спёрло, и холодный пот нас прошиб, и защитницей нам — нам, нашему псу, этому светлому саду, и дому, и несчастному мужу безумной в эту минуту была наша супруга, которая не знаем откуда набралась злой силы, напряглась вся, напряжинилась, тонкие губы её сжались и рот как-то скривился, хоть ты зажмурься и беги, и мы убежали от этого зрелища, и особенно от того что могло быть дальше, мы спрыгнули с веранды, прошли рядом со съевшимся псом, зашли за ограду; безумная уловила какое-то движение: «Вижу, вижу, — закричала, — за оградой стоишь», — словно мы детьми были и в прятки играли, а потом сдавленный крик мужа «эй, ахчи... Эля», мы уши обеими руками заткнули и бились головой об каменную ограду; до нас донеслись голос нашей супруги и звон собачьей цепи — наша супруга науськивала пса, и мы глухо мычали и бились головой об стену. Собаку, значит, спустили с цепи, собака прыгнула к безумной, а та ребёнка бросила и сама убежала, её вскрик и одно слово «нелюдь!» мы, несмотря на то что обеими руками крепко зажали уши, расслышали.

От тяжёлого воспоминания супругу нашу передёрнуло, придерживая ночную сорочку на несуществующей груди, сказала, взглядываясь в холодную лунную ночь:

— Говорят, померла.

Ответили мы:

— Если бы так, привезли бы сюда, этому селу только и осталось хоронить да горожанам для их замков-крепостей материал поставлять, в лесу деревьев не осталось, а в поле хачкаров — тащат и тащат, всё порастаскали.

Но ведь она женщина, государственная сторона нашей думы ей непонятна была, её вело на тайную какую-то, ей одной ведомую межу, она спросила:

— Интересно, когда в этих больницах, ну, которые для сумасшедших, когда умирают, их там тайно хоронят или же отдают тело родственникам?

Мы не ответили, а она сказала:

— Интересно, они и мёртвые страшные, или же нечистая сила успокаивается, выходит из них?

Мы на это сказали:

— Она-то умерла и от всего уже освободилась, остаётся теперь лично нам освободиться.

На следующий день, оседлав нашего коня, мы были уже на солнечном склоне Кахнута. Мирный солнечный Кахнут стоял себе спокойно, но что-то тайное засвербило, стало вдруг

беспокоить нас. Мы не понимали, что именно беспокоит, потом поймали себя на том, что пересчитываем деревья. «Двадцать два... сонный ты осёл, голову в ларь засунул, как старуха гату пересчитывает — две штуки, четыре... шесть». Погнали коня, потом словно кто-то невидимый потянул нас за поводья, мы пошли, встали на том самом месте, где совсем недавно ещё был здоровенный дуб. Дуб унесли, а землю прикрыли дёрном. Мы дёрн этот раздвинули и увидели оголённые корни. «Молодцы, — прошептали мы, — пока что вы большие молодцы». Срубленный дуб мы нашли внизу в кустарнике, уже перехваченный тросом, ошкуренный. «Молодцы, — снова прошептали мы, — в самом деле молодцы». Отсюда, от кустов, мы снова окинули взглядом Кахнут, выбрали самое ровное, самое высокое, самое мощное дерево, подошли к нему. Ударили камнем, дерево не полое было — в полном соку и, значит, обречённое. Давным-давно, в прежние ещё времена царский лесник высоко на стволе поставил начальную букву своего имени, потом мы от себя прибавили наше «Р. М.». «Вашу мать, ни родины для вас, ни совести, вредители, бессердечные варвары...» — как зверь кинулись мы разгрести землю у основания дерева, и что обнаружили — динамит.

Потом уже, это уже была окончательная наша победа, мы себя почувствовали всеильным, как турецкий паша, приняв горделивую нашу осанку, мы медленно и торжественно проехали по скошенным лугам Мамрута, и, хотя здесь никого и ничего, кроме одного неисправного трактора, не было, нам казалось, будто мы едем и людское восхищение окружает нас.

Мы по-хозяйски оглядели покосы, мысленно презрели одну известную нам личность и брезгливо сплюнули. «Побирушка, нищий, — сказали мы, — жалкий, как побирушка, и наглый, как побирушка. Оттыпал мамрутские луга и всё равно остался вчерашним нищим, тебе сено надо убирать, а ты, уголовная тварь, чьи сапоги лижешь, возле какого руководства ошиваешься, тебе сено надо убирать, сволочь, где тебя, спрашивается, носит?!» — прорвало нас. Мы не могли отвести взгляд от покосов и не могли задушить в себе жалость к этому гибнущему сену, мы отъехали и всё оглядывались. Лошадь наша тем временем уже зашла в балку и искала воду. Здесь всегда был родник, а теперь не было. Мы объехали всю балку, лошадь, вытянув шею, искала воду, под конец мы наткнулись на бетонное перекрытие и чугунную крышку на нём. «Здрасьте, — сказали мы, — вы всюду хозяева, и город ваш, и деревня». Мы подняли чугунную крышку, откатили её в сторону, засунули голову, заглянули внутрь, и, когда мы вытащили голову, нами уже было задумано одно скверное, но, по нашему мнению, справедливое дело — мы задумали взорвать их бетонное сооружение.

С динамитом обращаться мы не умели, но всё-таки мы отвели лошадь подальше, в надёжное место и вернулись сюда, прихватив динамит. «Эта земля не совсем ещё без хозяина, извините». Со страхом, со злостью и с верой — сейчас, мол, с ними расправимся, сейчас всё взорвём к чертям — мы швырнули весь, какой был, динамит на бетон, а сами отбежали и легли на землю. Зажав уши руками, мы ждали взрыва, а его не было. Мы отбежали ещё немного и снова залегли, распластались на земле, но взрыва не было, хоть ты тресни.

Мы ушли оттуда как пришибленная собачонка, мы шли-шли и оглядывались, шли и оглядывались. «Вы такие грамотные, вы всё знаете и всё умеете, а мы такие жалкие, значит», — бурчали мы под нос и удалялись от этого места, оглядываясь как побитая собака. Как собака побитая, ей-богу.

На старой мураденцевской каменоломне мастер и подмастерье, тот самый парень, от нас зачатый, поставили перед собой гладкий камень, притащили из ближней часовни хачкар и срисовывали узор. Как турецкий паша, подъехали мы, встали над ними подбоченься. Здороваться мы не стали. А мастер тоже из гордых, вроде нас, видать, глянул и тоже не

поздоровался, склонил голову над камнем и знай делает своё дело. Подмастерье смотрел на нас, но, встретившись с нами взглядом, отвёл глаза, а когда мы к нему спиной повернулись, мы почувствовали, он снова нас разглядывает. Мы спросили:

— А дальше?

Мастер усмехнулся.

— Здравствуй, божий посланец, — дескать, нам сначала бы поздороваться. Но нам не до этого было, мы сказали:

— Что тут, знаешь? — и показали на маленький хурджин, привязанный к нашему седлу.

Он ответил:

— Загадки загадываешь?

Мы объяснили:

— Динамит тут.

Он пожал плечами. Мы сказали:

— Что вы за люди? Кому прислуживаете?

Зло посмотрел.

— Если про динамит спрашиваешь, скажу тебе — режется, как золото. Но мы, видишь, молотком орудуем. Дальше?

Выражение это «режется, как золото» почему-то нас смягчило, улыбнулись мы, сказали:

— Знаете, где сидите? На нашей старой каменоломне мураденцевской. Мураденцевские сыновья здесь камень резали-тесали, потом на муле — по два камня зараз — везли в село вот по этим вот тропинкам и печку-бухару складывали, печь до сих пор стоит.

Нелюдимый человек был мастер этот, на нашу мягкость мягкостью не ответил, сказал:

— А чего ты мне всё это выкладываешь?

Мы на своём коне выпрямились и:

— Указываем вам ваше место, чтоб не потерялись в этой чужой для вас стороне.

— Благодарствуем, — сказал.

— Дерево тоже, как золото, режется, но вы под него динамит заложили.

— Я сказал тебе, я молотком работаю, я камень режу, не видишь?

Враждебно:

— Чужие вы, — сказали мы, — нездешние.

Он кивнул на ученика.

— Этот зато здешний, из ваших, из мураденцевских.

Мы посмотрели на парня с лаской и теплотой, которая у нас ко всем, кто младше нас, и к мураденцевскому роду в особенности, потом повернулись к мастеру, потом сами не знаем зачем снова посмотрели на ученика, а он не отрывал от нас глаз, упорно разглядывал нашу особу. Растерялись мы, сказали почему-то:

— Мураденцевских в этом селе не осталось, уехали все.

Ученик усмехнулся и продолжал свою работу. Мы спросили, глядя на камень:

— Для могилы чьей-нибудь?

Мастер ответил, чтобы отделаться, между прочим:

— Хочешь, для могилы приспособь, хочешь, для печки, нам заказ дали, мы и делаем, прислуживаем, как вы заметили.

Растерянные, мы постояли, помолчали, потом сказали:

— Не знаем, лично нам советчик нужен, в умном советчике нужда у нас большая, вы где остановились, у кого?

Но они не были ни советчиками, ни собеседниками нам, а ежели и были, то виду не подавали, склонив головы, молча делали своё дело, и мы здесь были лишними.

Прошли времена, когда человеку было привольно и легко на своей малой родине, а на чужбине одиноко и тоскливо, нет, никто здесь не мучился, не чувствовал себя чужим, чужими здесь, пожалуй, мы одни и были, оттого что попали из наших старых времён в эти новые времена.

Великанша собирала малину в дремучих зарослях и, как видно, ничего не боялась. Конь наш наткнулся на её ведро, фыркнул и встал. Мы свистнули. Стоя в кустарнике, она спокойно смотрела на нас. Ведро было уже полное, она задрала подол и собирала малину туда, в подол то есть. Мы, стесняясь, отвели глаза, подождали, чтобы она привела себя в порядок, но, когда мы, переждав, посмотрели, она шла к нам и к своему ведру, всё так же бесстыже заголив колени. Подошла и смотрит как-то особенно, готовно и испытующе, и взгляд этот кого хочешь до беды доведёт. Слова застряли у нас в горле, потом мы прокашлялись и сказали:

— А не страшно вам, барышня, одной в этом диком лесу?

— Кого мне бояться? — сказала она. — Тебя, что ли?

— Мало ли, — сказали мы, — всяко случается. Медведя, например.

То ли жвачку она жевала, то ли малина у неё во рту была, медленно жуя, посмотрела на нас и сказала:

— Что ж ты медведем себя именуешь? Ты мужчина, мужчина что надо.

Перед этой женской сутью мы присмирели, жалкими стали сразу и сказали, блудливо подлизываясь:

— А что, конечно, мы тоже люди.

Она опустила на колени, хотела ссыпать ягоды в ведро и повернулась к нам, с подозрением посмотрела.

— Оно же пустое наполовину было. Это ты?

Мы сразу смекнули, в чём дело (эти широкие колени, это могучее женское естество) — где-то неподалёку ошивались деревенские мальчишки, ясное дело. Она сказала:

— Ну спасибо.

Вокруг никого не было, мы наугад погнали коня к малиннику, погнали так, словно кого-то видели, бранясь, въехали мы в малинник.

— Дармоеды проклятые, пакостники... там сено портится, сгорело всё, они тут... спектакли себе устраивают...

Через пень красное платье перескочило. Но, может, нам это привиделось? Нам, конечно, могло и показаться, но сдавленный детский смешок и топот убегающих ног — это была ватага, и немалая, мальчишек, — весь малинник зашевелился, и мы снова увидели детскую спину, кто-то, кажется, упал, потом поднялся, снова побежал.

Нас прямо бешенство обуяло. Мы повернули коня назад и проорали этой женщине:

— Барышня вы или мадам, кто там... не знаю, знаю только, что приходите и портите здешний народ... заголив задницу, крутитесь тут, ни стыда в вас, ни совести, и не подумаете, не скажете себе — может, дети видят этот срам, может, старушка или старик, христиане, скажем, армяне, мимо идут... лишь бы вам удовольствие было... не люди тут, дескать...

Но наши тяжкие обвинения не возымели действия ни на женщину эту, ни на детей — они должны были получить друг от друга каждый своё. Обступив великаншу, дети кто картошку чистил, кто грязную посуду мыл, какая-то девчушка со знанием дела снимала пенку с варенья, двое пилили дрова, а сама женщина развешивала на верёвке нижнее бельё. Кто-то помогал ей, хотя тут уж помощи никакой не требовалось. Ворота в старый сад на этот раз были открыты, мы погнали нашу лошадь в те ворота, щенки эти, как вспугнутая стая, разбежались кто куда, и только один горожанин с топором в руках остался стоять на месте, а баба хоть бы хны, жвачку свою жуёт, смотрит. Ярость нас душила, от волнения не могли двух

слов связать, с мычанием кружились на коне, тычась в разные углы, и, только когда горожанин, получив от нас прутом, сказал нам:

— Я тебе не холоп твой деревенский, понял? — мы сумели ответить что-то внятное:

— Правосудие своё у себя в городе верши, чтоб твою...

Мы прогнали их из этого сада, где теперь сложены были камень, песок, черепица и всякий прочий стройматериал, здесь, как видно, большое строительство предполагалось (из белого мраморного фонтанчика уже была вода). Ребятишки сбились в кучу по ту сторону ограды, потом побрели по дороге, враждебно оглядываясь на нас.

— И что к детям пристал? — сказала женщина. — Пришли искупаться. Жара-то какая... Или не имеют права?

— Раздень всех, чтоб голые, как ты, стали, сунь в корыто и искупай. Смотреть на тебя и то уже большой грех. Ты чья, что ты тут вообще делаешь? Собирайся и мотай отсюда, поняла?

О чём они там между собой говорили, не знаем, но что-то дети против нас замышляли, это точно. Они шли и оглядывались на нас через плечо. Мы коня своего не торопили, медленно ехали за ватагой, между нами было довольно-таки приличное расстояние. Им всем по десять — четырнадцать лет было, но один совсем ещё маленький ребёнок, его за руку вели.

— У самого нет детей, вот и брешешь.

Прикрыли мы тяжёлые наши веки, сказали:

— Не подходим ближе, не желаем знать, кто это сказал.

Они притихли, потом снова осмелели:

— А и узнаешь, что сделаешь? Ничего!

Был среди них мерзкий один, нагнулся, поднял камень и выжидает. Но в нас ни гнева, ни страха — горло нам перехватило и на тяжёлых наших веках слеза повисла.

— Эх, чтоб нам да пылью под вашими невинными ногами стать, чтоб нам умереть за вас, — прошептали мы, — да убейте вы к чёрту вашего Ростом, и сами освободитесь, и мы. Поднял камень — брось, — сказали мы, — даром, что ли, нагибался, ну, ты же камень в руках держишь, действуй давай!

— А ты коня на нас гнал, вот и стой теперь.

— Не подходим ближе, чтоб не знать, чьи вы и кто вы.

— Да уж не твои!.. — над головой нашей просвистел камень.

Ростом Мамиконян вот-вот должен был проснуться в нас — любовь к детям и вообще доброта не так-то крепко в нас сидели... впрочем, наш гнев и наша перепалка были прерваны.

Так называемый руководитель объединённых хозяйств нашего и соседнего села выехал, значит, в это самое время обследовать свои владения. Он едет, а тут мы на пути его стоим, мы и эти ребятишки, а сам он известный пьянчуга, и сейчас в подпитии, и улыбается незнамо какой своей удаче. Словом, машина его чуть на нас не наехала, остановилась и засигналила, потребовала дорогу, скорее затылком, нежели глазами, мы увидели, что это он, и дорогу не уступили, он высунулся из машины, засмеялся:

— Ну, а дальше?

Не до смеха нам было, мы скорее к драке были расположены, сказали, не глядя на него:

— Что ж ты из своей распрекрасной конторы вышел, или, может, мясо и водка где проглянули, а может, ещё что-то способно стронуть тебя с места?!

Сказал:

— Нелюдь ты.

А сам он не был «нелюдью», сам и мягкий был, и обходительный, и покладистый, но

это когда выпьет, на деле же хитрый был будь здоров.

— Когда мы были самостоятельными, — сказали мы, — отдельным то есть хозяйством жили, не было такого лета, чтоб с мамрутских покосов меньше пятидесяти тонн сена вывезли, бывало, и больше, а ты в этом году если четыре тонны наскребёшь...

Нас и наше время — как примеры высокие, похвалил, но он лгал:

— Так то вы... сравниваешь. — Потом как-то приуныл, сник, и опять это была ложь, он сказал: — Народу у меня никакого, друг, народу, я тоже своему начальству пятьдесят тонн пообещал, но кто собирать будет, где люди, где я их возьму?

«Народу» у него нету, а ватага ребят на дороге стоит, слушает наш спор. Мы сказали:

— А если так, если не под силу было, зачем моё село принял? Зачем губишь его?

Ответил:

— А ты зачем перед народом авторитет наш подрываешь? Не государственный это подход. — «Перед народом» — то есть перед ребятами этими и его шофёром. Сказал: — Конь под тобой всегда, пожалте в контору, там и потолкуем. А хочешь, автомобиль за тобой пришлю.

— Благодарствуем, — сказали мы ему, — мы тебе не центр, и не семья твоя, и не родственники по линии жены — твоему автомобилю под нами делать нечего, мы люди посторонние, в лесниках состоим, лес сторожим.

Не пощадил нас, съязвил:

— Вот и будь посторонним, раз так, не суй всюду нос. — Потом опять поскуцнел, сказал небрежно: — Ну ладно, работать надо, дай проехать, посторонись.

Работать ему надо было, как же, завтра небось пирушка предстояла, ехал в село побираться: овечку, водки, солений там разных набрать, мы об этом после узнали, а пока ребята устали от нашего взрослого спора и нашего скрытого поединка, то есть мы не хотели уступить ему дорогу, не отводили коня в сторону, и машина вынуждена была выехать за обочину и так нас обойти, ребятам это наше столкновение взрослых неинтересно было, они вдруг закричали на десятки голосов, завизжали, побежали, прямо на бегу скидывая с себя одежду, попрыгали со скалы в речку, кто одетый, кто нагишом, что это были за прыжки рядом с нашим уже рыхлым телом, с этой громоздкой массой, какие тела, какая слепая смелость — не знали дна и прыгали, что за звонкие, призывные голоса:

— Сюда, сюда!

— Ребята, тут камень!

— Мышка-мышка-мышка — пролезла в щель!..

— Маленький, не прыгай, не прыгай, братик!..

У братика, впрочем, была хозяйка, и это была хозяйка всех тут собравшихся — среди них, да, была девчушка в коротком платьице, подпоясанном ремешком, волосы у основания крепко схвачены лентой, совсем ещё ребёнок сама, но хозяйка уже, душа этой ватаги, сейчас она занята была тем, что собирала разбросанную по всему склону одежду мальчишек, разок метнула в нашу сторону короткий взгляд, словно от нас именно и охраняла эту одежонку. Наконец она сложила её на вершине холма, откуда, наверное, видна была вся орава, сгребла в груды и села рядом; самый маленький мучился, пыхтел, хотел спуститься к купавшимся, она пошла, привела его обратно да ещё и шлёпнула по ручкам, усадила рядом с собой и сама села, по-женски сведя колени, натягивая на них подол.

Так называемый руководитель объединённых хозяйств набрал в селе снеди для завтрашней пирушки и возвращался к себе, за околицей села мы с ним снова встретились — в кузове у него два ягнёнка, сам в кабине держит между колен штоф с водкой. Даже при желании мы не могли с ним разминуться — дорога в этом месте совсем узкая, мы должны были просто-напросто сойти с дороги, но мы этого, конечно, не сделали и столкнулись с

ним. В создавшейся ситуации мы были непреклонны, он не выдержал, засмеялся.

— Что скажешь, дорогой товарищ, чью скотину легче убрать с пути, мою или твою?

Он всё ещё кое-что кумекал в селе и в деревенских делах, удаль нашего коня он оценил и сказал:

— Эх, были бы старые времена, попросил бы я, собираясь в центр, коня твоего на два дня, как брата бы попросил.

— Ты? — переспросили мы. — Моего коня?

Стыд и остатки совести в нём всё же были — не по себе ему, видно, стало, засмеялся и про учинённый им разбой сказал:

— Честное слово, провалиться мне сквозь землю, если завтра хоть кусок мне самому перепадёт — из центра десять человек приедут.

Мы отрезали:

— Вот и отчитывайся перед ними, нам-то что жалуешься. — И мы объехали его. — Счастливо тебе оставаться.

Но он внутренне ещё примеривался и чувствовал себя перед нами в некотором роде подотчётным к крикнул:

— Пришлю за тобой машину, приезжай завтра, свидетелем будешь, что не для себя беру, к тому ж люди могут пригодиться, пусть увидят тебя, поближе узнают.

— Ты лучше про соленья расскажи, нашёл, нет? — съехидничали мы. — Хорошие, хрустящие огурчики — у нашей сестрицы в погребе как раз такие имеются.

Насмешку нашу понял, но хотел, несмотря на это, урвать от нас какую-нибудь для себя выгоду.

— А ведь ты можешь собрать своих стариков-старух, помочь нам убрать сено, бригадир мой совсем никудышный оказался.

— Что ж, в хозяина, значит.

— Не хочешь товарищу помочь, в беде оставляешь.

— Никакие мы тебе не товарищи, — сказали мы ему, — твои товарищи завтра приедут, езжай давай. Мы тебе такие же товарищи, как эти ягнята. Слопал цветущее, как рай, село, в два счёта слопал, погубил... Угощение!.. — взорвались мы. — Если завтрашняя жратва, которой брюхо себе набьёте, если жратва эта вам товарищ, то и мы тоже вам товарищи.

Он нас, определённо, не понимал. Не понимал, глупы мы или, может, из тех одержимых времён ревкомов или же просто дурочку ломаем. Он хотел было рассердиться, но ему стало смешно, хотел посмеяться, но мы особого такого смеха не вызывали. Мы старались перед ним именно такими непроницаемыми быть. И, как преисполненный к себе уважения чин, мы сказали ему пренебрежительно:

— Ты кому это отдал мельницу, парень?

— Дурачка нашёл, допрашиваешь? — ответил.

— Деревья на берегу и мельницу старую, — сказали мы. — Кому продал?

— Что мы, уголовники, что ли, чтобы продавать? — отозвался он.

— Бросовые стояли по твоей милости, — сказали мы, — вот и застраивают. Кто такие?

— А такой же, как ты, один, — сказал он, — захотел и строит.

— А ты кто тогда? В этом краю ты назначенный государством — кто?

— Кто? Никто! Луковица, нуль! — прорвало его. — Расчёты когда производились, нас с тобой нулями обозначили, понял? — Он вышел из машины, шофёра своего, чтобы тот наш неблагоприятный разговор не слышал, устранил, значит, пришёл, взялся за стремя наше и, глядя на нас снизу вверх, сказал: — Не знаю, кто он, но, кто бы ни был, крепкая сила, понапрасну не бейся, себе только навредишь. Не звери же они, тоже как-никак люди, проходить будешь в непогоду, позовут, стаканчик водки поднесут, и то польза-выгода нам. Мы от государства готовую муку получаем, на что нам какая-то разрушенная мельница. Или же яб-

лони — ты хоть раз сорвал с них яблоко?

— Моё это, — заорали мы, — мой край, понял, не хочу, чтоб мой край пакостили, понял?!

Но он ни на секунду не уважил ни нашей веры-любви, ни нашей просьбы-молитвы, очерился:

— Я с тобой как брат разговариваю, а ты паясничаешь.

— Главный чужак здесь ты, — сказали мы, — с тебя и повелось, семью в городе держишь и сам всеми помыслами там, село ж для тебя — кладовая, у кого сколько коз, сколько кур в курятнике... Снимут с руководства, ноги ведь твоей здесь не будет. Ты и есть тут самый чужой, — сказали мы.

— Оскорбляешь! Смотри, обижусь.

— Для того и оскорбляю, чтоб обиделся, — сказали мы, — именно для того, считай с нашей стороны оскорблением ещё и то, что ты нас сейчас просительно за ногу ухватил, а мы на тебя сверху вниз смотрим, с этого нашего положения преимущественного, поскольку на коне мы, вот и считай всё это враждой нашей в отношении тебя, так как твоё начальство над этим селом — тоже самая что ни есть для нас большая вражда. Мы не овитовские разбойники, чтобы днём принять твой привет, чтобы днём угодливо помогать тебе в стройке твоей, а ночью взять да подпалить её. Права свои на это село забудь, доложи центру — дескать, пьющий я, не в состоянии, мол, освободите, будь человеком, пошевели мозгами, пойми, что еда, хлеб, которым тебя в этом селе угощают, что на него плюнули, прежде чем тебе подать, плюнули, понимаешь?!

Но случилась ещё более оскорбительная вещь, и перед этим новым унижением сомнение и чувство достоинства всколыхнулись в нём — на минуту только, на один только короткий миг — в следующую минуту он уже бежал, смеясь и чертыхаясь. Барашки из кузова прыгнули на землю и могли убежать, шофёр стоял в стороне, ковырял в носу.

— Лови давай, сейчас убегут, — крикнул он шофёру.

Шофёр метнулся к барашкам, а те действительно возьми и разбегись. Вот тут-то и обрёл так называемый руководитель объединённых хозяйств утраченное чувство достоинства, смекнул то есть, что человеку при его положении и прочая и прочая не пристало ловить разбредшихся овец, как какому-нибудь мальчишке, но в следующее мгновение он уже бежал очертя голову. Мы покачали головой, укоризненно сплюнули, нас уже другие заботы занимали.

Дорога в этом месте была узкая, и мы подумали поставить здесь шлагбаум, мысль эта, правда, тут же показалась нам несерьёзной, но мы не смогли трезво управлять собой, мы сошли с коня, неторопливо, со всей нашей основательностью шагами измерили ширину дороги, для верности измерили ещё раз, потом наметили место для опорных колышков и сели тут же на дороге, устроились с планшетом на коленях и написали в нашей записной книжке ШЛАГБАУМ, а под ним всякие наши расчёты, затем сочинили разрешение на порубку дерева. «Лицензия», — сказали мы про себя и вывели:

РАЗ-РЕ-ШЕ-НИЕ

От гордых склонов Кошакара до самого армяно-турецкого Воскепара, до обеих вершин его хозяин этого края Ростом Мамиконян — сказали мы и торжественными буквами старинными вывели:

«Леснику Цмакутского округа тов. Ростому Саргсяну. Просим войти в положение и разрешить, — всё это мы тут же зачеркнули. — Разрешить просителю, окружному леснику Ростому Саргсяну для постройки шлагбаума, исходя из нужд леса, срубить в лесу десять метров дерева — 0,1 штуку, молодой дуб или граб, — и тополь бы сгодился, сказали мы, —

шесть метров на перекладину шлагбаума, оставшиеся четыре метра на колья, — а верхушка пусть, значит, валяется себе в поле, сказали мы. — Просим не отказать. Хозяин всего Цмакутского края от Кошакара до двуглавого Воскепара Ростом Мамиконян, — сказали мы и подписались: — *Лесник Ростом Мамиконян*».

Подпись мы вывели тщательно, со всеми вензелями и завитушками, потом сложили бумагу вчетверо, потом, словно бы это прошение от другого получили, развернули бумагу. Это ещё что такое? И стали читать, по-деревенски держа бумагу на расстоянии: «...молодой дуб... Просим не отказать...» Потом — то ли глупость нас объяла, то ли принципиальность наша шутовская — на прошении, как большие начальники это делают, наискось наложили резолюцию: «Отказать. Нет возможности. В изгороди Альберта лишние жерди имеются, — потом мы это всё зачеркнули и заключили следующим образом: — Изыскать из излишков. Начальник округа Ростом Мамиконян». Недействительное прошение мы снова сложили вчетверо и сунули в нагрудный карман и подняли лицо просителя, которому только что отказали.

— Так-то вот, — сказали мы этому просителю, — иди и жалуйся кому хочешь, ступай.

Руководитель хозяйства поймал наконец на крутом склоне одного из убежавших ягнят, порядком до этого измучившись, и теперь сидел, крепко держа за ногу беглеца, шофёр его изловчился, поймал другого и, связав ему ноги, запихивал в кузов. Давешняя ватага возвращалась с речки. И снова они натолкнулись на нас, и снова стояли и смотрели на нас, впереди всех девочка; что они о нас думали, что им в нас хотелось увидеть — не знаем, но если младшие, глядя на взрослых, что-то берут от них, то, пожалуйста, перед ними были и облик наш и поведение, и руководитель хозяйств, тянувший ягнёнка к машине, был тут же, пусть смотрят, пусть всё видят, они нам милы, милы-любвы всей ватагой своей. «Чтоб чрево твоё отсохло, — помянули мы супругу свою, — как отсохло и не дало нам наследника, стоял бы сейчас среди них, смотрел бы на своего Ростома».

Мы поднялись с земли, выпрямились и сказали им:

— Ну где же ваш камень, бейте.

Дети не ответили нам, компания их стояла словно замерев, но какое-то незаметное движение внутри мы всё же уловили.

— Вы хорошее войско, — сказали мы им, — вы можете сады разорять, но можете и сено любо-дорого убрать. — Компания молчала, словно групповое фото — ни звука, ни движения. — Работа ведь что? Игра, — сказали мы. — Играючи-играючи, глядишь, и сами не заметили, как выросла скирда, выросла и стоит гордо, на виду у всего центра. Не знаем... для нас это игра была... — И мы с горечью махнули рукой на прошедшую-пролетевшую жизнь, на наше прошлое.

Нерадостный и такой дорогой образ послевоенной зимы под трубный рёв колхозного быка дрогнул, и вдруг предельно ясно перед глазами нашими встало: надо было перенести колхозную скирду со старых покосов Осепов на старые зимовья Меликенцев, туда, где колхозные хлева стояли.

...Окна все заиндевели, мы сидим в холодном классе возле окна — мы, соседка наша, худенькая девочка, не помним уже кто, помним только, что худенькая была и прижималась к нам, чтоб согреться, плечом к плечу, мы пишем, крепко сжав пальцами тоненькую ручку — палочку мы сами обстругали, на палочку перо ниткой привязали, свет в классе неясный, зыбкий, и вдруг страничка тетрадная ещё больше потемнела — это барышня, директор школьный, скуластая, на губе тёмный пушок, бёдра тяжёлые, прижалась лицом к стеклу с той стороны, к мутному тусклому стеклу, голова замотана шерстяной шалью... откуда-то донёсся тяжёлый глухой топот или дробь? Потом медный звонок дважды слабо звякнул, по-

том в школьном дворе военрук наш, в войну раненный, на двух костылях, и его зычный окрик после того, как понял шёпот-приказ барышни-директора: «Как? Ага, ясно... Четвёртый, пятый, шестой, седьмой — старшие классы, стройся!» Мы выстроились, руки в карманах кожаной куртки — перед нами стояла барышня-директор собственной персоной, штаны на ней тоже кожаные были, галифе и сапоги с высокими голенищами из хромовой кожи, голова только обмотана шерстяной шалью. Было внутри у неё сострадание и жалость к этим худым бледным и испуганным детям? Не знаем, непроницаемая, закрытая была, не отрывая от барышни-директора встревоженного взгляда, военрук решил, что та недовольна строем, приосанясь и вытянувшись, он прострочил двор костылями и, прыгая на одной здоровой ноге, подпрыгнул, чтобы лучше расслышать шёпот-приказ и передать его нам громко, жалость в ней всё-таки, значит, имелась, она что-то приказала. «Как? Понял, ясно... Девочкам выйти из строя, мальчикам снова построиться! — приказал военрук, уже успокоившись на свой счёт, и добавил от своего имени, улыбаясь: — Девочки, значит, свободны». Потом мы помним нашу группу мальчиков с замёрзшими руками и глазами, с длинными, выросшими из рукавов руками, через плечо верёвка перекинута, и широкую, обтянутую кожей задницу барышни-директора, директорская задница и узкие плечи, и мы топчемся за ней, не смея обогнать;

там, где стояла скирда, ни соломинки, ни былинки не осталось, во всём этом белом пустынном пространстве один лишь начисто выметенный тёмный прямоугольник виднеется, а дальше — дальше тишина и сотня навьюченных несчастных женщин да около тридцати так называемых старшеклассников — такой вот караван, гружённый сеном, протянувшись муравьиной тропкой от старых покосов Осепов к зимовью Меликенцев, где нынче содержался колхозный скот, караван этот спускался в овраг и на минуту пропадал из виду, скрытый маленькой ивовой аллеей, потом снова выходил на горный склон и шёл, то и дело проваливаясь в овражки, и наконец объявлялся у самого хлева, где единственным признаком жизни была куча навоза. Впереди, как молодой волк, рассекая снег, шли мы — юный Ростом то есть, никакой жалобы или даже ропота не помним, шорох вязанок, бьющих нас по спине, это вроде помним — хш-хш-хш — и безмолвное страдание. Барышня-директор шла рядом с колонной, таща за собой навьюченную лошадь, она то забегала вперёд, то отставала — мы мучились каждый поодиночке, а она за всех нас страдала;

когда мы ещё связывали вязанки, что-то произошло, что-то не совсем понятное и волнующее, директриса, опустившись на колени рядом с нами, собирала с земли сено, вдруг она выпрямилась, встала, задумчиво сунула руку во внутренний карман кожанки и вытащила шёлковый платочек с вышитым в уголке именем «Вергин», а в платочке два-три сухих, высушенных цветка, потом она и женщины смотрели друг на дружку, потом та из них, что была Вергин, платок из её рук взяла и отошла в сторонку, ревность и скрытое презрение длились секунду — директриса утёрла рукавом лоб и глаза и снова наклонилась над сеном, трудно было понять, что за история за всем этим крылась, но что-то, безусловно, тут было: чуть позже, когда директриса сняла куртку и осталась в мужской военной гимнастёрке, эта Вергин, отвернувшись от всех, стояла отчуждённо, директриса пошла, накинула ей на плечи куртку, потом эта Вергин, скорчившись на снегу, опустившись на корточки, прижимала к лицу ворот куртки и молча давилась слезами;

какие это были святые души, одна вдруг поскользнулась, упала на лицо, придавленная вязанкой, и молча поднялась, ещё в балке перед тем, как одолеть подъём, они расселись прямо на снегу перевести дух, так с вязанками за спинами и сидели; барышня-директор сосала снежок, как всегда невозмутимая, пряча от всех улыбку довольства, за хлевом глухо, мощно и горячо промышал тяжёлый бык — украшение и гордость колхозного стада — и вышел из-за хлева, тяжёлый, красивый и страшный, и стал выводить свои бычьи рулады, ужас охватывал всех, кто слышал его. Но вы бы видели восторг и умиление этих женщин.

«Вуй, вуй, вуй, — закричали они, — ахчи, голодный он, тот бедняга не сумел, видно, загнать в хлев». «Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать... двадцать пять, двадцать шесть», — считал позывные быка один из школьников, а «тот бедняга» — махонький седенький хромой наш дядюшка — встал перед быком, машет хворостиной, хочет загнать его в хлев, но бык всей своей тушей рвётся к сену; скотина в хлеву тоже почуяла запах сена и обезумела, хлев прямо-таки сотрясался от их рёва, а бык дорвался уже до сена и жевал его прямо из вязанки, и все, глядя на него, блаженствовали, словно это их ребёнок был, и, когда мы говорим сейчас, что они были святые, мы вот эту их радость вспоминаем.

Мы заметили, что в последнее время частенько воспоминаниям стали предаваться — стареем, значит, или же прижало-прищемило нас в настоящий момент. Вот мы, закатав штанины, засучив рукава, купаем в речке коня, и проходящие дальней тропкой девушки и молодые невестки поглядывают на нас, подталкивают друг дружку, шепчутся между собой о чём-то и смеются. Эту картину мы, призвав всю свою волю, как истинный патриархальный мужчина, отвергли и вместо неё вызвали к памяти более целомудренную и чистую сцену: собрались мы, косари, молодые все ребята, хотим сфотографироваться, толчёмся, не можем как надо расположиться, во рту у всех по незажжённой сигарете, для форсу особого взяли в рот, никто из нас не курит ещё.

— Брось, — сказали мы себе, — прошлого не воротишь. Да и не хотим, — сказали, — возвращать-то...

Дом Альберта, его сад, двор были самые чистые, ухоженные и до того полные жизни — в селе это был, пожалуй что, единственный такой дом. Сам хозяин возился с какой-то техникой, вроде бы, электропилу чинил. Несмотря на то, что за домом стояла машина-молоковоз с цистерной, то есть хотим сказать: несмотря на то, что это был дом механизатора, но двор и ворота не были запачканы, как это обычно бывает, не знаем, от кого это шло, от самого ли Альберта или его пышненькой расторопной и трудолюбивой хозяйки, которая постоянно находила себе работу в этих чистых светлых хоромах, её тело с сильными бёдрами всё время пребывало в движении; шести-семилетний мальчик, стараясь оставаться незамеченным, с подозрением и враждою наблюдал за нами, остальных детей не видно было, но оттуда, с деревьев и с верхнего склона, поросшего кустарником, слышались их голоса:

- Улетели, гнездо пустое...
- А того, с перебитым крылом, тоже нет?
- Пусто.
- Кошка, может, сожрала... Эй, Ваан!..
- А груша где, та, с желтыми щёчками... помнишь?..
- Не трогай, это для маленького.
- Всё равно птицы уже полгруши расклевали.

Во дворе сушилось на верёвках чистое, благоухающее здоровьем бельё, дом, сад и весь склон, поросший кустарником, — всё это, можно сказать, пело и ликовало, и было нам, хотя мы к этому дому с недобрым сердцем направлялись, нам всё это было по душе — эти подсолнухи, эти раскидистые яблони, эти ровно распиленные и, как единая стена, сложенные в поленницу кубометры. Изгородь в саду была делом всё тех же старательных, заботливых рук — без всякого раствора, камни словно надеты один на другой, поверх каменной ограды лежали ровные жерди, они-то нас и интересовали, мы приглядывались к ним, а мальчик в саду внимательно следил за нами в это время. Когда мы выбрали нужное бревно и потянули его за один конец, ребёнок не выдержал, высунулся.

— Ты что это с нашей оградой делаешь, эй?!

Улыбнулись мы, сказали:

— Подними с земли камень и замахнись, ты разве не сын своего отца?
Вроде бы что-то понял, устыдился, но его детская логика работала пока ещё одно-значно — тот, кто пришёл и ломает их ограду, враг. И он сказал:

— Отойди от нашей ограды, ты!

«Ну вот, — усмехнулись мы, — дали втянуть себя в драку».

— Ограда не твоя, — сказали мы, — брёвна из моего леса.

Смешался, пробормотал удивлённо:

— Вуэй... — потом нашёлся: — Лес, — сказал, — не твой.

Мы ответили:

— Лес мой, вон и документ насчёт этого в кармане.

— Вуэй... — опять сник он.

— Вот так, — сказали мы, — в этом мире всё на законе держится.

Тут уже ему крыть было нечем, и он закричал высоким, звонким и таким сердцу нашему дорогим голосом, братьям своим крикнул, они пока ещё были скрыты от нашего взгляда, но вот-вот уже должны были появиться.

— Эй, — завопил он во все лёгкие, — эй вы, тут какой-то человек ограду нашу ломает, а вы там груши себе лопаετε, эй!..

Улыбнулись мы и сказали себе — одолжи-ка у кого-нибудь ещё пару ног, заткни уши и беги не оглядываясь, товарищ Мамиконян.

Братья не замедлили откликнуться:

— Спусти с цепи собаку!

— А кто ломает-то, эй?

И он нас представил:

— Какой-то толстый старик, когда говорит, хрипит очень.

Значит, в стариках мы уже, «хрипим». С ближнего дерева прямо под ноги нам прыгнул мальчишка, камнем упал — этот нас узнал, сказал:

— Да это ж боров из Цмакута.

Хозяин дома цыкнул на него «молчать!», но не смог, видно, сдержаться, мы услышали его приглушённый смех, этот смех, когда он направлялся к нам по тропинке, ещё не сошёл с его дерзкого лица браконьера, от нас, лесника то есть, зависимого браконьера. Зависимого-то зависимого, но в то же время непонятно каким образом очень даже независимого, смиренно нам, казалось бы, подчиняющегося и в то же время откуда-то нам постоянно ножом ли, чем-либо ещё угрожающего.

Мы от него сейчас иного отношения к себе, иного поведения ждали и потому, наверное, сердито занялись делом — принялись отдирать от ограды другой конец бревна, при этом поранились. Мы высасывали кровь из раны, он подошёл и сказал спокойно:

— Впервые переступаешь порог моего дома, и как враг — с тыла. — Он распахнул калитку. — Милости просим.

Мы сказали:

— Мы за свои действия отвечаем. И, если мы зашли к тебе, как ты говоришь, с тыла, значит, так оно и есть, враги мы и есть.

Он усмехнулся:

— Сколько ты врагом нашим себя ни выставляй, вражды твоей никто не примет, ты наш родственник.

Мы сказали:

— Вот и дети твои того же мнения.

Засмеялся:

— Что-нибудь не то сказали?

— Боров мы, вишь, боров, — вскипели мы, — осенний выхолощенный боров, растол-

стели, состарились, хрипим вот, скоро и вовсе подохнем.

Он сказал, не очень, впрочем, заботясь, чтоб ему поверили:

— Если дети говорят, значит, слышали где-то, считай, что ты мнение народа услышал.

Бревно тяжёлое было, мы приподняли один конец, взвалили на плечо, сначала нам показалось — осилим, дотащим как-нибудь до места, но тяжёлое очень оказалось. Бросили мы его. Он стоял, смотрел на наши усилия. Мы сказали:

— Шлагбаум мастерим. Была бы наша возможность, взорвали бы Каркап, отрезали бы этот край от всего прочего мира...

Своего отношения к нашей затее никак не показал, пошёл, принёс из дома электропилу, мы в это время разглядывали его дом и сад. Мальчишки, выстроившись, смотрели на нас. Мы сказали:

— Дом, цветы, деревья, сад вон, дети... корни пустил...

Он пилил бревно — там, где мы пометили, на секунду оторвался от дела, поднял голову, посмотрел на дом, на сад, на детей посмотрел. И сказал:

— Пустил корни, верно, — подумал и через силу, но поблагодарил: — Знаю, что закрываешь на дела наши глаза, не такие уж мы непонимающие, понимаю и очень тебе за это благодарен.

— Да, — сказали мы, — лесом промышляешь, извини, не должны были мы этого знать, но знаем.

— Вот я и говорю — спасибо.

— Детям своим спасибо скажи, — ответили мы, — они пели сейчас, а мы стояли радовались, от старого Цмакута певучий осколочек чудом уцелел, в твой двор попал, мы рады... но, — сказали, — просим, не делай так, чтобы Ростом забыл про эту радость, не испытывай нашего терпения, не выводите Ростома из себя...

— И захочу — не смогу, — сказал он, — покупателя не стало, с тех пор как сёла перешли на газ, с покупателем туго.

— Это уже чересчур будет, если мы тебе ещё и покупателей подыскивать станем, — сказали мы, — да и не о том сейчас речь. Большой дуб на склоне срублен — твоих рук дело. — Опустив голову, он включил двигатель пилы, мы выключили ногой. — Динамит твой в нашем погребе. Вот это твои дети, да? Стоят, смотрят на нас с тобой, ради детей этих просим: забудь дорогу к кахнутским лесам, очень тебя просим. Пилу твою электрическую сейчас не конфискуем, пусть ребята не видят, что отца их наказывают, такое не забывается, тяжёлое будет для них зрелище, навек запомнят, загубленное то бревно порубишь, искрошишь, в овраг всё сбросишь, а пилу сам, собственноручно принесёшь, поставишь рядом с динамитом в нашем погребе. Пожалуйста.

Мы взяли снятое с ограды бревно и поволокли, он хотел помочь нам, мы не позволили:

— Что тебе надо делать, ты уже знаешь.

— Не там спрятал, хозяин... — сказал он. — Про динамит я... ещё взорвётся, глядишь, ненароком...

Мы отрезали сухо:

— Не будем балаган устраивать.

— Уеду, — сказал он, — уеду отсюда, останешься один в этих развалинах, ты этого, может, хочешь?

Мимо опустевших, покинутых домов, через весь центр села, пустыми, разорёнными садами волокли мы бревно туда, где намеревались поставить шлагбаум; время от времени мы останавливались перевести дух, но тяжкая картина безлюдных подворий и запертых ворот прямо-таки убивала нас, мы боялись даже взглядом задерживаться на всём этом. За старыми дверьми порой слышались старые голоса, доносились обрывки старых песен, кое-

где полоскалось на ветру бельё или же звенел старый школьный звонок — всё это должно было быть раз и навсегда отвергнуто нами, отрезано, но затягивало, хватало за глотку.

— Э-э-э! — проворчали мы. — Жили бы, ежели на то пошло, жили бы, кто вам мешал, но уж раз умерли, так и оставайтесь мёртвыми, чего вам от меня надо...

Когда мы наконец добрались до места и оглянулись, увидели, что кто-то тащит следом за нами полбревна, и, видно, трудно ему, но тащит, выбиваясь из сил. Мы узнали мальчика-горожанина. Растрогались мы до невозможности, наше поведение, порядочность наша, значит, приходилась детям по душе, с нас, значит, брали пример. Пошли мы ему навстречу, отобрали было у него бревно, но нельзя же обижать малого — оставили ему один конец, сами взялись за другой.

Одного из наших, перебравшихся в город, сын был, нелюдимый и самолюбивый мальчуган, и не сказать, чтоб так уж он нашу особу и наши повадки обожал, словом, если и любил, умел это не показать.

— А не побоялся ты, что Альберта пацаны тебя камнями закидают?

Мальчик не ответил.

— А ведь могли, — сказали мы, — что им стоит.

— Не смогли бы. — Спокойное пренебрежение было в его голосе.

Мы сказали:

— Всё ж таки они местные, а ты пришлый, чужой тут. Захотели бы, ещё как бы забросали.

На это он и вовсе ничего не ответил, фыркнул только.

— А ты, — сказали мы, — такой же уверенный, как той отец. Что поделывает товарищ полковник?

Всё так же презрительно он ответил:

— Полковничает.

Так, слово за слово, разговаривая о том о сём, сообразили мы с ним шлагбаум, колышки в землю вбили, ну и всякое тому подобное, всё честь по чести, потом приладили замок, новенький, свеженький. Инструкцию, по-русски написанную, прочёл и раскумекал, в чём там дело, конечно же, мальчик. Потом мы пошли, принесли старый школьный звонок, повесили на шлагбаум: хотите унести дерево из леса, пожалуйста, звякните, мы тут как тут, придём и откроем наш шлагбаум. Один из ключей мы повесили мальчику на шею, и тут уже он не смог скрыть ребячьего своего властолюбия. И мы сказали:

— Ошибёмся мы, если назовём тебя Мело? Мелик? Нас самих Ростом Мамиконян величать. А можно и Ростом Саргсян.

— Феликс я. А почему это я Меликом должен быть?

— Дед твой был Мелик, Мелик Саргсян, Мелик Саргисович Саргсян.

Мальчик скривился пренебрежительно:

— Полковник своим детям других дедов нашёл — Джонрид, Леонид, Феликс.

— Что ж, — сказали мы, — от души рады, что наши деревенские и в городе на виду — в полковниках ходят. Тем более из нашего рода ребята, братья наши.

— А вы не братья, — возразил он.

Подумали мы и сказали:

— Знаешь, значит, по вечерам, значит, садитесь, село вспоминаете. А мы думали, ребята уходят и на веки вечные свой край забывают, но, значит, помнят, садятся и детишкам своим рассказывают... кто-то и о Ростоме рассказывает, мол, корнем он не наш, но как раз он-то и самый нашенький, а?.. Нет, мой милый, не братья мы, прав ты, и фамилия наша Мамиконян. Была Саргсян, теперь Мамиконян. Хотел бы ты лесничим быть, с ружьём да при коне?

Хотел бы, конечно, но сдержался и сказал только:

— Вон ты лесник и есть.

— Хотел бы, — кивнули мы. — Представление о леснике, что из-за стаканчика водки лебезит перед всяким, мы начисто изменили — гордый всадник на коне, вот кто теперь лесник. А то поднесут стаканчик и тут же, ещё ты выпить не успеешь: «Хозяин, крышу хлева нечем крыть, разреши срубить...» Тьфу!

Первой и последней машиной, для которой шлагбаум наш явился преградой, был сельский грузовик, водитель — младший сын нашей сестрицы — возвращался со складов сельскооповских, машина эта пришла и упёрлась в дело рук наших и в нас самих. Продавец, рассудительный и недоверчивый, медлительный и слова свои словно на счётах давно выверивший, ровесник наш, за двадцать лет работы ни разу не допустивший недостачу, — взглянул на нашу работу и с отвращением скривился.

— Айё! Айё... — только и сказал он.

Сам он с Маро и двумя её дочками сидел в кабине, заваленный всякой поклажей, рядом с собой посадил ещё одну дочку Маро — с младенцем на руках. Красивыми, непривычными для наших краёв созданиями были эта Маро и её дочки. Даже в младшей, в незрелом подростке, был какой-то уже вызов, уверенность этакая женская, нам-то что, мы своё уже прожили, не скажем, что сердце наше как-то особенно всколыхнулось, но полковничий сын мгновенно был обезоружен и сам на себя за это рассердился.

— Пожалуйте, — сказали мы, — каждому въезжающему мы рады, каждый выезжающий — наша боль. Лесник здешний Ростом Мамиконян.

— Айё, айё, — протянул он.

Мы почувствовали почти детскую наивность свою и жалко и виновато улыбнулись, однако же и поза нас не покинула — выпрямились, выгнули бровь:

— Другого выхода не было, уж простите!

Со вздохом:

— Открой, — сказал, — открой, дорогу дай.

— Погоди, ещё домик маленький тут поставим, рядом скамеечку приладим и на скамеечку ту ребёнка посадим или супругу нашу, к примеру, — сказали мы

Движением головы он велел поднять шлагбаум, сказал:

— И домик этот спалят и настоящий твой дом и этого чужого ребёнка заодно, ты что же, шутить вздумал с народом?

Мы встали на подножку, заглянули в кузов, обследовали груз и сказали то ли в шутку, то ли всерьёз:

— Блат тут не действует, один закон — ежели водку везёшь, в наше село не пустим. — Добрая половина груза была водка.

Сказал:

— Твоё село здесь доли не имеет, сахар и макароны для кочевья казахского, водка для рабочих, в селе мастеровые внаймы работают.

Присутствие женщин на нас всё же воздействовало, взбеленились мы и спросили:

— Но ты ведь нужды этого села должен удовлетворять, а?!

— Конченная история. Какие у кладбища нужды?.. — сказал он.

Дай-ка заглянем в старый саргисовский дом, сказали мы себе вечером. Богатый дом был когда-то, золото в то время у них водилось, не поскупились, отделали дом на славу, на манер тифлисских домов. Несмотря на полную запущенность, всё в этом заброшенном доме говорило о былом достатке — и потускневшая массивная бронзовая люстра, к ней кое-как прилажена была и жалко светила голая электрическая лампочка, и большая узорная чугунная печь, и точёные ножки, и затейливая резьба широкой деревянной тахты, и

старое седло скакуна — новоявленный саргисовский наследник сунул его под голову вместо подушки. Укрывался он, верно, дедовской буркой, а спал на паласе-капрете, который при переезде не увезли в город; темнели окна, прикрытые ставнями, на подоконниках два-три побитых цветочных горшка стояло, в одном засохший цветок, фотографию деда в бурке, на коне, с кинжалом на серебряном поясе тоже не увезли, оставили, висела над изголовьем тахты, и то ли случайно, то ли ещё почему тут же было групповое фото наше — парни-кошари, совсем ещё дети, таращимся с фотографии. Снимок этот прилажен был к дедовскому фото, в уголочек.

Постучались мы и вошли в дом. Мальчик лежал на тахте, курил. Завидев нашу особу, спрятал сигарету, и это нам, что ни скажи, понравилось. Окинули мы взором просторную тёмную комнату и тяжело вздохнули.

— Растапливали, бывало, печку, рассаживались вдоль стен, девочки, тётки твои по отцу, уроки учили, а мы дедовских времён истории рассказывали и на зурне-дооле учились играть... тихонько, неслышно почти... война была, нельзя было громко, вслух радоваться... девочки повторяли урок, мы слушали, это и была наша учёба. А знаешь, для чего мы сюда пришли? Чтобы вместе к нам пойти обедать.

Голоден был, конечно, но сказал:

— Спасибо, мне не хочется.

— Курите, — сказали мы, — не даёте своему телу привольно расти, сами себе вредите... глупые узкие брюки носите. Извини, — сказали мы ему, — в доме нашем детей нет, обхождению с ними не научены, ну ладно, вставай давай, пошли.

Лицо от нас медленно отвернуло, не понравилась, значит, наша критика.

— В твоём возрасте мы уже за овцой смотрели, — сказали мы, — вашего и нашего деда Сумбата настигли качаги, разбойники, знаешь, пятеро качагов, отвели деда в Папахар, раздели, спину кинжалом проткнули и лёгкие кинжалом перемешали. Потом сказали — теперь иди. Зажал рану рукой, кое-как добрался домой, при каждом, говорят, вздохе из раны кровь капала. Пошли, фото его дома у нас висит, увидишь, про это мы часто с твоими вспоминали. Наши, значит, убили когда-то человека, азербайджанца, младшая жена его видела это, сама на сносях была и сказала плоду во чреве — мстителем будешь, родила то есть мальчика и через восемнадцать лет вложила ему в руки ружьё — иди, мол, пора... И про это тоже мы в долге нашем вспоминали-рассказывали, твой отец в истории своего рода особенно не вникал, не углублялся, да и новые дела его не трогали, в городе уже был помыслами, и ничто, значит, не должно было связывать его с этим местом, ничто не должно было тянуть за подол, останься, мол, — ни протянутая за помощью рука вдовой соседки, ни девушка, ни дружеская привязанность! Нет, он видел себя в городе, полковником — только так. Мы ему не завидуем. Достиг чего хотел — достоин, значит, был. Гляди, — показали мы на старое фото на стене, — косить как-то пошли, сфотографировались на память. Мы по бокам, видишь, стоим, а твой отец в центре, он в косьбе главным среди нас был, в центре, значит, стоит, да? Но как чужой, как прохожий незнакомец стоит... и фото, видишь, оставил, не взял с собой... за ненадобностью.

Посмотрел исподлобья, мрачно, сказал:

— Про это рассказывал.

— Знаем, как он рассказывает, только и знает передразнивать всех. «Та-ак твою бабу!.. лес, он наш!» — отца нашего, значит, показывает. «Да убейте вы его, сколько можно со страхом в душе жить...» — это, значит, Гевант Врацян... а что кишки рукой зажал и кинжалом тем трёх человек порешил, потом с летнего кочевья народу видимо-невидимо в ущелье сбросил, про это молчок. Истории все это, — сказали мы, — биография села, не станет нас — кто рассказывать будет? Кому? Кто услышит?.. Беспризорная быль. Село это сто лет назад на крошечном месте построили, на таком прямо маленьком — с яичко куриное. Ото всего

защищаясь — от овитовцев, от казахов, от собак и пастухов, от ружья, от кинжала, от закона... боролись... Для кого боролись, для кого создавали, кто хозяином всему этому будет?..

Вышли мы с ним вместе на крыльцо, мальчик прикрыл дверь старых саргисовских хорм, и мы свернули к нашему дому.

— Это уже старые, нашей молодости дела, — заговорили мы снова, — наша супруга твоей матерью должна была быть, они с твоим отцом крепкое слово друг дружке дали, для нашей супруги мы тогда не существовали, теперь-то очень даже существуем, если хорошенько посмотришь, увидишь, как выглядывает сейчас нас из-за деревьев, беспокоится, «почему опоздал, что случилось, почему из-за государственного имущества врагов наживает», ну и так далее. И вот что тогда произошло... допустим, ты девушка, а я твой будущий полковник-отец, стоим, значит, друг против дружки, Ростом тут вообще нету, Ростом — эта вот деревяшка. Или это камень? — спросили мы.

Посмотрел.

— Коряга, — сказал, — старая.

— Как раз мы и есть старая коряга, теперь гляди, что дальше было, — сказали мы и отступили, сделали шаг назад: перед ребёнком оказалась коряга. — Пожалуйста, — сказали мы, — вот вам Ростом, а мы в город едем. — И почему? Супруга наша неродящая была, понятно, да? Для Ростом ничего, сгодится, Ростому не обязательно множить свой род, поскольку сам найдёныш-приёмш безродный, в часовенке лесной подобранный. Пожалуйста. Не братья мы, как можно, ни родные, ни двоюродные, никакие, и, если нам позволялось жить в этом доме среди саргисовских детей и втайне верить, что мы с ними одной крови, за это одно земной всем поклон. Твой дед, — сказали мы, — большой знаток по части всякой живности был, с одного взгляда мог определить, какая, скажем, корова какой приплод даст, какую на бойню следует отправить, а какую холить-лелеять, в рекордистки выводить. На свадьбе нашей он, может, и пожалел нас про себя, ну да уже решено было, что нам размножаться не надо — не тот вид...

Мы остановились и мальчику тоже сделали знак не идти дальше: кто-то выдирал из нашего частокола сухие сучья. Младшая дочка Маро. Остальные дочери Маро с матерью вместе развели во дворе огонь, поставили котёл и расселись кругом, но разве же это был огонь, разве можно было сварить обед на таком огне? Младшая дочь Маро ломала наш частокол, а наша супруга пряталась в саду за деревьями, чтобы не смущать девочку. Мы с мальчиком потому же остановились и ждали, пока девочка кончит своё дело.

— О чём это мы с тобой говорили? — спросили мы.

— Кинжал у них отобрал, кишки рукой зажал и бросился на них...

Но напрасно беспокоились за девочку и мы и супруга наша — девочка и нас и супругу нашу прекрасно видела, но для неё не существовало понятия «моё-твоё», «наше-ваше», как, впрочем, и для всего этого семейства, которое окликало её в это время: «Эй, ахчи, скорее неси, огонь сейчас погаснет!..» Семейство это, сёстры и их мать, разогревало еду для грудного ребёнка, в селе нашем это был единственный дом без изгороди-ограды, открытый для всех, и всегда таким был, то есть девочка не понимала, почему нельзя ломать чужую изгородь. Раз там жерди, значит, нужно ломать, если фрукты — рвать; сейчас она, забравшись на ограду, обрывала наши яблоки.

Мы кашлянули и прошли вперёд, чтобы, значит, от нашего присутствия ей стало стыдно, но она посмотрела только, как зверёк может посмотреть, и продолжала как ни в чём не бывало рвать яблоки, и тогда мы снова кашлянули.

— Ахчи! — окликнули её с их двора.

— Недозрелые, — сказали мы, проходя рядом, — зелёные ещё, красивая барышня. Поспел, сами вас угостим.

Ни присутствие наше, ни слова не возымели действия — посмотрела как дикарка, выплюнула кислятину и потянулась за другим яблоком. Улыбнулись мы и пошли дальше.

— Отец у них стеснительный такой был, воды испить хотел, стеснялся попросить детей своих воды ему подать, мы с ребятами всё удивлялись, как же это он, думаем, жену свою не стесняется и всё это самое... — Но тут мы вспомнили, что слушатель наш — ребёнок, и махнули рукой в сердцах. — Да, сделались мы сторожем при кладбище, — и возмутились, вскипели, — приезжайте и живите тут сами, и воспоминания свои тоже вспоминайте сами!

Хозяйка наша заметила нас и накрывала на стол. На двоих накрывала. Дверь в дом оставила открытой. От нас не укрылось, что мальчик с вниманием разглядывает наш дом и сад, наш ладный двор, смотрит на всё изучающе, видно было, что деревенская эта опрятность ему нравится. Невольно мы и сами окинули всё глазами этого мальчика — калитка в сад, навес для коня, поленница, два-три улья, цветы в палисаднике, грядки фасоли, четыре барашка.

— А вообще-то премного благодарны, — сказали мы. — Твоего возраста были, вот как если бы ты сейчас был сиротой, а мы бы тебя взяли да и поженили вон с той недозрелой, что в саду нашем. Родные люди так не делают, родной родного от глупости-дурости удержит, скажем, если ты решил бросить школу, родные ведь не похвалят — молодец, мол, хорошо поступаешь, хватит тебе твоих пяти классов... так что действительно не родня я вашим... да-а-а, собрались твои, за одну ночь эти вот стены возвели, загнали нас сюда. А мы даже смотреть друг на друга стесняемся, сидим и плачем оба, не поймём даже, почему плачем, но чувствуем — оба мы сироты. Нет, что и говорить, спасибо им, всё-таки дом, можно сказать, построили, со стенами, с крышей даже, не знаем, сами мы сделали бы столько для чужого, без роду-племени парня...

Несмотря на то, что на балконе был висячий умывальник и вешалка для полотенца имелась, супруга наша имела обыкновение, когда мы умываемся, стоять рядом, как покорная барышня, с полотенцем через плечо. Умылись мы, вытерли руки (мальчик в точности повторил все наши движения, и это растрогало нас до невозможности).

— И это тоже — чтобы, не зная, кто да что, может, божий дар это, а может, дьявола отродье, — чтобы найти в часовне младенца и, взяв под бурку, укрыв от непогоды, град там всякий, дождь, как лучинку бы, из села в село несли, вот точно так принести в свой дом и сказать «принимайте, моя судьба это, нашёл», а потом отнять грудь от собственного дитяти и матери кормящей сказать «не умрёшь, обоих кормить будешь, своего и этого агнца божьего» — так, конечно, только родной мог поступить, только сын Саргиса, и мы конечно же Саргяны, из ваших то есть.

Дверь в комнату была распахнута, посреди комнаты стоял накрытый на двоих стол, перед тем, как войти в комнату, мы привычным движением скинули с ног сапоги и в белых, домашней вязки носках прошли в нашу чистую, в меру бедную комнату, сапоги же супруга наша подобрала и, как заведено было, поставила к стене, мальчик сначала прошёл в комнату в обуви, но потом сообразил и вышел, чтоб разуться, мы с супругой улыбнулись, а мальчик долго пыхтел, развязывая шнурки кедров.

В отношении еды можем про себя сказать, что мы не какие-нибудь особенные едоки, но любим, чтобы стол был богатый и радовал глаз. Окинули мы стол взглядом, достали из шкафа две маленькие стопки и непочатую бутылку водки, мальчик сказал.

— Я не пью!

Он разглядывал наше фото — в чёрной бурке, на коне да при ружье.

— И мы не пьём, — сказали мы, — но водка на столе должна быть, чтобы глаз наш был сыт, то есть чтобы никто не мог ослабить волю Ростома водкой.

Мальчик сказал:

— Лёгкие проткнули, а потом?

— Какое там проткнули — проткнули и в ране поворочали, потом в балку столкнули, если мёртвый уже, туда тебе и дорога, если живой ещё, в балке сгниёшь, а чёрный ворон так и так над тобой будет кружить. Из-за одного барана, ну что такое баран, с закрученными мудрёными рогами. То есть всю отару можете угнать, а этого с рогами не дам, я за ним особо смотрел, ручной он, из всей отары саргисовской он особенный (а отара, говорят, большая рассыпалась по всей Синеи горе). Не дам, говорит, не будет этого.

Мальчик внимательно смотрел на наше фото, мы поняли, что он принял нас за деда Сумбата, и сказали:

— Ошибаешься, это мы собственной персоной, нас кинжал не берёт и пуля, думаю, что не возьмёт. Нас только жалостливость наша подводит, то есть когда нам говорят: «Ради детей». А героический наш дед — вот он, — мы подвели мальчика к фотографии деда. Районный фотограф снял его рядом с племенным бычком Донбассом. Донбасса этого не только дети, но и взрослые пугались. Стены хлева ходуном ходили, когда он кричал, а у деда, глянь, тонюсенький прутик в руках. — Это вот наш хлев старый, — сказали мы, — а это сам бык Донбасс, у нас тогда всему самому лучшему, передовому давали имя Донбасс — Донбассом или Стахановым называли, а здесь, — мы вышли за пределы фотографии, на стене показываем, — здесь амбар, на амбарной крыше фотограф устроился, к быку подойти боялся, попросил лестницу, забрался на крышу, с крыши и снимал, у хлева собрались все наши ребята, все мы тут, пришли посмотреть, пользуясь случаем, на быков и как фотографировать будут.

— А качаги?.. — напомнил мальчик.

— Качаги взяли всё, что хотели, даже больше того, и убрались, — сказали мы. — Дед в жизни в руках ружья не держал, ни ружья, ни ножа. Скотина ли, овца ли, собака, человек — перед всеми с одной только ивовой лозой в руках. Добрался до села голый... — мы покосились на мальчика.

— В подштанниках и рубахе? — спросил он.

— Голый, — сказали мы. — В чём мать родила. Тогда чоху носили, прямо на тело чоха надевалась — чоху с него сняли, голый, как мертвец, добрался, спрятался в зарослях, как вздохнёт — из бока воздух и кровь пузырится... вот! — взорвались мы. — Наша эта порядочность высокая — умираем, но рядом дети, женщины, молодёжь, не хотим, чтобы в голом виде нас видели! У наших собака верная была Чамбар — мать всех цмакутских собак, что-то почуяла, искала-искала в зарослях, полумёртвого, в забытии лежал, нашла и завыла на всю округу — у-у-у... А теперь за стол! — сказали мы. — Государственное дело мы с тобой сегодня сделали, можно и пообедать.

— А воры? — спросил мальчик.

— Воры? В те времена что взяли — взяли, кого убили — убили, воров разбойниками-удальцами называли, справедливых в народе называли несчастными, эти несчастные сочиняли про разбойников-качагов песни, а народ пел эти песни.

Сели мы с ним. Если бы господь наградил нас ребёнком, сидели бы с ним вот так, посмотрели мы на непорочное, невинное это лицо, увидели, как мальчик выбирает лук из обеда, не любит, значит, и вдруг видим, супруга наша смотрит зачарованно на него, передалось нам её волнение, так что дышать стало нечем, откашлялись мы и сказали:

— Просьба у нас к тебе будет, ведь ты сын нашего брата, и, пока ты здесь, будем каждый вечер вместе за стол садиться, мадмазель больше лук в обед класть не будет. Сколько ты ещё здесь? До сентября, до школы, наверное?

Скорее по выражению лица нашей супруги да ещё по тому, как она вела себя (радио пело — пошла, сделала звук громче), мы поняли, что в село чужая машина приехала и про-

исходит что-то тайное. Мы выпрямились, отложили кусок хлеба и поднялись с места. Супруга наша уже стояла в дверях и молча взглядом умоляла не выходить. Мы прикрыли по нашему веки, подождали, пока она даст нам пройти. Когда мы натягивали наши тяжеленные сапоги, услышали:

— Бывало, чтоб ты когда-нибудь спокойно доел свой обед?

— Не заслуживаем, значит, того. — И тяжесть наших слов, и тяжёлая медлительность, с которой мы натягивали сапоги, и то, как мы затаились поверх гимнастёрки широким армейским ремнём и с глухим стоном выкатили нашу грудь, то, что не узнали мальчика и турнули его, всё это выдавало, что мы не на нитку взбешены.

Когда мы уже в саду были, мальчик перемахнул через веранду, а супруга наша, накидывая на плечи шаль, вышла из комнаты; мы остановились, и супруга наша обязана была понять, что Ростом не хочет, чтобы она с мальчиком шла следом за ним. Супруга остановилась и мальчику, чтоб не шёл дальше, знак сделала. Мы тяжело и угрожающе двинулись, конь наш стоял привязанный в саду, мы прошли рядом с ним, тяжело перемахнули через ограду. Из ограды выпал камень, мы вернулись, поставили камень на место, после чего стали спускаться к дороге, стараясь быть спокойными.

Мальчик был уже возле шлагбаума. Открытый шлагбаум походил на колодезный журавль с вытанутой шеей. С клюва свисал наш замок. Мы схватились за шлагбаум, спустили перекладину вниз — закрепить было не за что, — мы сели на свободный конец. И только сейчас, словно издали, сквозь пелену словно увидели мальчика.

— И ты, значит, здесь... Не надо было тебе...

С холма, что напротив, медленно съезжала машина, самосвал, видно, водитель фары на минуточку включал, чтобы дорогу перед собой разглядеть, потом выключал и ехал с выключенными фарами — проедет немножко, и тормозит, и снова фары включает, потихоньку, словом, медленно продвигается вперёд.

Он подъехал, упёрся в шлагбаум и зажёл фары. Мы поднялись, заслонились рукой от света, сказали:

— Очень хорошо. Не выключай пока.

Мальчик, после того как мы встали, навалился всем своим лёгоньким телом на перекладину, пытался удержать её. Мы оглянулись на его отчаянные усилия, посмотрели и в этом полном скрытого бешенства и ненависти мире увидели лицо человечности. Мы дотронулись рукой до шлагбаума и сказали:

— Оставь, непригодным оказался, отпусти ко всем чертям.

Конец шлагбаума взлетел в небо. И остались стоять перед машиной — мы с мальчиком. Мы руку к груди поднесли, отвесили земной поклон и сказали водителю:

— Вот спасибо-то. — И снова до самой земли поклонились и повторили: — Благодарствуем. — Сами себе обезумевшими казались, и, осуждая себя за это, но не в силах взять себя в руки, мы снова отвесили поклон и сказали: — Премного благодарны за то, что удержали нас от кровопролития.

Мы было хотели ещё один поклон отвесить, но тут краем глаза увидели нашу супругу. Кусая пальцы, она направлялась к нам сквозь мрак. Её испуг отрезвил нас. Мы выпрямились, одной рукой стали обмахиваться, другую протянули водителю.

— Лицензию, — сказали мы. — По-армянски — разрешение, значит, что имеешь право лес воровать, вообще лицензию на въезд в этот край. — Никакого ответа. — Эй, есть там кто? Лицензию, тебе говорят. — Молчание. Мы протянули руку. — Ну?! — и подождали ответа. Наконец услышали:

— Жду, когда человеческий вид обретёшь.

Мы ответили:

— Долго ждать придётся. Лицензию!

Это был щупловатый жалкий парень из работяг, громко, в голос крича со страха, он вышел из кабины, подошёл и встал перед нами.

— Какая ещё, к шутам, лицензия?! Мне сказали, поедешь, повезёшь эти дрова в Крхорский овраг, известнякам, при чём тут лицензия?! Приказано мне!

— Кто сказал? Кто тебе приказал?

— Начальство моё.

— А начальство твоё не сказало тебе, что там ещё бешеный пёс есть по имени Ростом, осторожней, мол?

Рассмеялся принуждённо.

— Вот я и не хотел с тобой встречаться.

Мы его легонечко к кабине подтолкнули, «садись» сказали, сами с другой стороны встали на подножку, постучали по стеклу — открывай, мол. Сказал:

— А если не открою, поеду, да и скину тебя в овраг, что тогда делать будешь?

Усаживаясь рядом с ним, мы сказали:

— А мы как раз этого и хотим. Разворачивайся, — нам показалось, он вперёд хочет ехать, мы дёрнули ручку тормоза, — назад, говорят!

— А я что делаю?! — вскипел он, потом бросил устало: — Всё-таки не человек ты!

— Не родился ещё человек, который может нас критиковать. Езжай давай, — сказали мы. — Когда завтра твои дети начнут задыхаться от дыма химкомбинатовского и ты пошлешь их в Ростововы леса, посмотрим тогда, что вы запоёте.

Мы уже ехали, а он всё не мог успокоиться:

— Тоже мне, князь Аргутинский явился на нашу голову, Ростововы леса, как же, держи карман шире!

— Давай, давай, — повторили мы. — Не твоего это малого умишки дело.

— Я знаю одно — сегодня туда нужно подбросить топлива, сегодня, понял? А ты мне о завтрашнем дне толкуешь. Вообще-то моё дело маленькое, я человек подчинённый.

Но, когда мы остановились у дома этих, Маро и её дочек, и он увидел, для кого мы конфисковали его дрова, он снова взбунтовался, запротестовал:

— Не буду я для них разгружать машину.

Эта незащитная простодушная семейка, сплошь из женского рода состоящая, вышла на шум как была — полуголые, в ночных рубашках женщины выстроились на балконе, на красивых курочек похожие, и Маро, и три её дочери, которые стояли, как и их мать, руки за пазухой, почёсывая ногу ногой. Одна из них, пользуясь случаем, пошла за дом справиться малую нужду, чтобы нас, мужчин, постесняться — и не подумала.

— Не стану для этих выгружать, — водитель дёрнул до отказа тормозную ручку, вышел из кабины, с силой захлопнул дверцу, отошёл немного и сел на землю.

Мы не знали, как разгружают самосвал, и крикнули:

— Феликс!

Супруга наша, будто призрак, стояла поодаль, смотрела, что мы делаем. Из неясной, расплывчатой тьмы выступил мальчик.

Мы сказали:

— Тут какая-то штука должна быть, если потянешь, кузов поднимется, не знаешь, где это?

Мальчик не знал, полез осматривать машину, и водитель не выдержал:

— Э-э-э!..

Злой как чёрт, он подошёл и разгрузил машину.

— Молодец, — сказали мы ему, — можешь ехать теперь, дорога открыта.

Но он не мог уехать так просто. Он дал задний ход, сшиб нас, столкнул, вернее, на груды дров и только после этого уехал. Поднялись мы, улыбнулись и начали складывать дрова,

мальчик последовал нашему примеру. «Курятник» молча смотрел на всё это, если скажем, что они были исполнены благодарности — нет, если скажем, что не были благодарны и подарок наш отвергали — тоже неправда будет. Как зверушки, как птицы, стояли рядышком и смотрели, а мы с мальчиком аккуратно складывали поленья. Разок-другой почувствовали, что супруга наша усматривает в этом какую-то опасность для себя и сильно за нами наблюдает. Маро, точно так же как дочка, сунув руки под мышки, переступила с ноги на ногу, сказала:

— Никак ты у нас святым заделался, братец?

Взмокшие мы были и задыхались, вздохнули и ответили ей:

— Сдаётся нам, по отношению к твоей семейке и к тебе лично мы всегда святыми были. Мы отправили мальчика за топором.

— Возле тоныра, в коряге торчит, — объяснили, — в саду нашем.

Птица птицей, а клюнуть нас в нашу широкую могучую спину всё же захотела. Сказала:

— Про Элину смерть знаешь? Сказали тебе, что умерла?

Ещё сдерживаясь, спокойно пока ещё, мы спросили:

— Кто это Эля и почему мы должны знать о её смерти?

С невозмутимостью животного преспокойно укусила:

— В своё время утешением души твоей была, розой, украшением на твоей груди, да ты, я вижу, и впрямь в святые записался.

Мы глаза закрыли, постояли так, но отвращение и гнев не отпускали нас, и мы сказали:

— Просим вас, очень просим, — сказали, — когда едете в это несчастное село, ваши глупости в вашем городе выбалтывайте, там оставляйте. Скажи лучше, где твои сын и зять?

— Пропустили стаканчик-другой, врезались на государственной машине в дерево. За судили.

— За «врезались» восемь лет не дают, а в машине той чья дочка с ними сидела? Что будешь делать теперь с этой оравой, как всех прокормишь, пока те сидят? А и выйдут, что делать будете, вот ты о чём подумай.

Из мрака выступила наша супруга, пришла, встала между нами и этими, потом, смотрим, нагнулась, полено хочет подобрать, но мы наступили ногой на это полено, сказали:

— Хватит с них услуг одного из нас, пошла отсюда! Кому говорят, пошла прочь!

Мальчик к этому времени вернулся и, онемев, стоял с топором в руках, потом протянул нам топор, но что-то ему надо было сказать.

— Дома вас человек дожидается, — сказал, — сидит во дворе, ждёт.

Мы посмотрели на него — кто, мол?

— Отец Ваника, — сказал мальчик.

Мы не знали, кто Ваник.

— Тот, что возле мельницы кинул в вас камнем.

Мы улыбнулись.

— И что же, отец тоже с камнем явился?

В саду нашем возле калитки сидел Альберт. Завидя нас, встал, отряхнулся, бросил под ноги окурочек, тщательно затоптал его и прошёл следом за нами во двор. Внимательно, уважительно осмотрел дом и хозяйство наше и, сняв возле дверей обувь, в носках, с наброшенным на плечи пиджаком — и мы в том же виде — вошёл вместе с нашей особой в дом.

На столе стояла наша миска с остывшим обедом. Вытащил из-за пазухи непечатую бутылку магазинной водки, поставил на стол со словами:

— Вроде бы в самое время пришёл, — потом отступил на шаг и говорит: — А может, нет?

Сели мы и говорим:

— Садись, раз пришёл.

Супруга наша принесла, поставила перед ним прибор и встала, как послушная служанка, чуть поодаль. Мальчуган сел на своё место — гостю нашему незваному, Альберту, это, видать, не понравилось. Но тут мы дали понять ему, что ждём, дескать, его речей — с чем, мол, пожаловали?

— Давно уж меня раздражает поговорить с тобой начистоту, но без этого, без стаканчика, не смогу. — Он посмотрел на супругу нашу, на мальчика, хорошо бы, мол, они вышли из комнаты. Но мы положили руку на стол и отчеканили:

— В этом доме не принято, чтобы женщины и дети выходили при разговоре в принудительном порядке.

Посмотрел он на нас искоса, по-змеиному и говорит насмешливо:

— До чего же мы справедливые.

Змей, сущий змей. Мы оскорбление проглотили, сказали только:

— Уж какие есть.

Он заговорил, но не о деле, не о том, с чем явился.

— Когда, — говорит, — ты с супругой и с мальчиком этим славным в дом мой придёшь, хлеба моего отведаешь? — Мол, этот твой стол и это твоё угощение — тьфу перед моими.

— Никогда. Не желаем видеть, во что ты жену свою обратил, достойная женщина, а перед каждой посторонней, случайной сволочью стол накрывает, прислуживает.

Усмехнулся:

— Давишь, хозяин, сильно давишь.

— Надавишь на тебя, как же, а ведь тебе давно следовало сказать себе — чего это я творю, ведь это дом мой, а не буфет привокзальный.

— Не для моей славы она перед клиентами моими на стол собирает — для своих же детей старается.

— Клиентуру свою закрой.

— Невозможное говоришь.

— До сих пор, о чём мы ни говорили, всё было в пределах возможного. О чём мы тебя днём просили?

Но он перевёл разговор:

— Зачем срамить меня вздумал при народе? И потом, думаешь, кончились дрова? Нет. Вон снова у меня во дворе машина грузится, и жена моя с детьми помогает.

— И дети, значит, помогают?

— Да, и жена, и дети, — он, видать, завёлся, — и самый младший — из люльки вылез и помогает. А как же ты думал, должны они что-то есть?

— Где пила? О чём мы тебя днём просили? — снова напомнили мы.

— Оставь!

Мы кулак сжали, на стол опустили.

— Твой отец...

Не дал нам продолжать.

— Отца не трогай, — сказал.

Но мы сказали:

— Пока тебе всего в башку не вдолбишь, ты ведь не поймёшь. Твой отец у Гитлера в надзирателях был, за пленными смотрел, за нашими, в Сибири потом жизнь кончил, но мы его имя на памятнике погибшим ребятам написали, то есть хочу сказать, причислили к святым, поскольку ты, выгнув шею, перед нами стоял.

Вспомнит, думали, усовестится, раскается, сукин сын, но плевать он на всё хотел.

— Мне надо было добиться тогда просьбами ли, угрозами, чтобы вы имя отца написали. И добился, поди зачеркни теперь, сможешь?

— Зачем же зачёркивать? — возразили мы. — Что написано, то написано. Но поведение

твоё нам не нравится, и это тоже написано вот здесь, — мы показали на грудь. — И не знаем, каким высоким поступком, каким шагом патриотическим цмакутским ты сможешь стереть это.

Мальчик заснул — щекою на столе. Наша заботливая супруга принесла шаль, укрыла мальчика, мы встали, поправили шаль, и у нас, честное слово, защемило сердце при этом.

Альберт тоже поднялся и съехидничал, не удержался:

— О чужих детях печётесь, а если б свои были?

— Господь не дал нам детей, но любовь у нас не отнял, любви в нас хоть отбавляй, даруем всем подвид, кому надо и не надо.

Лёгкий и гибкий, он молча, бесшумно обувался. Лунная ночь была, сверчки пели, деревья стояли неподвижные, и конь наш стоял не двигаясь, словно неживой, вид его растопил нам сердце, улыбнулись мы, сказали примирительно:

— Косилка колхозная стоит сломанная, починил бы. Обществу, людям польза была бы.

Обулся он, не ответил нам, хотел что-то сказать да сдержался, вышел во двор, постоял там, опять вроде бы что-то сказать хотел — опять не сказал, но перед тем, как выйти из сада, закурил и процедил всё же, не вытерпел:

— Смотри, хозяин, стог твой слишком близко от дома стоит, вдруг да вспыхнет, а? Засмеялись мы.

— Грубое прошлогоднее сено, не загорится, хоть тресни.

Он тоже в ответ засмеялся и говорит:

— Керосину плеснут и подожгут.

А мы ему:

— Плесни и подожги.

— Не я один, хозяин, — сказал он, — не я один, всё село тебе враг. Каждый кому-нибудь мешает жить, но ты особенно, ты — всем. Всем ты бельмо на глазу, знай.

Представительные и преисполненные чувства собственного достоинства, как единственный и полномочный хозяин этого края, на следующий день мы снова красовались на нашем коне.

В старом нашем саду стройматериала прибавилось. Ворота на этот раз были заперты. Возле палатки на самодельном очаге стояла кастрюля. Великанша резала мясо большими кусками и швыряла в кастрюлю — великанша варила великану обед. Невинные беленькие ягнятки стояли возле сетки — не понимали, что один из них уже варится, нюхали подол варившей их великанши. С большим кухонным ножом в руках, подбоченясь, великанша равнодушно обозревала нас. Нельзя сказать, чтобы нам не нравились её массивные формы, мы размягчённо улыбались, ещё немножко, и засмеёмся от удовольствия. Но мы взяли себя в руки, придали нашему лицу соответствующее выражение.

— Со стороны посмотреть, можно подумать, Ростом Мамиконян на бабу да на жратву позарился, но не ради вас, ни тем более ради вашей похлёбки стоим мы тут... а вот если бы вы нам объяснили, что здесь происходит, мы бы вам до небес благодарны были.

Как смотрела молча, перекатывая жвачку во рту, так и продолжала смотреть, словно языка нашего не понимала, или же глухая была, или зверь.

— Кто тут ещё, кроме тебя, есть? — сказали мы. — Пусть выйдет, спросить нам надо одну вещь.

Поглядела на нас спокойно — и по-прежнему ни слова, потом снова принялась резать мясо и швырять здоровенные куски в кастрюлю.

— Кто там есть внутри, эй! — крикнули мы. — Выйди на минутку, разговор есть.

Никакого ответа, а великанша выпрямилась и, как нам показалось, ехидно посмотрела на нас. Мы постучали концом кнута по воротам, никто на стук не вышел, великанша на нас больше не обращала внимания. Мы уехали несолоно хлебавши.

Трое загорелых молодцов, по пояс голые, закатав штаны, доставали из нашей речки песок. Прежде чем увидеть их самих, мы разглядели на берегу две большие кучи ещё влажного речного песка. Мы встали над ними, кончиком кнута сдвинули козырёк вверх и сказали:

— Вы что это делаете?

— Сначала поздоровайся.

И с лопатами наперевес посмотрели на нас насмешливо.

— Чем это вы тут промышляете? — поинтересовались мы. — В нашем краю?

Песочек из воды достаём, — ответили нам.

— Песочек, значит, — сказали мы. — Это можно. Но можно ли, милые, прийти в чужую сторону и, не представившись властям, взяться за работу? Скажем, если я приду и перед вашим домом в городе вырою яму, можно это?

— Рой на здоровье, — сказал один из них и рассмеялся, а его товарищ объяснил причину этого смеха:

— Он на восьмом этаже живёт, — и они снова рассмеялись.

— Нельзя, значит, — заключили мы.

— Вы не лесник Ростом? — поинтересовались они.

Лестно нам стало, возгордились мы, подтвердили:

— Он самый.

— Про Ростом нам сказали, как же, но песок, сказали, не по его ведомству, идите и спокойно ройте.

— Кто это сказал? — любопытствовали мы. — Всё равно кто-то здесь и за песок отвечает, за всё кто-то ответ несёт, хотя бы взять такой пустяк, — тут нам тошно сделалось, поскольку речь действительно о пустяке шла, — черенки лопат этих в нашем лесу срезаны, для вас это значения не имеет, а мы можем показать, откуда срезаны. Как же, — сказали мы, — ежели бы царский лесник не стерёг здесь каждый куст и каждое дерево, был бы, думаете, этот лес сейчас? Так что бросайте свои лопаты и идите на все четыре стороны.

Мы пришпорили коня и поехали отсюда. Мы не были уверены, что приказ наш будет исполнен.

Геологи пришли в наши горы с бурильной машиной и дырявили нашу землю. Чужой, незнакомый край не смущал их, они здесь чувствовали себя хозяевами, пастуха нашего — он им в отцы годился — отправили за водой, посулив показать открытку с подмигивающей голой японкой. На верхнем склоне паслась отара. Их машина бурильная испортилась, механик с помощником копались в ней, один из геологов лежал в тени палатки.

При виде нас скользнули равнодушно взглядом и продолжали заниматься своим делом, лениво переговариваясь. До нас долетело:

— Арут, знаешь, что делал — потихоньку подбирался к отаре и р-раз! Вечером пастух уже сам умолял купить, за три целковых отдавал, а так меньше сотни не брали.

— Калечил он их, что ли?

— Молотком отбойным р-раз, и барашек наш хромой.

— Брешешь.

С их термосом в руках пастух вышел из балки. Мы подождали, пока он подойдёт, укоризненно покачали головой.

— Не стыдно тебе? Ты кто — царь здешних гор или водонос для каждого встречного?

Старый человек был, всю жизнь лямку тянул, посмотрел на термос уважительно, потом, разинув рот, уставился на нас и ответил запоздало:

— Хвост собачий я, а не царь.

Мы спросили про пришлых:

— Кто такие?

— Золото ищут, — пояснил.

— Тебе сколько обещали?

Пастух взялся за наше стремя, ноги у него скользили по траве, совсем старый был.

— Ну так как же, — сказали мы, — сколько тебе перепадёт, если золото это найдут?

— Если найдут, — сказал он, — эти горы у нас отберут, нас самих в город погонят, а тут золотые рудники откроют.

Он снова поскользнулся, чуть не упал.

— Тебе сапоги положены, почему в треках ходишь?

— В сапогах тяжело, — сказал.

— Или, — не удержались мы, — начальство сапоги проело?

— Э, Ростом, — сказал он, — было бы что, подумаешь, сапоги, каких-нибудь двенадцать рублей.

— То есть хочешь сказать, начальством своим овитовским ты доволен? — заключили мы.

Дошли мы до геологов. Лежавший в тени сел, без слов взял у старика термос, выпил, не глядя, через плечо, вернул ему этот термос, словно так и полагается, потом взял консервную банку и сказал:

— И не совестно вам, кругом столько свежего мяса, а вы нас тухлой рыбой кормите.

Перед этой игривой наглостью мы задохнулись. Те двое, что чинили машину, заговорщически засмеялись, потом один из них сказал пастуху:

— Дед, а у тебя там хромой овечки для нас не найдётся ли?

Старый растерялся, пожаловался нам:

— Каждый божий день такое, поверишь? — И ответил им: — Найдутся и хромые, и больные, и всякие, вот только права у меня нету, милый, права, хозяин мой пусть разрешит — всё вам отдам, верите?

Тот, что в тени сидел, подозвал нас:

— Хозяин, — и, повертев в руках открытку с японкой, повторил: — Хозяин.

— Во-первых, — сказали мы, — у старика другой начальник, овцы не по нашему ведомству, а во-вторых, мы что, каждого приезжего овецой будем потчевать? Вас тут как собак нерезаных, тысячами тут околачиваетесь!.. И, предположим, угостили мы вас, отдали мы вам овцу, но мы же должны знать, для кого режем, то есть, милуши, кто вы такие, откуда, по какому такому праву, ваши документы.

Геолог сказал:

— Юмора у тебя никакого. — И повернулся к своим: — У товарища отсутствует чувство юмора.

— Городские свои слова в городе употребляйте, — отрезали мы, — документ ваш прошу.

Расхохотался.

— Насчёт чего документ?

— Насчёт того, что нет у вас такого права — приходить в чужой край и копать там и рыть, портить, истреблять, ломать.

Насмешливый его ответ уже был готов, но он вдруг преобразился, помягчел, восхищённо воскликнул «ух ты!», хлопнул себя по колену и схватился за бинокль.

Из леса потянулась гуськом группа девушек-туристок. Они сплели себе из цветов венки, набрали букеты, что ни букет — целый сноп, и это ещё не всё — наломали веток малины и смородины и шли весёлые. Нам показалось, все вышли, но конца у этой группы, как видно, не было — из леса вышел второй отряд, они разбились на отряды. Чья-то маленькая собачонка принялась остервенело лаять на нас.

Геолог возбуждённо налаживал бинокль и всё повторял:

— Четвёртая, четвёртая... в первом ряду, четвёртая. — Один из механиков вдруг заложил пальцы в рот и пронзительно засвистел, на что геолог с биноклем не на шутку рассердился. — Вот болван!.. Спугнёшь ведь.

— А физиономия твоя не спугнёт их? — ухмыльнулся другой механик.

Девушки остановились, смотрели в нашу сторону, и этот, с биноклем, позвал по-русски:

— Девушки, милочки! Вам не сказали, по дороге геологи встретятся, пошефствуйте над бедными геологами?

Группа продолжала свой путь, и за девушек женским голосом ответил всё тот же механик:

— Пус-ти!

Хвост экскурсии скрылся в ущелье, но этот, с биноклем, ещё долго смотрел вслед на опустевший склон. Наконец он повернулся и поглядел на нас потухшим взглядом.

— А ты говоришь...

Вдалеке гул какой-то послышался, потом из-за гор показался вертолёт. Один из механиков сказал «привёз». Они отложили инструменты и стали смотреть, как спускается их вертолёт. Лётчик, очевидно, тоже заметил девушек-туристок, потому что вертолёт, уже маячивший над нами, вдруг снова набрал высоту и полетел к ущелью. А эти тут потирали руки — «Рубо это», «Давай, Рубо, пригвозди её, чтоб шевельнуться не могла», а этот, с биноклем, всё вопил «четвёртую, четвёртую, в первом ряду», все смеялись, и каждый что-то отпускал, вроде того: «Как гусыни небось врассыпную кинулись». Вертолёт вернулся, покрутился-покрутился и снова улетел. Овцы нашего пастуха от этого шума встрепенулись, да что овцы — мы и то как-то съжились и наш конь стал шарахаться. Наконец вертолёт приземлился. Мы гладили коня по гриве, приговаривая «спокойно, спокойно», хотя и сами были встревожены не на шутку. Даже напуганы.

Лётчик открыл окошко, поднял на лоб тёмные очки от солнца и посмотрел на нас отсутствующим взглядом. Потом, как после тяжёлой, изнурительной работы, коротко вздохнул и сказал:

— Иди, распишись в получении.

Тот, с биноклем, сказал:

— Гусынь распугал, пожалуются, и тебя из твоей авиации — тю-тю, попросят.

Авиацию свою лётчик презрел:

— Подумаешь, авиация, — потом протянул бумагу, расписку, по-видимому, и, когда этот, с биноклем, взял её, сказал: — Это раз, верно? — потом вручил перевязанный бечёвками, скреплённый сургучными печатями, как на почте оформленный, свёрток и сказал: — А это два, верно? Ну что, проиграл?!

Они, значит, на спор играли, кто запомнит, игра такая есть. Этот, с биноклем, выходит, проиграл, он выронил из рук свёрток и получил от лётчика:

— Не бросать — ценнейшее стекло. — И потом: — А где барашек, тащите барашка.

Геолог с биноклем, разворачивая свёрток, буркнул:

— Мы тебе не пастухи, по этому вопросу к этим крестьянам обращайся, — и мотнул головой в нашу сторону.

Лётчик посмотрел на нас, и, видно, наш вид рас смешил его.

Он прыснул и сказал:

— Ты что такой важный, кавалерист?

На что мы ответили:

— Мы тоже не пастухи.

— Не пастух, а такой надутый, кто же это тебя так надул? — спросил он.

— Вы, — огрызнулись мы, — вы все, ваших рук дело.

На наш контрудар он внимания не обратил — всё внимание его было приковано к

свёртку. Нам он, не глядя на нас, сказал:

— Может, в лесу бревно или ещё какой груз перебросить надо, в минуту сделаю, а ты нам за это барашка, идёт?

Тот, что с биноклем, слой за слоем разворачивал свёрток и уже догадывался, что внутри ничего нет, а лётчик смотрел скучающим взглядом. Вверху пронёсся клин сверхзвуковых реактивных истребителей, расчертив небо, они скрылись, и только потом донёсся их рёв из-за горизонта. Лётчик всё это время не отрывал взгляда от неба.

— Авиация, — скривился он, — авиация, цивилизация, амортизация, морализация.

В свёртке оказалась пустая консервная банка, в банке открытка всё с той же голой японкой, которая улыбнулась и подмигнула нам. Лётчик уже закрыл своё окошко и с грохотом заводил вертолёт.

Наш конь снова сжался и взбрыкнул. И мы не поняли, со стороны лётчика это намеренно было или так случайно вдруг получается, но мы не могли двинуться с места — хотели под дуб зайти, но взбесившийся наш, осатаневший конь промчал нас мимо дерева, понёс. Мы попробовали оглянуться и погрозить пальцем вертолёту, но не смогли — конь, сам себя не помня, всё летел.

— Ну ладно, — сказали мы, — ладно, ничего особенного не произошло, обычная машина, а лётчик — такой же, как мы, человек. Наш армянский парень. Мы придержали коня и поехали тише, но были очень, очень сильно обижены.

Завернули к лесу, у дуплистого граба остановились, выругались:

— Чтoб тебя, хулигана! — из дупла извлекли наше ружьё и снова выругались: — Ишь ты, бревно, говорит, давай перетащу... твою хулиганскую душу... а эта, та ещё баба эта... стерва...

Потом, когда нам навстречу выехал кохбский шустряк на своём грузовике и скромно так, вежливо спросил дорогу, мы уже взявшие себя в руки были, уже снова хозяином были, и чёртов сын тотчас это усёк. Лёгкий небольшой грузовик — на выгон своим фрукты и соль вёз.

Парень спросил:

— Как мне на кохбский выгон проехать?

Мы поняли, о чём он спрашивает, но даже тут держались торжественными и гордыми, чёртов сын и это тоже сразу усёк и с этого момента нас хозяином величать стал. Мы сказали:

— У Кохба здесь выгона нет, милый, это наша земля.

— Сказали, доедешь до Цмакута и спросишь, там тебе покажут.

— Это уже другой вопрос, милый, — согласились мы, — ты про ту гору спрашиваешь, которую Цмакут на два-три лета отдал на пользование Кохбу, пока сам снова силу наберёт.

— Значит, — сказал, — как мне ехать, прямо, что ли, хозяин?

— Езжай прямо, — сказали мы. — Возле груши с дуплом направо дорога отходит — это и есть твоя дорога, выведет тебя к знаменитым мамрутским покосам, — мы посмотрели на часы. — Там сейчас работающий народ есть, дальше дорогу у них спросишь. Женщины и молодёжь там, если ошибутся, скажут, что от клёнов мураденцевских направо надо свернуть, не слушай их, езжай прямо.

Внимательно выслушал нас, сказал:

— Спасибо, хозяин.

— Ещё один совет, — сказали мы, — передай руководству вашему, скажи — цмакутский Мамиконян, Ростом который, Ростом, значит, Мамиконян предупредил-просил, не говорите только — кохбский выгон да кохбский выгон, а то и в самом деле подумаете, что это вашего села Кохба выгон. Привыкнете так думать, а когда лишитесь, большое разочарование испытаете. Слышал?

— Слышал, хозяин, слышал, — сказал парень, — Ростом Мамиконян, скажу, независимую от центра, свою державу создаёт.

— Считайте, что так, — сказали мы и только после этого дали ему проехать.

Чёртов чужак выехал на наши привольные мамрутские покосы и вовсе не как чужак себя повёл. Встал, значит, посередь бедного нашего народа и, во-первых, наш образ и подобие передразнил, а после интересную девушку приметил, захотел тут же в женихи определиться. Бедного народа, говорим, потому что одни женщины, а мужчин, защитников то есть, чтобы защитить их, нету. Один-единственный мужчина, если его вообще за человека считать, мураденцевский Гранд, комбайнёр, разинул рот и восхищённо уставился на кохбца, поскольку сам три дня как разобрал машину и не может её наладить, весь в грязи и копоти, от отчаяния чуть не плачет. Овитовское наше руководство вынуждено было народ на ручную уборку уговорить, а кохбец сразу, на слух, в чём дело, определил, сам смотрит на красотку, дочку Маро, и, между прочим прислушиваясь к шуму комбайна, говорит: в твоём комбайне такая-то часть неисправная. Отряд этот: тощая чёрная сестрица наша Шушан, вдовая, от прежнего огня и весёлой свары ещё теплится в ней искра, мураденцевская Вергин, низенькая, плотненькая, закидывает вилы и говорит:

— Ахчи, это когда же мы постарели, проклятые руки не хотят двигаться.

Высохшая наша супруга, которая тайком от нас пришла на покосы, ещё две-три старухи, пять-шесть старшекласниц и трое мальчишек — Гранда сын, сын полковника, который хочет комбайнёру помочь, но в машине ничего не смылит, и сын браконьера, лесом и дичью промышляющего, Альберта нашего сын, кое-как собрался народ, с бору по сосёнке. Но отряд этот, наспех сколоченный, не может перед лицом тяжёлой работы сплотиться в коллектив, не желает. Вдали от нас супруга наша, видать, свободу обрела, рукой отдаёт честь и звонким девичьим голосом кричит:

— Второе звено, шагом марш! — но жарко, и никто не хочет сбрасывать с себя оцепенение, и наша супруга так положение и расценивает: — Чтоб вам неладно было, какое же вы звено! — Но сердце её не выдерживает, и она снова взрывается: — Да что ж вы за парни, побыстрее двигайтесь, шевелитесь, ну?!

Покосы из села не видны, высоко расположены. От покосов зато виден дым завода — чёрный, жёлтый и белый, — поднимается из ущелья, клубится, разливается и рассеивается, душная дымка застлала весь горизонт. Город, он также и в них, в этих людях, в одежде этих девушек и мальчиков, в их причёске, в том, как они двигаются — ребята больше футболисты, чем деревенские парни, а девушки скорее танцуют «сбор сена», чем по-настоящему его собирают. Как бы там ни было, а наша сестрица с сыном Альберта уже с десятков снопов перевязала, это основательные и красивые снопы, какие в старину вязали. Они вроде бы работают, но перед этими жаркими, скошенными и не убранными лугами всё это кажется напрасными усилиями. Они отправили дочку Маро за водой, ей лет четырнадцать-пятнадцать, для этих женщин она настолько ещё ребенок, что даже имени своего не имеет, они называют её между собой «дочка Маро». Мураденцевская кругленькая Вергин говорит девочкам:

— Коли поработаете на славу, вечером, когда речку переходить будем, разрешу лица свои открыть и хорошенько всех умою, — на что девочки не откликаются ни улыбкой, ни даже усмешкой — они своя, отдельная колония.

Одна из старух говорит:

— Что-то дочка Маро запаздывает, от жажды помираю.

Другая говорит готовое на этот случай:

— Турки небось умыкнули, — потом уже своё настоящее отношение к этой девочке высказывает: — Где там девушка, чтобы умыкать, незрелый ребёнок ещё.

От шума тройки сверхзвуковых истребителей старухи съёжились, улыбнулись и незлобиво прокляли:

— Чтоб вам, не можете, что ли, в другом месте лететь.

Наша сестрица на минуту предаётся милому и тёплому старому воспоминанию.

— Пришли мы как-то, — повела рассказ, — молодые невестки, через гумно в войну, пришли купаться, полезли в воду и вдруг видим, вода яблоки приносит и не тутошние, у нас сады позже урожай дают, ох опустеть этим садам, как уже опустели... а в это время значит, осеповский Сарик, Саргис то есть, возвращается, значит, с войны, раненый. Когда через Дсех проходит, через старые сады, то ли сам набирает, то ли сторожа спасшемся солдату во здравие вещмешок яблоками набивают. Доходит, значит, Сарик до оврага и наши голоса слышит — купаемся, кричим, хохочем, — он нам на глаза не показывается, поднимается чуть повыше и яблоки из мешка в воду... Вдруг видим вода яблоки несёт — не тутошние, дсехские яблоки.

Супруга наша говорит растроганно:

— Осеповский Сарик, осеповские ребята — опять, видишь, мои братья.

Но наша сестрица мягко, увещевающе возражает:

— Милая, в войну все добрыми сделались, скольких бы наших ребят Гитлер в живых оставил — столько раз эта история с яблоками бы повторилась, — и с присущей своему роду решимостью выносит резолюцию, заключив речь веским словом нашего названного отца: — Это на сытый желудок народ не выдерживает, жрёт и стервенеет, а от голода смиренным делается, добреет, — против чего наша супруга, дурачась, встаёт в позу нашего названного отца.

— Та-ак вашу бабуку, конь-жеребец не для каждого прохвоста, ружьё не для каждого сопляка, хлеб не для каждого смертного — недостойный от хлеба дурью мается.

Но речения нашего отца нашей сестре лучше известны, и сестрица Шушан подхватывает:

— Та-ак вашу бабуку, на коне был — бога не знал, с коня сошёл — коня не знает.

Горстка людей нас была, все друг друга слова повторяли.

— Штраф, — говорит наша супруга, — за то, что наше знаменитое выражение испортила: «Та-ак мать вашу оземь!» Штраф на два трудодня: на коня сел — бога забыл, с коня спустили — коня забыл.

Говорят так и смеются, это кусочек их старого представления, весёлого развлечения старого. Сестрица наша и старухи смеются, от смеха обессилели прямо, а молодёжь смотрит и даже не пытается понять, о чём это они. От своего комбайна только Гранд слегка откликается:

— Вы что это, ахчи, смеётесь так?

Но женщины не дают ему говорить:

— Чтоб твоей механизаторской голове неповадно было, тоже мне, человеком заделался на нашу голову. — Потом говорят о нём же: — Ахчи, а ведь выжил, надо же... Бедную Тамар в могилу свёл, а сам выжил. Ты, парень, помнишь ли, как мы тебя в поле забыли?

— А потом? — спрашивает механизатор. — Нашли?

— И-и-и, лучше б не находили, — говорят. — Через мост когда шли, несчастная твоя мать Тамар вдруг говорит — ахчи, девушки, а где же ребёнок? — смеются женщины. Потом говорят: — И сегодня день попусту прошёл, как овитовцы бы сказали, завтра с утра скажем — оп! У покосов встанем... ахчи, жалко ведь, сено это испортится, — и с тоской по прошлым дням вздыхают. — Э-э-э, не осталось больше «оп-а», и «оп» и смех и радость ушли-прошли.

И весь разговор их этот интересен одному только сыну полковника.

Завидев вдали машину кохбца, женщины опять оживляются:

— Это ещё что за петушок, ну-ка, ну-ка, вроде бы помощника получили.

Кохбец подъезжает, вежливо здоровается:

— Добрый день вам, — говорит и спрашивает дорогу на «кохбский выгон», но женщины уже на смешливый лад настроены, смеются и говорят, наша супруга говорит:

— Допустим, что день добрый, и дорогу тебе, допустим, показали, ну а дальше, нам-то от этого какая выгода?

— А какую выгоду вы хотите? — спрашивает кохбец.

— К примеру, — наша сестра говорит, — из фруктового края едешь, взял бы да и пару яблок для своей тётушки Шушан привёз.

— Яблоки? — спрашивает. — Это не вопрос, — и поднимается в кузов, швыряет оттуда ящик яблок.

С кузова видит приволье лугов и вспоминает наши слова: «Так вот они, значит, знаменитые мамрутские покосы». И женщины смекают, что кохбец по дороге встретил нас. Сестрица наша с прежней своей к нам любовью и гордостью говорит:

— Белый всадник мой Ростом здесь поблизости.

Супруга наша испуганно говорит:

— Если увидит меня здесь, несдобровать мне.

Это вызывает у сестры нашей ревнивую зависть:

— Хоть бы раз мне кто-нибудь сказал — Шушан, ты своё отработала, тяжёлая работа больше не про тебя, иди отдыхай.

А наша супруга мягко объясняет:

— Он не против того, чтоб я работала, он против овитовского начальства.

На неисправный треск комбайна кохбец с кузова своей машины свистит, бросает Гранду яблоко и говорит:

— Эй, братец-побратим, масло твоё протекает.

Гранд яблоко, ему брошенное, находит, потом идёт к комбайну и хорошенько его обследует. И приходит в восторг.

— А ведь верно, три дня масло заливаю, а оно всё снизу вытекает.

Потом — все подкуплены яблоками и верным советом — стоят, молчат все, и среди этого молчания появляется дочка Маро. С родника возвращается. Знает, что хороша, яркое красное платье надела, сплела венки на голову. Не станем утверждать, что кохбец — магнит и притягивает её, кохбец ещё и сам толком знать не знает, что он магнит. Сама дочка Маро, может, инстинктивно, а может, и играя немножечко, тянется к мужчине. На минуту, пожалуй, её одолевает сомнение, но в следующую же минуту, забыв про всё, устремляется навстречу испытанию, смело, с улыбкой, не скрывая, что человека именно это притягивает — омут. Вообще-то она должна была принести и дать воду тем, кто за нею посылал, но нет, секунду колеблется и устремляется к неизвестности, к кохбцу то есть, и, когда кохбец уезжает, к мальчикам идёт, не к женщинам. Кохбец воду выпивает, смотрит и понимает, чего ей хочется, предлагает:

— Давай тебя на выгон с собой возьму.

Ни единого вопроса — ни на какой такой выгон, ни а сам ты кто будешь, ни чтобы постесняться, смело ставит ногу на подножку, вот уже она сидит в кабине. И у нашей сестрицы тут своя доля вины есть. Эти двое ещё стояли друг против друга, ещё не зная, чего от себя и друг от друга хотят. Наша сестрица посмотрела и тут же «постановила»:

— Вуй, вуй, вуй... влюбились, смотрите-ка, влюбились!

Мальчишки, хоть и школьники ещё, дети совсем, всё же ровесники дочке Маро и уж немножечко знают её. Сын Альберта с ревностью и сердито говорит:

— Курочка опять за своё взялась.

— Эй, парень, эй, пришлый человек! — зовёт наша сестра. — Знаешь ведь, что Ростом на белом коне здесь поблизости, но ведёшь себя что-то чересчур смело.

Кохбец забрался в кабину и на угрозы нашей сестрицы нуль внимания, разговаривает о чём-то с дочкой Маро, о чём говорят, неизвестно. Старухи сразу догадываются:

— Увезёт, договариваются, чтобы увёз.

Сын Альберта размахивает вилами, с разбегу бросает их на машину. Но, что умыкает, неправы ещё. Ещё не умыкает, девочка из кабины выходит. Сын полковника, как ни говори, горожанин, что-то, видно, сообразил, бежит к машине. Но машина уже отъехала — яблоко, которое мальчик держал в руках, ударяется о стекло кабины. А кохбцу всё нипочём, смеётся и едет себе дальше, и только сейчас, после того, как он уехал, женщины видят — дочка Маро совсем уже зрелая девушка, и красивая вдобавок.

— Тебя как звать? — спрашивают. Никак её не звать — не отвечает, не говорит, о чём с кохбцем договаривалась, плечом только вздёргивает. — Ну ладно, неси давай, — говорят женщины, — где вода твоя, за водой ведь ходила, неси сюда.

Взяла посудину с водой, но не к ним, не к женщинам пошла, к мальчишкам направилась, в отсутствие кохбца школьники эти тоже почти что мужчины уже.

Мы в это время у входа в разрушенную часовню Кармракара были, неверующие мы и по партийной нашей принадлежности права такого не имеем, но спешились и встали, обнажив голову перед этими узорчатыми резными хачкарами, погладили их, покачали головой, восхитились подробной затейливой этой работой, и всё же ни смысла их, ни красоты мы не воспринимали, что-то нас разделяло.

— Не понимаешь? Не твоё это дело, ты лошадь, — сказали мы коню, но это в равной степени и к нам относилось. — Жили люди здесь, мучились, надеялись и верили, надеялись и верили — теперь лес тут, а они где?.. В день по штучке инжира съедали или же стакан козьего молока пили, где та коза? Овитовцы козу забрали себе небось. — Мы вошли в часовню и встали перед алтарём, обнажив голову.

...Разбойник против разбойника, смирный против смиренного, всегда в бурке, при ружье, в седле — отец наш названный, настигнутый дождём в ясный солнечный день — дай, думает, укроюсь на минутку в часовне, и, перекрестившись, заходит туда, останавливается в дверях спиной к алтарю и выглядывает нетерпеливо, дождь не кончился ли, и вдруг чувствует, что кроме него ещё живой дух в часовне имеется... содрогнулся, снова осенил себя крестом и со словами «Иисус Христос» медленно оборотился к тёмному чреву часовни, помучившись с отсыревшими спичками, нашёл огарок свечи и на алтаре обнаружил нас, запелёнатого в шаль. И, поскольку, кроме потускневшего изображения Богоматери, в часовне той никого больше не было, можно считать, что мы были божьим творением. Взял наш будущий отец нас на руки, вышел из часовни, коню своему с колокольчиком на шее сказал: «Тихо, теперь ты за двоих ответ несёшь, — оседлал коня, морду его во все четыре стороны поворотил и промычал: — Эй, малину собирающий, эй, путник, эй, люди, это кто тут ребёнок оставил, эй? — Ответа не получил и на свой лад прохрипел: — Та-ак вашу преступную мать! Шкодить шкодите, а как отвечать, так вас нет». На звон колокольчика семья вся всполошилась, сказала: «Отец приехал!» Пришёл, дверь коленом открыл и остался стоять, промокший до пупа, продрогший, стоит и молчит. Его мать помешивала обед возле печки, жена, сидя на тахте, кормила грудного младенца, сын и дочь за столом под светом лампы учили урок, вдвоём по одному учебнику, голова к голове. Мать пришла, развязала завязки у бурки и от того, что увидела, опешила-онемела. «Вуй, что это?» Сын пролез под столом и сказал: «Отец волчьего детёныша поймал». Подошла девочка, посмотрела, по-женски нас из рук отца взяла, сказала: «Вуй, братик новый». Он сказал «Отдай матери». Девочка, наша сестра, сказала: «Я подержу». Возле печки, стянув мокрые сапоги, сняв мокрые носки, отец сказал дочке разнеженно: «У тебя сиськи нет, отдай матери». Старуха мокрую тяжёлую бурку повесила на стену, воду из ружья вылила, на гвоздь в стене ружьё приладила. И за-

ступилась за худую покорную испуганную невестку: «Да где же в ней столько сил, в бедной, своего еле кормит, все соски ей сжевал, грудь вон пустая, а ты ещё выродка чужого на неё сваливаешь». Наша сестра сказала: «Я за ним посмотрю, в школу с собой возьму». Лесник, обхватив печную трубу, дрожал, мать снова сказала: «Бог знает где взял, а хитришь, в церкви нашёл». Лесник замычал: «Твою! — вскочил с места, нас из рук девочки выхватил, сунул кормящей матери. — Считаю, что Тигран правый сосок тебе ножом отрезал и бросил собакам, с сегодняшнего дня один сосок твоему щенку, другой этому агнцу, поняла?»

Мы нашего молочного брата валили на землю, тузили, не давали ему пальцем шевельнуть, садились на него верхом и с детской откровенной гордостью возвещали леснику: «Победил!» Он смеялся — смех со слезами пополам, — смеялся и ругался: «Так и так отца твоего доблесть!»

Как кошка, лапаясь, мы пролезали леснику между колен, смотрели на него, задрав лицо, спрашивали: «Ты отец нам, а нам не радуешься, почему?» Удивлялся, хрипел в ответ: «Гляди-ка, свой не спрашивает, чужой спрашивает. — Тяжёлую руку нам на голову опускал, вздыхал. — Лес мой воруют, потому и не радуюсь». — А кто ворует?» — спрашивали мы. «Всякий испорченный сброд», — отвечал он. «Лес твой?» — спрашивали мы. «Мой, — отвечал, — вырастешь, большим станешь, тебе отдам».

Потом он сидел на веранде, на расстеленной на тахте постели, свесив босые ноги, ножом шкуру скоблил, пристроив её на черенке лопаты. Мы в новенькие трехи были обуты и вообще неплохо, по-видимому, были одеты, фуражка лесника на нашей голове, по всей вероятности, красовалась. Наши брат с сестрой играли во дворе, прыгали друг через дружку. Мы, должно быть, на заборе сидели, обхватив кол, и сквозь детские наши размышления кричали, должно быть, лесу: «Лес, большо-о-ой лес!» И прислушивались к нашему эху, бьющемуся об стены домов. Ещё помним, как за домом в тени яблони чужая, нездешняя, хорошо одетая молодая женщина молча подзывала нас к себе, мы не доверяли ей, головой «нет» говорили и пятились, а она испуганно и с любовью молча кивала нам — иди сюда, и мы качали головой и пятились. Дети, брат с сестрой, бросили игру, наша сестра зло, рассерженно смотрела на незнакомую, та отодвинулась в тень и звала нас — иди, иди сюда. Наша сестра пробормотала: «Цыганка, детей ворует». Потом вдруг лесник прорычал «Твою!» и, как был, в рубахе и подштанниках выскочил из дома с черенком лопаты в руках. Дальше мы не помним. Помним, что в садах, что напротив, мужчины кричали: «Ловите, ловите Тиграна!» — и лесник в белых рубахе и подштанниках бежал, и вроде бы чужая эта женщина тоже мелькнула.

Потом эта женщина прижалась лицом к стеклу и заглядывала с улицы в наш класс, наверное, ничего не могла разглядеть, меняла место, снова припадала к стеклу, а дети сидели молча, оцепенев. Нам было уже десять-одиннадцать лет. Среди нашего оцепенелого молчания на тихий стук в дверь, скорее даже на царапанье коротко стриженная, в тёмной жакетке и в наглухо застёгнутой чистой белой блузке, наша строгая барышня-учительница пошла, выглянула из класса и о чём-то с кем-то пошептала, потом, оставив дверь открытой, вернулась с едва заметной улыбкой на лице: «Саргсян, Ростом Саргсян», — сказала и показала головой на дверь — выйди, мол. И вот мы вышли из третьего ряда, с последней нашей парты мы поднялись, и момент этот сделал нас гордыми и торжественными. Концы алого атласного галстука бьются на наших плечах — как исполнительный и гордый маленький солдат, мы словно скользим между партами, как-то по-военному круто поворачиваемся налево, и перед нами распахнутая дверь, а во дворе на белом солнце незнакомая эта женщина поднесла обе руки ко рту, потом медленно убрала их от лица. Обратив на нас виноватые глаза, хочет улыбнуться нам и не может, снова хочет улыбнуться и не может, испуганная улыбка сворачивается в уголках рта, а мы, по-ребячьи серьёзно и глядя прямо перед собой, почти уже дошли до крыльца, и тут раскинув руки эта женщина с угасаю-

щим криком кидается к двери. Над нами словно крылатый крест кружится, и мы тем же шагом маленького солдата резко поворачиваемся и, не замедляя и не убыстряя шага, идём обратно, проходим рядом с учительницей, проходим между партами, идём к окну и нашим маленьким крепким кулаком пока ещё сдержанно, но уже злясь, бьём по оконной раме, по стыку двух створок, стёкла ломаются, створки с треском распахиваются. И вот мы уже на подоконнике, потом во дворе — лежим на земле с минуту, потом, зло и беззвучно плача, убегаем, и в наших ушах бездонное молчание... Потом весь класс и вся школа ищет нас. Мы сидим на грабе с узловатым стволом и густой верхушкой, мы сверху видим, как нас ищут, как показывают друг другу, в какую сторону, мол, мы побежали, предположение высказывают, что на дереве сидим, а чужая, незнакомая эта женщина, скрестив руки на груди, стоит на рыжей дальней тропе, и это больно, бесконечно больно. И кто-то на коне, а в руках поводья от другой лошади, стоит, поджидает эту женщину, а она, безмолвная и неподвижная, словно приросла к дороге, и между нею и нами ещё больше, чем мы, её боль чувствуя, на той же тропе, ведущей к грабу, стоит одна из наших одноклассниц, та, что на одной парте с нами сидит, и плачет.

Потом, когда мы уже стали нами, то есть тем, что сейчас собой являем, магазин однажды много товара получил, и среди этого товара особый такой ремень-патронташ мы углядели — тяжёлая застёжка из серебра и на рукоятке ножа и на кобуре узоры по серебру. Народу в магазине было битком, смотрели-щупали товар, ещё не покупали. Мы со знанием дела выбирали для себя косу — пробовали гибкость и прочность, не нравилось нам, мы одну откладывали, брали другую, потом внимание наше привлёк разговор ребят и продавщицы, нашей ровесницы. Ещё невинный, подоплёку не выдающий был разговор, но мы напряглись и озлились. Ребята ремень примерили и из-за цены отдали обратно, собрались уходить. Продавщица сказала: «Тыща рублей». Тот, кто померял и вернул пояс, сказал: «Это государство спятило... за какой-то ремень тыща!» Продавщица ответила: «Потому тыща, чтобы такой, как ты, недостойный вдруг не купил, государство знает, что делает». Ребята сказали: «Это кто же тебе тыщу выложит за такое, народ-то бедный». Продавщица улыбнулась. «Смотря кто». В эту минуту мы повернули нашу тугую, крепкую шею и увидели её игривую заговорщическую улыбку и то, как она ребятам тайком даёт понять: ремень этот, дескать, как раз для нашей широкой спины предназначен. Ещё ничего не понимая или понимая, но не выдавая себя, мы подошли и сказали: «Дай посмотреть». Ремень нашу спину точно как по заказу обхватил. Обрадовались мы, но сдержались, сказали: «Вправду сколько стоит?» Перегнувшись через прилавок, поправила на нас рубаху и сказала: «Пять рублей», — и осеклась. Сказала: «Десять», — и опять осеклась. Сняли мы с себя ремень, положили на прилавок, сказали: «А может, подарок чей?» Уже пугаясь, уже робея, сказала: «Подарок». Мы спросили: «Твой подарок?» Робея, ответила: «Мой». Мы наш кулак опустили на прилавок и сказали: «Подарки свои другим дари — сказать кому?» Поколебалась и сказала: «Хоть пуд мёда добавляй к твоим словам, всё равно не проглотить», — и заплакала. Повернулись мы к ребятам и всему народу, всех из магазина выставили, изнутри щеколду опустили, вернулись к прилавку. В углу одна несчастная старуха случайно осталась. Мы сказали: «А эта святая свидетелем будет... Слушай меня внимательно. Чтобы подарок твой об морду твою не стукнули знай, за одной партией с тобой в школе сидели, но моё сиротство хлебал я, а не ты, и прощать тоже должен я, не ты, так что понапрасну под ноги не лезь. Скажи ей — вот эта моя голова, это моё сердце, это тело не прощают, не прощают, меня дерево и свинья рожали, меня не она рожала, ясно?!»

Народ на мамрутских покосах вроде бы уже впрягся в работу, вроде уже шла сердитая молчаливая работа, которая только в старину бывала — в глазах жаркое солнце, в ушах шелест сухой травы; красивых, как на картинке, ладных снопов прибавилось. Вот на тро-

пинку на склон Кахнута выходит из леса вереница женщин — экскурсия, вот они сворачивают на покосы, механизатор наш показывает рукой, как им дальше идти, и весь работающий народ по одному прекращает работу и с тоской смотрит им вслед.

— В войну, — грустно говорит наша сестра, — с патроном моим, — это она про свёкра своего, — сели мы в поезд, поехали в Тифлис. Акоп раненый в госпитале лежал, поехали проведать его, я гату испекла, хлеба в дорогу напекла, яиц наварила, приехали, узнали — вылечили его, так, наполовину вылечили и снова на фронт погнажи. Убило его тогда сразу, погиб.

Одна из старух говорит:

— Вот бы знать, что бы они сейчас делали, если бы не погибли.

Наша супруга отвечает:

— Если бы не погибли... были бы сейчас поля полны смеха и радости.

Старуху уже другое интересует:

— А с гатой что сделали?

Наша сестра задумывается.

— Не помню, — потом она улыбается — вспомнила былые радости, говорит: — Твой Гикор меня украсть хотел, сказал: «Хоть трое пацанов рядом будут, хоть четверо, и у меня пусть хоть шестеро, всё равно тебя уведу». От Акопа меня должен был увести.

В ответ она слышит:

— И-и-и, провалиться тебе, и чего тут уводить, что в тебе есть-то, одни мощи.

Наша сестра вытягивает шею и в полном блаженстве напоминает:

— Так ведь, милая, сорок лет назад дело было.

Отдельные разрозненные обрывки разговора долетали до нас, потягивая за собой коня, не обнаруживая пока себя, мы шли краем леса. Срубленный дуб тот не унесли ещё, на месте был. По открытому дальнему склону, громыхая порожним кузовом, шла машина кохбца. Мы уже должны были выйти к людям и нашли удобным (хоть и спуск тут был) сесть на коня. «Извини, — сказали мы нашему коню, — народ нас на коне привык видеть». И как перед зеркалом охорашиваются, точно так мы себя в представительный вид привели. Мы были немножко смешные, ну да что уж тут. Потом через дубняк выехали к работавшим.

Они отдыхали, не работали. Мы не слышали, о чём они говорили, но о чём-то говорили. Сын полковника, единственный, подбирал вилами сено. Механизатор почти что наладил свой комбайн. Нас они не заметили пока. Наша сестра вдруг опомнилась, сказала:

— Что же это мы, а? Работа ж стоит, — и снова взялась было за вилы, но наша супруга как крикнет «долой»!

— Долой! Пропади она, работа! — и поддела вилами пустой бидон для воды. — Дочка Маро, беги за водой, не забудь только вернуться.

Бесшабашно смелая — то ли готовность хулигана мальчишки, вызов к бою в ней, то ли клятва капризной девочки-подростка никогда не становится девушкой, — не стесняясь коротенькой юбки, не стесняясь, что в мальчишеских движениях открываются ноги почти что до пупа, медленно приблизилась и вдруг с маху поддела ногой бидон и, так же медленно переступая, по-кошачьи мягко пошла поднять бидон, и вдруг коротко разбежалась и, хлопнув по плечам полковничьего сына, перескочила через него. Внезапно настигнутый щуплый мальчик не удержался, упал, а девочка гибким движением выгнулась, присела и ловко выпрямилась, потом медленно пошла, неизвестно о чём думая.

Что-то похожее на любовь, сожаление и нежность схватило нас за горло и душило. Мы словно умирали, и прекрасный мир цветов и звуков удалялся от нас. Мы еле сдерживали слёзы. «На сорок лет опоздала, — пробормотали мы, — ягнёночек, на целых сорок лет».

Наш народ — наша сестра и другие разложили еду соединили всё, что принесли с собой, и негромко переговаривались: «Гату я испекла, куда делась?» Наша супруга выискала

яблоко и беззубо мучилась одной стороной рта. И, господи, рядом с дочкой Маро какое это было неживое, мёртвое безобразие — эти их морщины, эта одежда их, эти потухшие глаза.

Машина кохбца именно в это время остановилась возле них. Мы всё ещё следили за тем, как старухи хлопчут, готовясь к обеду, и бац — вдруг хлопнула дверь кабины, и вроде бы даже мелькнуло красное платье девочки, кувшин отбросила, полезла в машину, потом смотрим, мальчишки бегут за машиной, а наша сестра поднесла руку ко рту и причитает удивлённо: «Вуй, вуй и вправду увёз», — женщины все переполошились, заверещали: «Увёз, увёз, увёз... проклятый щенок, чтоб твою мать, увёз девчонку», — и мы хотели оседлать коня и не могли, не могли, потом всё-таки оседлали и, как перед убийством, окаменели, одеревенели и молча пришпорили коня. Мы пронеслись мимо женщин, и последними голосами этого мира, последнее, что услышали, были слова нашей сестрицы: «Не бери ружьё, Ростом, убьёшь, кровью замараемся, брось ружьё». Женщины и их голоса остались позади. Потом мы вообще никаких голосов не слышали, только хриплый шум лёгких нашего коня — всё происходило в глухих подземельях странной тишины. Комбайн нашего механизатора то ли снова испортился, то ли он сам его остановил — Гранд выпрыгнул из кабины и что-то объяснял нам знаками, по скошенной стерне к дальнему лесу бежали мальчишки. Сын полковника отставал, дыхания, наверное, не хватало. Мы обогнали детей, оставили позади себя покосы и въехали в редкий солнечный лес. На вершине склона, откуда скатывают брёвна к речке (там, где они катились, аллея образовалась), наш конь остановился. Мы не понимали, что стоим над обрывом, мы натягивали поводья, пришпоривали, заставляли коня идти вперёд, но куда? Каменотёс и его ученик обтесали свой хачкар на бывшей мураденцевской каменоломне, привязали его к молодому деревцу, впряглись, как волы, и тащили так. Ворочая голову коня в стороны, мы проехали мимо них краем обрыва, до каменоломни, и застыли на минуту изваянием на холме между небом и нашей страной, мы ничего не видели и не понимали. Не понимали даже, что делаем, какая-то дрожь агонии объяла нас и мотала туда-сюда. Мы снова пришпорили коня, но не знали уже, куда гнать. И снова навстречу нам вышли мастер с подмастерьем. Лошадь оступилась, мы спрыгнули с коня, не знаем, как очутились внизу возле сплава.

Объявились у сплава, смотрим: конь наш поднимается, сами мы на ногах, значит, споткнулись и скатились. Не очень-то соображая, что делаем, смотрим снизу вверх на аллею, где обозначались силуэты мастера и подмастерья.

Чуть поодаль за нашей спиной прибрежный сад и металлическая сетка были. Лёгкий ветерок реял, ветки покачивались, речку нашу мы видели, какие-то голоса, значит, должны были звучать, великанша смотрела на нас подбоченившись, мы, выходит, полностью были в реальном этом мире, но всё нам казалось нереальным, как сон. Около сада наша тропинка и основная дорога сходились, великанша махнула нам рукой — может, говорила, сойди с лошади, может, ещё что другое говорила, мы не разобрали, уже на большаке мы медленно проехали чуток назад и остановились.

Мы стояли так, нам казалось, мы давно уже стоим тут, перед нами была тёмная пасть аллеи, и мы наконец явственно увидели картину убийства нашего деда.

Наш дед на таком же коне был, и так как фотографии и его самого мы никогда не видели, мы сами были нашим дедом — дед тащит за собой навьюченного коня, вот он остановился у этой же аллеи, тут его дрожь пробрала, перекрестился он, и в это самое время из-под одинокого дуба встали трое, отряхнули штаны, спокойно вышли на дорогу, отобрали у деда уздечку, пустили его вперёд и, подтягивая лошадь за собой, пошли по аллее.

— Кровь чуем, — сказали мы, — кровь прольётся, — но голоса своего не услышали.

Голос сестры тревожно взывал в глухих складках нашей памяти, словно мучился, пытался выбраться из непроходимых оврагов, и наконец мы разобрали: брось ружьё, Ростом, брось ружьё. Медленно, через плечо мы оглянулись — в светлом саду стояла великанша и

смотрела на нас. Мы улыбнулись. Мы были рады ей.

Машина кохбца — кабина вся в красном полыхании — выскочила на солнечную дорогу. Девчушка засунула голову за щит, но под слепящими солнечными лучами кабина снова полна была её красным платьем.

Как на распяты, мы раскинули в стороны наши руки, то есть, мол, дорога закрыта. Двустволка как-то помимо нас — мы вроде даже забыли, что вооружены, — двустволка с рукой нашей отделилась от нас, и мы выстрелили в воздух, и после первого выстрела наш слух заработал. И вот мы стоим перед машиной полностью безоружные.

Машина подъехала к нам вплотную, на сантиметр от груди лошади кохбец притормозил и молча спросил: в чём, мол, дело? Мы наклонились, посмотрели, не задел ли, дескать, коня, выпрямились и дулом приказали спустить девочку из машины. Будто бы не понял нас, но в глазах бесстрашная улыбка была. Молча переспросил в чём, мол, наше требование? Мы ему:

— Эта, что красным всполохом башку твою затмила.

— Это твои глаза красным застлало, — сказал он.

— Не посмотрю, что лето, погоню весь твой Кохб с выгона, ослиная голова, — сказали мы.

Машина прямо подпрыгивала на месте — он дал газу, но не включал скорость.

Мы нагнулись, посмотрели, не задет ли наш конь, снова выпрямились и подождали. Нам показалось, машина подалась вперёд и давит на грудь лошади, и, схватив за перекладину, мы коротким взмахом рук вскинули ружьё. Мы в самом деле уже не владели собой. Засмеялся он и сказал:

— Ну и что дальше?

Мы молча приказали спустить девочку. Знал, что с нашего места нам девочку не видно, сделал вид, что не понимает нас. Мы привстали на стременах, вытянулись, девчонка спряталась за щитом, как кошка притаилась. Кохбец со смехом шлёпнул её по ляжке, она вскочила, села, гневно уставилась на нас. Мы дулом приказали — выходи, мол, лёгонькая под-ростковая фигурка выскользнула из машины, посмотрела на нас в упор, сказала:

— Тебе что за дело, кто ты такой?

Осадили мы коня, дали ей пройти между нами и машиной, сказали:

— Встань там.

Послушалась нас, прошла, мы взглядом проводили её, повернулись к кохбцу, этот тоже смотрел на девочку, потом пришёл в себя и, встретившись с нашим тяжёлым взглядом, сказал:

— Зачем тебе, к примеру, этот ребёнок, что отнимаешь?

Мы ответили в тон ему:

— А тебе, к примеру, зачем?

Засмеялся, сказал:

— Да уж не выбросили бы, раз увозили, значит, на что-нибудь сгодилась бы. — Потом зло: — Бери, подавись, — и наконец: — Отойди, дай проехать.

Мы молча стояли как живой упрёк, дорогу ему не давали, но и не знали, как дальше действовать. Он приложил ладонь к щеке и сделал вид, мол, длинную, нескончаемую азербайджанскую песню — баяти — затягивает, никуда, мол, не тороплюсь, глаза полны насмешки и дерзости, смотрел нам прямо в лицо и среди грохота машины делал вид, что баяти поёт. Мы покачали головой укоризненно, поворотили морду коню, чтобы отъехать, и тут нам показалось, он ударил машиной нашего коня по крупу, конь оступился, прямо осел, нас обуяла ярость, опередив себя, мы в секунду зарядили ружьё дробью. Машина уже довольно далеко отъехала, с лошади одной рукой, почти не прицеливаясь, мы выстрелили, и заднее его колесо село. Потом мы перегнулись посмотреть, не повредило ли ногу коню.

Кохбец машину остановил, из кабины выпрыгнул, поглядел на проколотую шину, потом на нас глянул и, стоя лицом к нам, расстегнул ширинку. Так, лицом к нам, не стесняясь, помочился и сказал:

— Ну ладно, — сказал, — не забуду я тебе этого.

— И мы не запамтуем, — ответили мы. Мы кончиком дула повернули голову девочки к кохбцу и сказали — смотри на скоропалительную свою любовь и навеки запомни, — дуло резко оттолкнула, а мы, гордые нашей порядочностью и меткостью, по-хозяйски, по-княжески обратились к великанше, которая стояла в саду, перекатывая во рту жвачку, и была молчаливым очевидцем всего этого: — Это всё вы, всё, что плохое происходит, — причина в вас. Чистого уголка на земле не оставили. — Великанша невозмутимо перекатывала во рту жвачку. Мы повернулись к девчужке, сказали: — Ступай вперёд.

Легко разбежалась, как коза, перепрыгнула речку. Потом пошла узенькая тропка, через высокие травы потянулась. Чуть подавшись вперёд, поскольку дорога немножко в гору была, и чуть-чуть пригнувшись в коленях, девчужка летела, мы как-никак на коне были, и конь настигал её и дышал ей в затылок, и она, наверное, чтоб оставить тропку коню, отходила в сторону, но лошадь шла за ней по пятам, и тогда она подавалась в другую сторону, и впечатление такое создавалось, будто она хочет убежать, убегает от нас, а мы, паша́ на коне, не пускаем, мучаем её, как пленную рабыню.

Мастер-каменотёс и подмастерье тащили свой хачкар. Отошли, дали нам дорогу, мастер перед нами шапку стянул, подмастерье смотрел на нас с уважением и завистью. С сознанием величия своего поступка мы сдержанно, почти не разжимая губ, поздоровались и проехали, потом остановились и посмотрели вверх на аллею, покачали головой и сплюнули. Обрыв прямо низвергался. На нашу молодецкую отвагу, то есть что опасность презрели и на коне отсюда вниз скатились, мы улыбнулись и сказали мастеровому и его ученику:

— А старый-то камень отнесли на место?

Главное было спросить по-хозяйски — ответа мы даже дожидаться не стали, мы уже следующие хозяйские слова изрекали:

— Это молоденькое дерево, что срубили, считайте, что мы не видели, мастеровой народ вы, понимаем и ничего не говорим.

Мы догнали девчужку, и снова повторилось то же самое: девочка от лошади убегала, лошадь шла следом за нею, и девочка переходила на другую сторону тропы. Остановили мы коня. Девочка тоже остановилась, стояла опустив голову, не оглядываясь. Это тоненькое невинное тело, этот цветок, стоявший среди цветов, трогал наше сердце.

— Мы с твоим отцом товарищи были, — сказали мы, — друзьями. Отца помнишь?

Не помнила или не понимала, что отвечать надо, смотрела на нас с недоверием дикарки.

— А мы вот помним, мы с отцом твоим по стакану шулаверского вина выпили и свадьбу овитовца расстроили. Что нам надо было? Сколько на свете красивых девушек — все наши должны быть, не знали ещё, что отца твоего доля Маро будет, а нам наша тощая достанется. Молодое вино в нас бродило, перебродило и прокисло, теперь вон в молодых козлах новых проснулось, извинения просим.

Конь наш двинулся, и мы следом пошли. И сказали:

— Это уже ты нас сильно оскорбляешь, барышня, твой дядюшка Ростом не турецкий паша, и ты не пленница его.

Мы подъехали, сняли ногу со стремени, вытянули носок, сказали «садись», она взяла нас за руку, ногу на носок наш поставила, мы сказали «другую, левую», и она села на наше седло сзади нас. Тоненькое, не стеснённое ничем девичье тело с маленькой грудью обняло нас сзади, мы почувствовали себя черкесом, умыкавшим грузинку, сдержанно усмехнулись

и обратили всё в шутку над собой. И как раз в эту минуту перед глазами нашими встал наш давний грех — пещера и она, обезумевшая от нас. Старое накрепко залепило нам рот, мы сплюнули в сердцах.

Когда лошадь споткнулась, девочка обхватила нас, всхлипнула и, сколько силы было в тоненьких юных косточках, сжала нашу спину, укусила, потом уткнулась головой в неё и заснула.

Мы выехали к мамрутским покосам — из реденького солнечного дубняка бежали нам навстречу мальчишки. Ещё детьми были, не парнями, и мы для них были предметом обожания и подражания. И сознание этого сделало нас ещё более подтянутым. Сын полковника держал в руках букет дубовых листьев с «птичьими подушками». Мы обратили внимание на то, что девочка, сомкнувшая руки на нашей груди, держит венок. Мальчишки подбежали, посмотрели, восхищённо сказали «спит», потом один из них взял поводья в руки и повёл коня, а двое шли по сторонам. И так вели они нас по мамрутским покосам, и навстречу нам поднимался весь народ, сгребавший сено.

...На сельской площади по вечерам бывает довольно много местного и пришлого люда. Пятачок перед конторой — по-прежнему место сбора нашего крестьянства. Контора хоть заперта, тяжёлый большой замок висит на дверях (телефон через открытое окно вынесли на балкон), но магазин и телевизор в клубе всё ещё собирают народ — приходят перекинуться словом, купить кто чего. Пиво магазин получает, футбольные передачи случаются, попивают, смотрят футбол и необязательный такой разговор ведут, другие, важные разговоры ведутся не здесь — от телевизора очень сильно возбуждаются и всю критикуют, поскольку это уже не их жизнь.

Это дряхлые старики, почуявшие дыхание смерти, с пугливым сомнением смотрят они на честную, по-деревенски медлительную торговлю. Это безразличная, бездумная, с закрытыми сердцами молодёжь — руководство собой вручила соседнему Овиту и потеряла собственное лицо. Достоинство, инициатива, спор, драка, мысли и слова — где всё это? Старые амбары заброшены, дом, где заседало правление, пришёл в запустение. Изношенные лица стариков на минуту всколыхнули нам сердце, при встрече с ними какой-то отсвет любви трогает нас, для любви к так называемой молодёжи мы закрыты, так же как и она для нас. Наша любовь — это поколение наших отцов, оно погибло в войну, и наши ровесники, которые перебрались в город, словом, всё это уже имена на памятнике погибшим ребятам и фотографии передовиков на старой Доске почёта в упразднённой конторе.

Порой с гор спускается азербайджанец, в магазин приходит, и мы восхищаемся его здоровой покупательской способностью. Лошадь его оседает под грузом, и его семейству в горах всё гоже и всё нужно (кроме нашего клубного телевизора, который продавец в шутку хочет сторговать ему): керосин, свечи, сахар — мешок, конфеты — горсть, макароны — сколько в магазине есть, батарейки для радио и для фонариков, консервы, ботинки. Местная старуха требует столько макарон ему не давать, ей тоже нужно. Азербайджанец говорит: «Ты старая, ты уже умерла, макароны тебе не помогут». Это его шутка. Он следит за счётами, зажав в руках деньги.

Мы смотрим на него свысока, но вот проходят минуты, и мы уже помогаем ему грузить лошадь.

Обличив победителя и благотворителя не покидало нас. Со свежим полотенцем через плечо супруга ждала, когда мы кончим умываться, чтобы подать нам полотенце и напомнить о безнравственной жизни наших новых соседей, то есть что она не согласна, чтобы мы им покровительствовали, но нас всё это так и так не касалось.

— Зять и сын в машине были, — сказали мы, — наехали на дерево, судом квартиру отобрали, зятю восемь лет дали, сыну пять.

— А что за девушка в машине с ними была, не сказали? — спрашивает наша супруга.

— И не скажут, — отвечаем, — одна на двоих была, извините, и все трое пьяные, то есть от чего нас рвёт, а для них это обычное.

Из нашей просторной, незахламлённой веранды нашим глазам открывался ухоженный сад, в саду большеголовый раскрывшийся подсолнух, чуть подальше, на незасеянной полянке голый конь без сбруи, без седла.

Мы вытерлись, оделись, бросили в зеркало особый взгляд, тупой и самодовольный, — и мы себе понравились. Мы подставили плечи, чтобы супруга наша набросила на нас пиджак, потом, когда мы готовы были отправиться к конторе нашей бывшей, мы заметили, что в саду что-то изменилось, большеголового подсолнуха не было, обезглавленный стебель ещё покачивался. Неторопливо, не теряя нашей гордой торжественности, мы спустились в сад, как важный, представительный ага старых времён, толкнули калитку, вышли на стёжку, и две сестры от своего крыльца увидели нас и, несмотря на то что далеко были (мы с ними не должны были здороваться, мы их уважения не жаждали), поднялись почтительно, встали, другая их сестра, нам знакомая девчушка, снова на нашей ограде торчала, подсолнух сорвала она и держала его, прижав к животу, в подоле, и слив туда же, наверное, набрала, вот-вот соскочить собиралась, но, когда сёстры встали, поняла, что мы поблизости, и замерла. Мы прошли рядом с ней, почти касаясь её ног, слыша её затаённо-напряжённое дыхание, невозможно было делать вид, что не видим её, но мы именно так и сделали — гордые, словно бы глухие и слепые, мы прошли мимо неё, и, когда уже далеко были и она спрыгнула, как упала (не оглядываясь, мы услышали это), мы тайком улыбнулись и прошли, сопровождаемые виноватыми и почтительными взглядами сестёр.

Таковыми торжественными и гордыми мы и вручили себя сельской площади. Что бронзовая фигура на постаменте — что мы, народ нам поклонялся и чтил. Мы не сразу заметили, что есть тут, однако, и лицо, не принимающее нас и себя нам противопоставляющее. Это был наш племянничек, сын сестрицы нашей, у него даже согласные с ним его сторонники тут имелись, но что это всё перед восхищением полковничьего сына?!

Продавец не поднял ящики с пивом наверх, на второй свой этаж, устроился тут же на площади возле заброшенного подвала и торговал. С приходом азербайджанца решил дать себе продохнуть, сбежал от пива. «На вашу совесть, — сказал, — оставляю, хоть пейте, хоть лейте». Оставил на столе счёты, открывалку, а для денег коробку из-под обуви и поднялся наверх. Машина нашего другого племянника-водителя тут же рядом стояла, и наш племянник косвенно руководил самообслуживанием, люди подходили, открывали бутылку, ту же её выпивали. Мы увидели мотоцикл с коляской, чуть подальше семи-восьмилетний сын азербайджанца стоял, взявшись за поводья лошади, ждал отца, в чужую сторону попал и по-ребячьи немножечко всего чурался, ясное дело, робел. С нашим появлением наша сестра на балконе пришла в восторг и вскричала: «Вуй-вуй-вуй, взять мне себе твою боль, боль, боль, на этих ведь руках вырос, на этих, брат мой, родной мой, хороший». И мы в самом деле вспомнили милую картину нашего детства — сестра нарядила нас во всё красивое, в руки нам прут с тремя листочками на конце дала, а сама заплела в волосы красную ленту и, перебросив косу на грудь, взяв нас за ручку, стояла в центре села, мы смотрели на людей недружелюбно и жались к нашей сестре, народ весёлый был, говорил: «Глядите, парень из цмака, из чащи то есть, — и передразнивая нашего отца Тиграна: — Та-ак твою бабу, лес — мой», — и все, глядя на нас, улыбались и смеялись. Почему — не знаем, но мы вдруг расплакались.

Футбольная передача кончилась, довольные и возбуждённые, несколько парней направились из клуба прямо к пиву. При виде нас замедлили шаг, потом остановились, мы слегка поздоровались и прошли, и, пока наши тяжёлые степенные шаги не подняли нас на балкон и не смешали со стоявшими там людьми, они провожали нас взглядами. Уложив

бедные свои покупки в вёдра, наша сестра и несколько доярок стояли на балконе и ждали машину на ферму. Наша сестра, стесняясь, потом преодолев замешательство и по этой причине особенно шумно и напоказ обняла нас, пробормотала «милый ты мой, милый», потом отошла, со стороны обозрела нас и громко, на всю площадь: «От когтей ястреба цыплёнка спас, из пасти волчьей ягнёнка вырвал, милый ты мой, милый». С другого конца балкона, из компании нашего племянника кто-то сказал: «Двойной выстрел я слышал, поглядел на часы — ровно четыре было, потом ещё раз бабахнуло, пять минут пятого было». Спокойно и торжественно позволили этой группе, женщинам и вообще всем, кто тут был (из магазина специально на нашу особу полюбоваться вышли, нашлись и такие), разглядеть нас по-лучше, потом негромко и скромно сказали: «Обязаны были, долг свой исполнили». На наш манер, набросив пиджак на плечи, точно так же, как мы, тяжело и степенно, на другом конце балкона расхаживал взад-вперёд сын нашей сестры. Мы его сейчас в расчёт не принимали, но именно он-то и был угрозой, нависшей над нашим будущим. Поглядели мы на группу женщин, поглядели на их вёдра, и наша сестра, застеснявшись, сказала: «На вечернюю дойку едем, милый, молочную машину ждём». Стоявшему внизу под балконом другому сыну нашей сестры мы сказали по-хозяйски: «Слушай, парень, чего не свезёшь народ на ферму?» Рассмеялся, ответил: «Их машина другая, дядюшка, прикажут из центра — повезу». По-хозяйски же мы его упрекнули: «Нам что, Овит должен говорить всё, что нам делать?» Восхищённо рассмеялся, сказал: «Ты, дядюшка, особое дело, ты нас с собой не равняй». Напыжились мы пуще прежнего, медленно и торжественно прошлись по балкону, потом проследовали в магазин. Покупать нам нечего было, зашли показать себя тамошнему народу. Азербайджанец с продавцом мучились над счётом. Мы немного побыли тут, поглазели на товары, потом так же торжественно и медленно покинули магазин.

Точь-в-точь как и мы, по балкону расхаживал взад-вперёд наш племянник. Испепелили его взглядом и продолжали наш обход. Стесняясь нас, женщины, зажав в кулаке галеты, потихонечку откусывали и улыбались, дарили нас блеском постаревших глаз.

На мотоцикле, значит, приехал один из геологов. Снёс с балкона консервы, положил в коляску водки и пива, прибавил туда хлеба, одну пивную бутылку тут же на ходу опорожнил, потом завёл свой мотоцикл и выругался нехорошо в адрес этого села:

— Скупее вас, скупее крестьян... баранину словно от себя, от своего тела словно отрываете, целый месяц с протянутыми деньгами стоим, просим, ни один глазом не моргнёт.

Мы ответили с балкона:

— Молодой человек, помолчи-ка и выслушай нас.

Очень был взволнован, презрел нас.

— А что ты можешь мне сказать, ни сердца, ни ума, иди ты знаешь куда!

— Молодой человек, — сказали мы, — возьми мальчишку какого-нибудь, пусть отведёт тебя к Ростовову дому, там за изгородью ягнятки есть, Ростова ягнятки... возьми одного. Только, милый, не упрекай этот несчастный народ, потерявший управление.

— Я этого надутого Ростова к такой-то матери!..

Растерялись мы от неожиданности, но сдержали себя, сказали:

— Можно простить, не знает, кого ругает.

Он скрылся на своём мотоцикле, но ягнёнка, как потом выяснилось, взял.

Волоча за собой хурджин, азербайджанец вышел из магазина. Мы протянули руку, поддержали хурджин с одной стороны, ему стало легче, он поднял лицо к нам и вспомнил нас: «А, друг Ростом». Взвалили мы хурджин на его лошадь, лошадь под грузом осела. После этого только мы поздоровались с ним: «Сахаласын». — «Хош кялыпсын», — наш азербайджанский был исчерпан. У него в магазине ещё ноша была, пошёл за ней.

Машина, которую у нас называли «молочной» и чьим водителем был всё тот же Альберт, пришла, затормозила возле нас. Это была цистерна для перевозки молока — сзади

прилажен прицеп, на который пытались взобраться старухи, ставили ногу на колесо, смеялись, проклинали машину — кто её только придумал, — помогли друг дружке и всё же не могли подняться.

Мы смотрели на это с искренней жалостью и тихо, про себя вздыхали. И тут мы заметили, что азербайджанец ловит наш взгляд.

— Слушаем, — сказали мы ему.

— Ты на своего друга посмотри, — сказал азербайджанец, — ты на его лошадь посмотри.

Покосились мы на его гружёную лошадь.

— Ну и что?

— Лошадь у твоего друга постарела, старая совсем, — сказал, — под грузом уже не держится.

Мы мысль его уловили и насторожились.

— То есть?

Скривил просительно шею.

— Друг Ростом...

Поняли мы, о чём он, и наотрез отказали — нет.

— Деньги сейчас и отсчитаю, — он полез за пазуху.

— Если твой несчастный вид на Ростом не подействовал, деньги и вовсе ничего не сделают. Нет, — повторили мы.

Сын нашей сестры, опершись на перила, смотрел на нас с балкона.

— Ему лошадь самому нужна, — сказал он, — чтобы у сопляков девочек незрелых отнимать и чтобы наша мать потом его орлом назвала, а он бы надулся от радости.

Медленно повернули нашу голову в его сторону, хотели обойтись молчаливым упрёком, но вид его разозлил нас: ковырялся спичкой во рту и спокойно смотрел. Мы взорвались:

— Извините, а вам откуда известно, о чём мы тут говорим?!

— О лошади говорите, — ответил, — о лошади твоей, он твою лошадь просит, а ты не даёшь, в день по девушке спасать нацелился.

— Извините, — сказали мы, — сын сестры, извините, что спрашиваем, сорок лет вам уже, за эти сорок лет хоть раз для другого человека хоть один лишний шаг вы сделали, сказали себе — у этого человека беда, дай-ка подойду узнаю, что ему надо? Было такое?

— И не желаю, — откликнулся, — ни боль тайком причинять, ни от боли принародно избавлять, ни тем более похваляться потом — спасаю, дескать.

В нас метил, сильный был удар. Мы сказали:

— То есть?

— Каждый должен знать свои пределы, — сказал он.

— Вот и знайте.

Азербайджанец оживился.

— Два друга ругаются, мне, кочевнику, лучше. Тысяча рублей.

— Две тысячи, — сказали мы.

— Тысяча двести, — покачал он головой.

— Десять тысяч, — сказали мы, — об этом больше ни слова, обидимся, скотина твоя под грузом сдохла, иди.

Повернулся к своей лошади, но надежды не потерял.

— На что тебе лошадь, ты культурный деревенский армянин, а я кочевник с гор, пастух...

Тяжело поднимаясь по ступенькам, мы сказали разгневанно:

— Мы сами кочевники, пастухи и азербайджанцы, не видишь разве, как турка старых

времён, закидали нас камнями со всех сторон.

Продавец кончил дела в магазине, вышел на балкон и тоже стоял, опершись на перила, смотрел вниз. Он наш ровесник, и честный он, может шутить с нами на равных, и теперь он сказал, передразнивая нашего отца, его знаменитое:

— Та-ак вашу бабу! Рядом с турком мы армяне, рядом с армянами, значит, турки. Мы личностью быть должны, а рядом с нами чтоб никого!

Улыбнулись мы, но своей оскорблённости и гордости не потеряли, уязвлённо и сдержанно сказали:

— Если есть такая личность, пусть встанет рядом, мы не против.

Мы молча покрутились на балконе, где народ расступился и фактически расчистил площадку для нас, чтоб спокойно могли расхаживать, и только сын нашей сестры стоял к нам спиной. Мы остановились рядом с ним, обратились к нему и вдруг заметили, что ещё такой же гордый и надутый, как мы, солдат на постаменте, фигура такая же гордая и торжественная. И ещё то вдруг заметили, что продавец краем глаза наблюдает за нами и мы для него хоть и любимы, но смешны. Мы кивнули на памятник и сказали:

— Когда поставили, ни на кого из тех наших ребят не был похож, теперь сходство находим, не помню только, кого напоминает.

Посмотрел на нас и сказал продавец:

— Из погибших — ни на кого, а на тебя вот похож.

Поломались мы немного, потупились, сказали:

— В руках фотоаппарат был, может, действительно сукины дети незаметно сняли нас, потом по нашему подобию отлили?

— Ну да, — рассмеялся он, — у них готовые имеются, собирают с людей деньги, привозят, ставят, вон ещё один такой же в Дарпаса поставили. — Он посмотрел на нас, сравнил, сказал: — Сходство ежели и есть, то случайное.

— Случайное! — усмехнулись мы.

Наш племянничек на другом конце балкона сказал:

— А почему, собственно, на тебя должен быть похож? Ты погибшим, к примеру, кто?

— Погибшим? — переспросили мы. — Мы погибшим никто, хотели тебя разговорить, чтоб лицо своё к нам поворотил, потому что, сколько мы тут ни проходим, на твоём месте племянника не видим — одна задница.

Сказал:

— Мы каждому по достоинству воздаём.

Мы ответили:

— Ты нам лично ничего не должен, мы своё от тебя уже давно получили и премного благодарны. Когда ещё косу держать тебя учили, когда на коня в первый раз сажали и ты кричал и за нашу шею цеплялся и говорил, захлёбываясь, «материн брат, а материн брат», когда мы вместо нашей сестры приходили с кузницы на родительское собрание и нам говорили: «Чего это вместо матери дядя мальчика пришёл?» — а мы отвечали: «А что, дядя такой же родитель...» Мы своё от тебя получили.

Он притих. На минуту мы прониклись к нему жалостью, но времена «дяди и племянника» прошли, и мы хищно посмотрели на него и сказали:

— Думаем, простите нас.

Потом мы молча прошли по маленькому кругу, расчищенному для нас людьми, и в это время зазвонил телефон. Мы ближе всех к аппарату стояли, и вообще среди всех у нас прав на телефон было больше. Медленно и степенно мы подняли трубку, наша, мол, воля, захотим, обратно бросим, захотим, слушаем. В телефоне выразили недовольство, долго, мол, не подходите, но это нас не подстегнуло, неторопливо и с достоинством мы сказали:

— Цмакутский Ростом слушает.

Руководитель хозяйств был из Овита — долго, на все лады поздравлял с победой, и это было приятно, но мы не поддались, не позволили себе поддаться на его лесть, мы подобрались и сказали:

— Но одно тяжёлое обстоятельство имеется, товарищ дорогой. Хороший поступок одного цмакутца по отношению к другому цмакутцу. Овит и овитовец не имеют права хвалить-одобрять, то есть у тебя нет права похлопывать по плечу Ростому Мамиконяна, поскольку сам ты вконец бессознательная дубина, ты целое передовое, с переходящим знаменем село уничтожил, ты не директором должен был быть, ты скорее тем сопляком должен был быть, убегавшим с девушкой. Мы посмешище — ты тому причиной, мы боль — ты в этом виноват, мы умираем — ты убийца. Если ты человек, просим, доложи центру, что Ростом Мамиконян оскорбил тебя, и у нас будет возможность плюнуть тебе в лицо в присутствии центра — тьфу!..

Мы говорили чётко и отдельно, но наш гнев и ярость усиливались, ещё немножко, и мы взорвёмся. Народ про нашу ярость знал, что это такое, и беспокоился. Продавец со словами: «Э, Ростом, нельзя так, нехорошо», — кинулся отбирать у нас трубку.

Мы не упали в обморок, спаслись на этот раз, но в висках у нас стучало, и мы задыхались. Согласились, что перегнули палку, пробурчали «ну ладно», потом видим, что облокотились о подоконник и молча стоим так.

— Кто среди вас Сенник? К телефону, — сказали мы, обращаясь к нашему племяннику и его друзьям.

Сенник как раз племянничек наш-то и был, отделился от своих и быстро пошёл к нам.

— Кажется, тебе должно быть известно, кто тут Сенник.

Мы презрели ярость этого ничтожества и — не знаем, что нас дёрнуло — взяли да и влезли через окно в старую контору, ставни за собой закрыли и предались старому.

Посреди конторы стояла жестяная печка, вдоль трёх стен длинные скамьи расставлены, куривший, где бы ни стоял, должен был подойти, бросить окурочек в печку, рядом впритык стояли столы председателя и бухгалтера, возле стола бухгалтера — книжный шкаф, возле шкафа список висел всех ста пятидесяти двух наших сельчан. Прямо на половине июля график прерывался — предыдущее полугодие никакого признака «болезни» не выдавало, густо заполненный график обрывался сразу же. Рядом с графиком стенгазета висела с косарями и даже со стихотворением — в этом селе в те времена, значит, и стихи писали, находились люди.

Так себе, не плохое и не хорошее было стихотворение, но в глубоких складках нашей души проснулась старая песня женщин:

Выйдем в поле, рассвело уж,
разобьём германца тюрьму,
освободим товарища Тельмана,
Компартии вождя...

А вот и Доска почёта с нами, передовиками. Наверху, почти что у самого потолка, старое Политбюро. Мы искрутились в конторе нашей, слёзы и волнение душили нас, потом мы сели там, где в прошлые времена сидели, за председательский стол, и поглядели отсюда, и на трёх скамьях возле стен увидели тех прежних ребят, так, как рассаживались они здесь в дождливые вечера. Тяжёлые, молчаливые, с верой в сердцах, смотрели и дымили, где бы ни сидели, вставали и, держа между большим и указательным пальцами окурочек, несли, бросали в печку. Мы встали, как они вставали, подошли к жестяной печурке, подняли крышку, как они это делали... и тяжёлый запах мочи ударил нам в лицо. Между двумя столами высокое окно находилось, мы заметили, что с балкона хотят нас разглядеть, беспокоились, наверное, за нас. Сын полковника. В запёртую дверь постучали — а это уже про-

давец был. Мы печально пошутили:

— Из центра важный человек приехал, совещание у нас, нельзя сюда, — потом речь наша посуровела: — Этих скотов, что рядом стоят, пивом вовсю потчуеть, сначала о нужнике подумай, а то что это такое...

Он посмотрел на «скотов, что рядом стояли», осоловевшие, бездумные, и впрямь «скоты», на другом конце балкона пекарь в одиночку пил водку — наливал, предлагал всем по очереди, получал отказ и опрокидывал стаканчик.

Продавец сказал:

— Что там ещё стряслось?

— А то и стряслось, — сказали мы, — свою воду ленятся отойти, спустить в стороне, заходят в контору и не стесняются, — и мы вышли из конторы тем же манером, что и вошли — в окно то есть, и сказали: — Который из вас, кто тут насвинячил?

Все. Все насвинячили, и так оно и должно было идти, на наш гнев не обратили внимания, и даже, наоборот, пекарь с бутылкой и стаканчиком в руках подошёл к нам.

— Чего ругаешься? Контора-то пустая, — сказал, — ну ребята и... — он поставил стакан на перила, наполнил до краёв и сказал: — Ребята за твой поступок выпили, выпей ты тоже.

Стакан полетел на землю, мы с отвращением скривились.

— Контора пустая, вы вон зато нагрузились как.

— Я свой хлеб выпек, раздал, до завтрашнего дня свободный гражданин, — и, перегнувшись через перила, крикнул нашему другому племяннику, водителю: — Если не разбился, брось-ка сюда этот стакан, а разбился, так и шут с ним.

Это была пустая болтовня неживых людей, даже то, что продавец потом сказал, вроде бы тревожное было, но прозвучало пусто и мертво.

— Айта, — сказал он, запирая магазин, — сторожа много дней уж нет, то вспомню, то забуду, не дай бог, помер старый, никого ведь нет, помрёт там один, оскандалимся...

Даже такое не имело для них значения. Пьяный пекарь говорил внизу:

— Ну что тут такого, еда и выпивка — угостишь людей, они тебе всё сделают.

Вроде бы пьяная болтовня была, но по нашему племяннику, тому, кто подражал нам, мы поняли, что за всем этим что-то кроется.

Натягивая пиджак, мы быстро спустились с балкона, перешли дорогу, прошли мимо разрушенной ограды, заброшенного сада, вышли к дому сторожа, сын полковника за нами. Мы зашли в дом — лучше бы не заходили! — покинутое кладбище напоминало всё кругом, всё-всё, до единого, и даже фотография сына-горожанина с невесткой — голова к голове, «дорогому отцу от его детей», — даже она странным образом казалась старой и мёртвой. Мы мальчику сказали «отвернись» и откинули одеяло. Но мы ошиблись, постель была пустая, жестяная печка — холодная. На столе стояла корзина, в ней яйца, с полдюжины. Мальчик с сомнением посмотрел на нас, мы объяснили: «Собирает, чтобы внукам в город отправить». Носком сапога мы поворошили золу в очаге, огня не было, мы засвистели и улыбнулись — старый был тяжёл на ухо, всё равно бы не услышал нас. Потом мы обследовали хлев, крыша в двух-трёх местах прохудилась. Когда мы вышли из хлева, мы уже твёрдо знали, что делать будем. Той же дорогой мы быстро вернулись в центр села, поднялись в кабину грузовика и сказали:

— Сын сестры! Если, конечно, мы с тобой дядя и племянник, — заразившись нашей деятельной решимостью, тот поднялся, сел за баранку.

— Куда ехать прикажешь?

— Знаешь куда, — сказали мы, — вы всё знаете и скрываете от Ростова.

Нет, он не знал, он молча пожал плечами.

— Ты не знаешь, зато твой брат Сенник знает, — сказали мы.

Сенник забеспокоился, спустился с балкона и, пока его брат включал зажигание, пришёл,

обогнул нас, мы сказали:

— Хочет сесть к нам, погоди.

Они друг с другом не разговаривали.

— В этой машине ему места нет, — сказал племянник.

— Брат ведь твой, — сказали мы.

— Кто мне товарищ — тот мне и брат, — ответил.

Сын полковника, вызвав в нас обоих любовь и беспокойство, побежал за машиной, догнал её, повис на борту, потом забрался в кузов — присутствие и поведение этого мальчика омыло нас каким-то светом и надеждой. Мы племяннику сказали:

— Нас в поле нашли, так? Вражда и неродственность между нами конечно же однажды должны были проявиться, но вы-то братья по крови, одной матери-отца порождение.

Тяжёлый и непреклонный во вражде и верности, он повторил:

— Мой брат тот, кто мне товарищ. И ещё одно скажу, знай: с фермы его сняли из-за женщины, над твоим лесничеством теперь круги делает.

Мы подождали подробностей, даже попросили — дальше, но он уже замкнулся.

— Я своё сказал.

— Не знаем, сын сестры, не знаем, чем всё это кончится, — вздохнули мы.

— Чем всё кончится? А тем и кончится, — сказал, — что люди должны жить.

— Пусть себе живут, — заволновались мы, — но ведь порядок — это первый закон жизни.

— Про свой порядок народ у нас с тобой спрашивать не будет, — сказал он.

По существу, это была критика и поругание нашего понимания мира, а главное, того, какое мы придавали значение нашему облику Ростова в этом мире. С серьёзным упрёком, но, поскольку это сын нашей сестры был, мы, готовые каждую минуту обратить всё в шутку, смотрели на него до тех пор, пока он не выдержал и засмеялся. Мы сказали:

— Вот так-то оно лучше.

Геолог на мотоцикле нас, правда, обложил матом, но наш широкий, напоказ жест не упустил — пошёл, попросил от нашего имени у супруги нашей ягнёнка. Принимал в этом участие наш другой племянник или нет, не знаем, но сейчас они вместе на одном мотоцикле нагнали нас и попросили дать им дорогу. Сын нашей сестры с ягнёнком в руках сидел в коляске. С присущим ему особым пренебрежением наш племянник-водитель уступил им дорогу, другой племянник наш коротко глянул на нас, как ятаганом резанул, во взгляде геолога, наоборот, благодарность была, и мотоцикл обогнал нас. Ошиблись мы, решили, что едет с геологами пировать, сказали:

— Вместо того чтобы самому пригласить их в дом, угостить чем есть, едет к ним угощаться.

Племянник-водитель улыбнулся нашей ошибке.

— Я тут другое подозреваю.

— Что именно? — спросили мы.

— Посмотрим, сейчас всё выяснится.

— А... — мы помолчали и спросили: — По какому поводу вы поссорились, общественному или личному, то есть во благо народу презираешь его или же...

Наш высокий слог его рассердил.

— Слушай, товарищ дорогой, — сказал, — на ферме есть одна — ни брата у неё, чтоб защитить, ни мужа, хочешь, личным считай, хочешь, общественным, спутался он с ней, ну ладно, спутался, помалкивай, хотя бы на людях-то отрицай, а этот, наоборот, да, мол, было дело, и всё тут, то есть не боюсь ничего, на глазах у вас что хочу, то и делаю, кого захочу, того и пригну.

— Без стыда, без совести, — отозвались мы.

— А кого ему стесняться, — кивнул он.

По-нашему, мы были живым примером для подражания и уважения, но сын нашей сестры этого не видел, и это было обидно.

— Всё равно, — сказали мы. — Видят нас или нет, даже самые тайные дела свои человек так должен делать, словно народ стоит и смотрит на тебя.

Что-то тяжёлое хотел сказать, колебался, но собрал всю решимость, насупился и сказал всё же:

— Хорошо говоришь, но, дорогой друг, помнил ли ты про это, когда стог на тебя с той шальной повалился?

Вина и протест застряли у нас в горле, худо нам было, неумоги, и, как умирающий бы спросил, мы еле проговорили:

— Так ты, значит, про это?

— Про это, — сказал, — парень твой в селе как появился, никто не говорит «сын Вароса» или же «сын Элинора», все в один голос: Ростомово отродье, Ростом портрет.

Мы дёрнули тормоз, сказали:

— Спасибо тебе за твою помощь, вот, значит, почему машину так послушно нам подавал. — Мы выбрались из машины, обошли её спереди, сошли таким образом с дороги и ступили на тропинку, которая вела к лесу. Мальчик спрыгнул с кузова, пошёл за нами. Но мы не могли ограничиться только этим, мы обернулись с пригорка, сказали: — Плюньте в лицо богу своему и скажите — плохое лицо, плевков к нему пристаёт, ударьте ногой, обваляйте в грязи и скажите — нехороший бог, в грязи весь вымазался. Если Ростом среди вас вытерпел, вы свечку к его ногам должны поставить.

Поморщился.

— Мы не в театре, и слушателей у тебя нет, напрасно на голос налегаешь.

Мы сказали:

— В общем, так. Возьмёшь с собой этого ребёнка. Иди сядь с ним рядом и уезжай, — сказали мы мальчику.

Ни тот, ни другой, впрочем, и не думали возвращаться в село. Сын нашей сестры, племянник наш, значит, учуял нехорошее и в самый решающий момент пришёл, встал в центре событий, а сын полковника так от нас и не отстал, как собачка, за нами плёлся на расстоянии. Мы о его присутствии не помнили, но в глухих лесных переходах замедляли шаг, позволяли ему подойти ближе, посмотреть, куда ступаем, чтобы он следовал нашему примеру. Мы подняли ветку, прошли под ней, и он тоже, мимо шиповника прошли, защитившись рукавом, и он тоже, и об корягу мы нарочно споткнулись и упали, чтобы мальчик увидел и был осторожен в этом месте. Наконец мы вышли на большую, омытую ясным светом опушку и остановились — божественная картина была и молчание, горные склоны пребывали в тени своих гор, и в туманном густом воздухе брезжила светом только эта опушка, словно свет по склонам стёк и замер здесь озерцом. Одинокий кудрявый граб красовался посреди опушки. Мы прошли вперёд и остановились у камня, валявшегося на тропинке. Когда-то камня здесь не было, скатился с верхних известняков. Мы сказали:

— Собственную электростанцию строили, то есть чтобы своё электричество иметь, очень много извести нужно было, целый месяц жгли, под бревном двух волов удавили, один парень из нашего села, ручищи — во! — как ударит, кулак в твоём пузе застревал, вот тут он стоял, закурил, ногой окуроч растёр и сказал: «Я в город еду».

Речь о его отце была, мальчик сказал:

— А теперь говорит: брошу всё, поеду в село.

— Поедут, как же, — сказали мы, — на пенсию когда выйдут и в особенности после своей смерти.

— Это он так просто говорит, пугает, — сказал мальчик, — хочет, чтоб генерала дали.

— Генерала, — повторили мы, — генерала... А Ростом как стоял тридцать лет возле этого камня, так и стоит.

— Палёным пахнет, — потянул носом мальчик, — горит что-то.

— Бук жгут, — ответили мы, — и груша засохшая недалеко тут была, срубили, горит тоже.

— А почему мы остановились? — спросил мальчик. — Не идём дальше?

— Почему остановились? — мы оторвались от камня и зашагали. — На плохое дело идём и не хотим идти, вот и остановились.

Потом мальчик нас окликнул:

— Дядя? Одну вещь хочу спросить...

И сердце наше прямо ёкнуло, задохнулись мы от волнения. «Значит, — откликнулось в нас, — для кого-то мы их родная кровь всё же, кто-то придаёт нам смысл, кто-то может гордиться нами». Остановились мы.

— Говори, — сказали мальчику, — слушаем тебя, милый, ты нас своим дядей назвал или просто так «дядя» сказал?

— Своим дядей, — сказал мальчик, — ты почему во множественном числе о себе говоришь? «Слушаем», «говорим», «мы», ты хочешь сказать, что, кому лёгкие кинжалом перемешали, то есть дед Сумбат, дед Тигран, весь наш саргисяновский род, мол, все мы, да?

Возликовали мы, поверили, что мы сын большого рода и сейчас в предводителях у этого рода, воспарили мы и сказали:

— Так оно в точности и есть, и ещё одно обстоятельство мы имели в виду, милый, в восемнадцатом году в грозовой июль этими вот горами всю Армению за собой повёл один полководец — пришёл, остановился у Джархеча, и народу за ним — как колосьев в поле, а сам он на белом коне впереди всех. Ударился потом, кажется, в Персию. Когда говорим «мы», себя полководцем Андраником в эту минуту видим, но ни народа за нами, милый, ни впереди — войска османского.

Сын нашей сестры, племянник наш, от должности на ферме освобождённый, раньше нас на мотоцикле геолога сюда доехал, взял багор, старого сторожа отогнал в сторону и подбрасывал дрова в огонь, заталкивал их вглубь длинным багром. На месте старых известняков, где мы в молодости нашей провели трудную и прекрасную неделю, обжигая известь, они, значит, снова площадку устроили под обжиг, сложили рядом дрова и поставили сторожа магазинного следить за огнём, сказали, наверное, «всё равно не спишь по ночам при магазине, сиди тут, да не засни вдруг, подбрасывай потихонечку дрова, а это тебе пиво для развлечения». Для старика маленький рай, и пиршество ему устроили — чай с чайником дали, сахар, колбаса, консервы, хлеб. С обугленным концом багор каждый раз загорался. Багор как багор, но для сына нашей сестры, для племянника нашего, от фермы отстранённого, этот багор очень ладно по руке пришёлся, как копьё, обеими руками взяться и со всей силы налечь — ударить или как затычка, как кляп в рот горящим концом, в особенности если не в духе, а сейчас он как раз сильно не в духе был, рот сжался, с лица прямо яд капал; если бы мы не объявились тут, то есть если бы ярость его на нас не излилась, не поздоровилось бы, пожалуй, старцу. Старый был тяжёл на ухо, плохо слышал, не мог сообщить, что произошло, суетился и говорил:

— Айта, од-дна ночь ос-сталась, пот-терпели бы. — И снова: — Ай-та, у т-тебя т-там с-семья, д-дети, а м-мне ч-что, с-сухая г-головешка... к-кому я нужен.

Но племянник наш его не слушал, толкал в сердцах, другим концом багра чуть глаз ему не выкалывал, чуть с дровами в огонь не бросал.

— Айта, д-да ведь не н-надо, ч-чтоб очень г-горячо было...

Непосвящённый старик хоть и не понимал причину его ярости и не согласен был столько топлива в огонь разом бросать и температуру поднимать, но всё же хотел быть по-

лезным — еле волоча ноги, почти ползком подносил ему дрова.

Сын нашей сестры посмотрел на нас словно из-за завесы глухой ненависти, потом перед нами маячили его спина и затылок, он всё подносил, подбрасывал дрова, когда же он снова на нас свой взгляд обратил, ненависть уже не скрытая, глухая была: сжатый искривившийся рот, откинута на крепкой шее голова и нацеленный на наше плечо один глаз — готовая метнуться и ужалить змея.

На наше появление старик отреагировал так:

— Айта, ч-чего это вы всем с-скопом с-сюда п-повалили, а я т-тут на ч-что?

Наклонились мы к нему, крикнули в ухо:

— Тебя кто сюда привёз?

Ответил:

— В м-машину п-посадили и п-привезли.

Мы прокричали ему в ухо:

— Кто, кто привёз тебя — мы, что ли?

Он сказал:

— Д-да вот из-звесть жгём.

Мы снова к нему наклонились.

— Для кого жгёте-то?

Он:

— Од-дна н-ночь ос-сталась, х-хорошая известь получается, оч-чень х-хорошая, п-просто з-замечательная

— Вот-вот, — сказали мы, — пойдёшь, побелишь свой потолок закопчённый, — потом взяли у него из рук палку, велели: — Собирай свои пожитки, поедешь со мной в село. — И то ли в шутку, то ли всерьёз добавили: — Повезу, засажу тебя в подвал под твоим магазином, четыре кубометра дров сжёт, шутка ли.

Наивный и несведущий, поправил нас:

— Д-десять, д-десять м-метров ушло.

Сын нашей сестры с багром в руках стоял перед огнём и, оттянув голову, как змея, смотрел на нас. Ненависть — заразительная штука: когда мы повернулись к нему, от любви и снисходительности нашей к старику не осталось и следа.

— Бросай в огонь багор, — сказали мы, — и ступай отсюда, ты, сын нашей сестры, тебе здесь не место, — и мы бросили палку, что держали в руках, к его ногам.

Никакого движения, как смотрел на нас не мигая, так и продолжал смотреть.

— Ещё один такой же в селе имеется, — сказали мы ему, — тот тоже, как змея в кино, смотрит, то ли вы с ним друг у друга научились, то ли в Ростоме что-то такое есть, что в вас змею будит. Брось багор, говорим, и следуй за мной, — и, посмотрев на добротную кладку камня, на аккуратно сложенные дрова, мы в сердцах сплюнули.

Для мальчика здесь всё интересно было — и наша княжеская повадка, наши приказы-распоряжения, и отмаявшаяся ненависть нашего племянника, и как делается известь, — всё-всё, и только он один и мог заметить, что на палке, брошенной нами под ноги нашему племяннику, на коре вол нарисован; он подошёл, опустился на колени и внимательно разглядывал. Много лет назад мы нарисовали нашего вола-друга и нацарапали внизу ЦИ-РАН, да-а-а, здесь мы оставили дорогие нам дни. Старый тоже предался воспоминаниям:

— Айта, Ростом, т-того г-года из-звесть п-помнишь? Или т-ты ребёнком ещё б-был?

Перед виноватым и самого себя унизившим нашим племянником мы были самовластным представителем закона — словам старика мы улыбнулись.

— Это когда вола бревном придавило? Ты тогда от пуза мяса наелся, помню, как же.

— М-мяса, — сказал. — Пока комиссия с Сирануш не пришла, Ефрем к мясу никого не подпустил. Я тогда обиделся, сказал, не стану есть, ну да по закону так надо было, пока ком-

миссия не придёт, нельзя т-трогать, п-печёнку в особенности.

Грустно нам стало, улыбнулись мы, повернулись к племяннику своему.

— Пятнистого жеребца отдал овитовцам, а сам сюда, значит, явился, прислуживаешь не знаем кому, перед чьей дверью с саблей в руках встал, чьё добро стережёшь?

— Своих детей, — сказал.

— Детей, говоришь, — повторили мы, — тяжёлый ответ, выходит, что Ростом у сестриных внуков хлеб отнимает. Брось багор и ступай отсюда. Не хотим сына нашей сестры, нашего племянника, видеть слугой у чужака пришлого.

Сын полковника получил оплеуху от нашего племянника, опустившись на колени возле его сапог, мальчик разглядывал старый рисунок на коре, и вдруг видим — племянник наш ударил ногой ребёнка и потом ещё оплеуху отпустил.

— Убью! — взорвались мы и кинулись на него. Уши тебе с корнем вырву!

Замахивался на нас багром, мы багор перехватили ногой, надавили, переломили, но полбагра осталось у него в руках, и он снова замахивался, мы схватили его за руку и крутанули. Высокая грудь, крепкая шея, сильная, не по-живому твёрдая рука — мы с трудом выкрутили эту руку, словно железо гнули, но всё же скрутили. Когда он почувствовал, что сейчас сдастся, из глаз его брызнули слёзы, он хохотнул, потом, когда мы скручивали ему руку, когда за спину отводили, рука вдруг ослабела, словно переломилась, и, когда в борьбе наши лица коснулись друг друга, мы какое-то родство почувствовали и уже терялись и жалели, что так себя повели, и как раз в это время он повернул шею и плюнул нам в глаза. Мы наше лицо вытерли об него, о плечо его, он встряхнулся и отошёл от нас.

Никакого сожаления, никакого раскаяния.

— Грязное отродье, — бросил он нам, — в брюхе у тебя свинячье сердце, иди, с чужих дворов детей своих собери, тогда и объявляй себя Христом.

Глухо закричали, шагнули к нему и окаменели — с нами началось то, о чём наши враги и завистники говорили с радостью, а кто любил нас, с жалостью, мы стали терять сознание. Ни секунды жалости.

— Отдохни, — сказал, — плакать по тебе никто не станет, подыхай спокойно.

Последнее, что мы увидели, был мальчик: поднял с земли палку и пошёл на нашего племянника. И последняя наша забота опять была этот мальчик. «Не имеешь права, Ростом, нельзя, изобьёт ребёнка, душу ему отравит на всю жизнь».

— Нельзя, — прошептали мы. — Ы-и-и, — пристращали мы.

Но это не мы кричали. Нам повезло — другой сын нашей сестры, наш племянник-водитель, подоспел нам на помощь, выскочил из кабины и с криком бежал к нам.

Не знаем, это он почувствовал с нашей стороны опасность и сделал мать посредницей или мать сама решила за сына заступиться, как младший чин идёт с просьбой к старшему, вот так же пришла наша сестра к нам. Труженица, всю жизнь лямку тянувшая вдова, старуха уже, пряча под шалью взятку, несла нам дары. Покорная, испуганная, просительная, временами только веря, что мы друг другу на самом деле брат и сестра, улыбаясь, пришла и наткнулась в дверях сада на собаку и, склонив шею, понурившись, остановилась. Мы, сидя на веранде, чинили седло, она нас видела и не смела окликать, не смела каким-нибудь образом дать знать о своём присутствии. «Женский монастырь» Маро приладил у себя во дворе качели, размахивая короткими подолами, сёстры летали туда-сюда, радостные, беззаботные. Прислушиваясь к их голосам, улыбаясь, с очками на носу, мы чинили своё седло и вдруг подняли голову и видим — сестра наша, как прохожая нищая, стоит возле наших дверей. Она в эту минуту на нас не смотрела, мы очки сняли, седло ногой под тахту запилили, среди нашего чистого жилья, среди ковров наших мы придали себе вид князя и разбойника и только тогда сказали:

— Не кусается, иди, не бойся.

Она пришла в себя, жалко улыбнулась, потом сама себя подбодрила:

— И не должна кусаться, моего брата собака почему родных своего хозяина кусать должна.

От стыда и неловкости мы чуть сквозь землю не провалились. «Женский монастырь» с тёплым дыханием и смехом раскачивался на качелях, одна из дочек или же сама Маро, сидя на дровах, всё посматривала в нашу сторону.

Несвободная, скованная, каждую минуту напряжённая, наша сестра покрутилась перед амбаром, не знаем где, разулась и пришла, встала перед верандой.

— Проходи, — сказали мы. И заметили, что она в одних шерстяных носках. — Поди обуйся, — рассердились мы. Не подействовало.

— Нет, милый, — сказала, так лучше.

Пришла, осторожно стул из-за стола выдвинула, селя на краешек. А «женский монастырь» Маро был занят своей игрой: одна из сестёр сидела на дровах и «умирала», так сказать, с ума по нам сходила.

— А невестка моя где? — спросила сестра. — Нет дома невестушки моей? — Маленькую, сердце наше переполнившую хитрость сделала — после утренней дойки не пошла на покосы. Рассмеялась отрывисто, призналась: — Не пошла сено собирать, женщинам сказала «вы идите, я догоню» и от старых саргисянцевских домов убежала.

К брату своему со взяткой пришла — шерстяные носки белые, платок, водка своего изготовления и головка сыру. Это всё, конечно, не взятка была, но не чувствовала себя настолько уверенно, чтобы с пустыми руками прийти. Вытащила, выложила дары на стол.

— Что за женщины? — спросили мы.

— Ну, с которыми доить должна была, того дня народ, что в тот день со мной ехали, милый, помнишь?

— Вы не обязаны, — сказали мы, — по утрам доить, потом на покосы ехать, с покосов на вечернюю дойку, да ещё и по дороге носки шерстяные вязать.

Не согласилась, мягко возразила.

— Нет, милый, — сказала, — зимой, когда корова Марал мне в лицо посмотрит и от голода плакать станет, опять же моё сердце заболит.

— Сколько народу в селе болтается попусту, — сказали мы, — подыхают от безделья, пусть они и собирают.

— У них на лбу и написано, что бездельники, милый, — сказала, — им на роду написано быть горожанами и бездельниками, не коров же им доить, они в этом не понимают.

— Тебе сколько лет? — спросили мы.

— Тебя на четырнадцать лет старше, милый, — сказала, — просватанная девушка уже была, когда ты появился, свадьбу позже должны были играть, но уже просватали, чтобы Тигран не мог передумать. Акоп с конфетами и яблоками приходил, проведывал нас. Четыре года уже домом своим жили, когда Гитлер войну начал.

Пришли мы в себя и видим, смотрит на нас ласково и шепчет чего-то:

— Милый ты мой, брат мой... На закорках тебя в поле с собой несла, в руки прут давала, за овцой вместе бежали... Нет, милый, — сказала, — не говори, что сестра для тебя слепла, носки вязала, это Акопа носки, с тридцать седьмого, нет, шестого, нет, пятого года хранятся.

— Ну ладно, — сказали мы, — не напоминай. А водку эту напрасно принесла, но ещё хуже будет, если обратно понесёшь.

— Теперь с пустыми руками в дом к людям не ходят, — сказала, — а ты и не чужой, твоей сестры сыновья за этот стол как-нибудь вечером сядут, водку эту с дядькой своим разопьют.

— Сестры моей сыновья меня своим дядькой не считают, — сказали мы.

И мы почувствовали, что бедную нашу сестру в трудное положение ставим — стоит, сухими губами шевелит и молча просит помощи.

— Как преступник, сам отошёл в сторонку, а тебя вместо себя ходатаем прислал, почему, ты-то что знаешь? Ты ведь и не знаешь ничего.

— Трёх детей растит, милый, — сказала, — как я их поднимала всеми правдами-не-правдами, так и они.

— Так то война была, — сказали мы, — народу туго приходилось.

— И теперь война, милый, без картечи, без сабли друг друга поедом едим. Ферму у него давно отобрать хотели, овитовцы после этого случая с девушкой и воспользовались, а что случилось, ну, женщина, тридцати — тридцатипятилетняя, кому она нужна, кто на неё ещё позарится, замуж так и так уже не возьмут, когда моё дитя с работы погнали, думаешь, она с новым заведующим не спуталась? Спуталась, милый, спит теперь с новым, и не обвинишь, каждый, как умеет, в этом мире держится.

— Мы не можем нести ответ за весь мир, но хоть бы он тебя постеснялся, на одной ферме, у матери на глазах. Это что же такое?

— Милый, — сказала, — мы, конечно, видели, женщины, да делали вид, что не видим, решили промеж себя, тайное решение приняли, поскольку каждая из нас несколько дней попела-поцвела, на том всё и кончилось, — война началась, так что пожалели её, бедная девушка, подумали, пока её время не прошло, пусть своё возьмёт, милый.

— Это ваше человеческое решение, — сказали мы, — но у Ростоме тоже своё решение имеется. Годы подряд мы, значит, должны подтягивать себя и в строгости содержать перед этим миром, примером для всех быть, и чтобы наши усилия напрасными оказались, да? Наш примерное присутствие чтобы мы даже на родне своей не чувствовали, да? — мы встали, и наша сестра нашим словом и нашим обликом крепким восхитилась, «милый ты мой» пробормотала, и мы перед ней в обличии бога были, и она нам сильно поклонялась. — Чтобы сами мы бесплодными не были, а вину чужую на себя приняли и нашу неродящую мадмазель не вышвырнули вон и чтобы никто даже не понял, что это и есть примерное поведение, так, что ли?

— Милый ты мой, — пробормотала, — вылитый наш отец Тигран — и речь, и повадка...

— При чём тут Тигран, — сказали мы, — наш облик мы исключительно сами, из себя создали.

Блаженным старым дням предалась. Мы тоже.

— За руку тебя брала, — сказала, — приводила в село.

— Красные башмаки у тебя были, — вспоминали мы, — с ярмарки, с гор Шакара жених привёз или же Тигран?

— Красные туфли и зелёное платье, — кивнула, — не хотела с себя снимать.

— Сняла раз, на берегу оставила, меня через речку переводила, — вспомнили мы, — я у тебя на руках плакал, что башмаки на берегу остались, потеряем, дескать.

Полковник милиции Вл. Саргсян, чувствуя какое-то отдалённое родство, но так и не вспомнив те далёкие прожитые тут дни, проехал на служебной машине рядом с покинутой, пустой школой, шофёру своему приказал: «Поезжай медленней», — на пустой площади вышел из машины со смешанным чувством отдалённого родства и чужеродности, посмотрел на запертые или вовсе покинутые дома, на здание конторы, подошёл к памятнику погибшим ребятам, посмотрел на имена и странно так пошутил: «Может, эти глупцы из уважения и наше имя среди погибших записали?.. Нет, нету». Поднялся на балкон, бесцельно взял трубку и со снисходительным презрением сказал: «Цмакут слушает», потом объявился на кладбище и около могилы нашего отца Тиграна улыбнулся: «Та-ак, твою бабуку... лес — мой!» — потом вернулся, встал возле старого своего родительского дома, машина всё это

время медленно следовала за ним, подозвал жестом адъютанта и жестом же послал его в дом за мальчиком, раскрыв настежь старую дверь, мальчик трудился над развалившимся камином, адъютант постучал о притолоку: мол, Феликс Владыч гостей принимает? Мальчик всё понял, отставил кирпич в сторону, пошёл к нему — будто бы подчиняясь — и неожиданно выпрыгнул в открытое окно.

— А-а, сукин сын, — скорее стараясь казаться сердитым, нежели на самом деле сердясь, полковник среди глухого молчания пустынного села трижды выстрелил в воздух из пистолета. — Мучайся теперь с сопляками, — и побежал к пригорку пониже дома.

От наших дверей мы увидели, как бежит и скатывается с пригорка мальчик, потом увидели адъютанта, который, хватаясь за кусты, спускался вниз, потом полковника, объявившегося на пригорке. Чуть погодя возле него показалась машина. Мальчик притаился в овраге, исчез среди зарослей, а адъютант, непривычный к местности, неловко перебежал от куста к кусту и, зацепившись, застревал, останавливался. Потом адъютант спрятался за кустом на той тропинке, откуда будто бы должен был показаться мальчик, и мы улыбнулись: склон был тот самый, куда бегали много лет назад прятаться мы. Мы всмотрелись в то место, откуда сами когда-то вышли из нашего укрытия, и немного погодя, как молчаливый, немой зверёк, мальчик отвёл рукой кусты в этом самом месте.

— Вот твой дом, а вот и ты сама, — тяжело и важно спускаясь с нашей веранды, сказали мы нашей сестре, — накрой на стол, посмотри, что там есть, мы сегодня относительно судьбы этого села важное решение должны принять.

Не теряя из поля зрения полковника и его машину, мы вышли из нашего сада, спустились по тропинке и там, где тропинка сворачивала на большак, почувствовали, что мальчик где-то здесь, в зарослях крапивы.

— Домой к нам пока не заходи, — сказали мы, — ужинать будем с отцом твоим. Это мы, Ростом, — и прислушались.

Ответил:

— Сумасшедший кривляка он, вот кто, ну его к чёрту, дядя.

Мы сказали:

— Нельзя так о родителях говорить, тем более о полковнике.

Прислушались, что скажет. Он ответил:

— Да никакой он не полковник, дядечка, это он играет в полковника, враки это, сам трусли-и-ивый.

Нам было приятно, что высокопоставленное лицо так опорочено устами посвящённого, но мы обязаны были защитить старших от дерзости младших, улыбнулись мы, пожурили:

— Очень сильно ошибаетесь, товарищ Саргсян, трусливый до полковника бы не дошёл.

— Не уходи, дядя, — услышали мы, но пошли. Пошли делать важное дело.

Минуту или две только стояли мы перед ним — за мимолётную, короткую эту встречу человек этот успел предстать высшим чином перед нами, зависимыми и деревенскими. Да, предстал высшим чином общереспубликанским и даже общесоветским перед лицом нашей местной узости, перед другом-товарищем своим старым, воплощённая снисходительность то есть, так оно и должно было быть, мы такой крестьянский парень, а он такое высокопоставленное лицо. До того как приблизиться к машине полковника и понимая, что унижаемся, стараясь поэтому придать нашему поступку оттенок семейственности, торопя себя, подгоняя («Скорее, Ростом, скорее, и так запоздали»), мы опустили наш жалкий шлагбаум и, подняв вверх наше лицо и руку, сказали самым торжественным образом:

— Стоп, сто-о-оп, приехали, выходите.

Машина засигналила.

— Возражений не принимаем, выходите, — сказали мы. Вышли они с адъютантом из

машины, мы руку полковнику почтительно пожали — «Добро пожаловать к нам, товарищ полковник», — потом пожали руку адъютанту, потом пошли, поздоровались за руку с шофёром, который продолжал сидеть в машине, к нам не вышел. Про шлагбаум полковник сказал:

— Что это вы тут учудили, парень?

— Учудили вот, — ответили мы, — устроили, — и польстили: — Чтобы действенные силы вашей земли и что есть в Цмакуте ценного не отдавать больше городу.

Лесть, она всегда приятна, рассмеялся, сказал:

— Ты про какую это землю, парень?

— А про родину товарища генерала, — опять польстили мы.

— Чёртов сын, в генералы произвёл, — он засмеялся, обнял нас и так, похлопывая нас по плечу, смотрел в объектив отсутствующего фотоаппарата. — Друг детства, — сказал он не адъютанту, а каким-то отсутствующим-присутствующим очевидцам. — Ты ведь Ростом, а, друг моего детства?

— С вашим сыном вместе эту штуку соорудили, — сказали мы, — очень хороший ребёнок, настоящий цмакутский патриот, общительный, дружелюбный, помогающий, нашего всего рода историей интересуется...

— Курит и пьёт, сукин сын, — возразил полковник.

Отупели мы и оглохли, сказали на это незнамо с чего:

— Как ваша воля будет.

— Поймаешь, — сказал он, — с попутной в город отправишь. — И демонстративно искал деньги на попутную, денег в карманах не нашлось, ни в его, ни в адъютантовых, деньги эти принёс и вручил нам шофёр, невзирая на наш растерянный отказ, засунул нам в карман. А мы до этого осознали нашу маленькую промашку и постарались исправить её.

— Ничего он не курит. И не пьёт, — сказали, — сострадание имеет, с пониманием, про птицу и цветок, про растения родины, про прошлое и будущее — с большой заботой... Вы сами, своими глазами увидите...

Он, впрочем, считал разговор законченным и направлялся к машине.

— Куда? — сказали мы. — Не отведав нашего угощения, только ступили на родную землю, только приехали и сразу уезжать? Неделю гостем нашим будете. — Мы подошли, чтобы удержать его, но это вылилось в прощальное рукопожатие.

— В другой раз, — сказал он.

— Нет, в самом деле, — настаивали мы, — два дня как минимум, тяжёлая к вам просьба имеется — относительно нашей общей пользы.

Отчуждённо и неприязненно посмотрел, процедил:

— Слушаем.

— Так, походя об этом нельзя, — упорствовали мы, — два дня побудете здесь, чтоб в Овите узнали и в центре чтоб знали, что у Цмакута свой полковник есть, защитник свой, что Цмакут тоже что-то из себя представляет, что это родина товарища полковника.

— При чём тут Овит? — поморщился он.

— Овит, — пояснили мы, — овитовцы. Захватили руководство в свои руки, Цмакут наш погибает; от хозяйства, не выпускающего переходящее знамя, только и осталось одно кладбище да старая Доска почёта. На месте нашей дедовской мельницы не знаем какой чужой выкормыш...

Взмахом руки приказал поднять шлагбаум, сказал:

— Овит, Цмакут... Кончайте с этими вашими местными сварами.

...Мы плелись домой и, как собака, объевшаяся дряни, шли-шли и икали, шли-шли и плевались и переполнялись желчью.

— Тьфу, Ростом, тьфу на тебя, Ростом, тьфу, тьфу!

Наша самонадеянность должна была быть наказана, но так унижительно, так не по-людски — такого мы никак не ожидали, поскольку Цмакут, конечно, изменился к худшему, но всё ещё назывался Цмакутом, и это нас обманывало, вводило в заблуждение. Нашему коню накрепко связали морду стальной проволокой, концы закрутили, да так, что ни ножом, ни чем другим нельзя было разрубить, даже палец продеть, чтобы раскрутить эту проволоку, невозможно было. «Слава тебе, великий боже, — сказали мы, — есть ещё в Цмакуте искусные руки, которые могут с металлом мудрить».

Мы, значит, набросив, как мы это любим, пиджак на плечи, направлялись в центр села, на площадь, народа, на нас глазающего, на улицах не было, но мы словно сквозь толпу, нами любующуюся, шли. Пониже гумна на рыжем потёртом склоне показался наш конь, но вида своего орлиного с высоко вздёрнутой шеей, уши торчком, не имел, непривычно как-то, неуверенно ступал, спотыкался и всё останавливался, ступит и встанет, дрожал даже вроде, мы свистнули в особый, специально для него придуманный свисток и подняли руку — здесь, мол, мы, но он не ответил нам, как всегда, приветливым ржанием, не вскинул гордо морду, странно это было, мы хотели было пойти к нему, но не пошли, а продолжили свой путь. Секреты ведь первыми дети узнают? То, что в нас шевельнулось как слабое подозрение, нам суждено было услышать от дочки Маро, той самой, нами, так сказать, спасённой, её красное платье промелькнуло в кустарниках, за старыми садами. На голове веночек из полевых цветов, в ушах вишенки, на шее бусы из ежевики. Выйдя на рыжую тропу, она наткнулась на нашего коня и заговорила скорее о себе, чем о коне:

— Один остался, хороший мой, без товарища... иди, иди в горы, а я твоему хозяину скажу, что убежал. — Сказала и рассмеялась. Через некоторое время она снова увидела нашего коня и не при гордой его осанке, а какого-то печального, и скорее сутью своей женской, чем по его виду, поняла, что в этом селе против нас засада имеется. — Эгей, Фело! — закричала она в тревоге. — Лошадь наша умирает, эй, Фело, где ты, иди сюда!

Из домов, что поблизости, ни звука, ни движения — неподвижное молчание.

— Эй, Фело! — надрывалась она. — Нашу лошадь застрелили, лошадь умирает, да где же ты, Фело!.. — и, как только женщина может в самозабвении забыть про себя перед опасностью, продираясь сквозь ежевичник, падая и поднимаясь, метнулась в овраг к нашему коню на рыжей тропе.

Мы в это время сидели на каменных ступеньках старой конторы, продавец и наш племянник-водитель разгружали грузовик — в основном, это были ящики с пивом, — на далёкий крик девочки мы грустно улыбнулись.

— Слава тебе, великий боже, — сказали мы, — есть ещё в Цмакуте молодые голоса, кричат, зовут, ругаются, мирятся.

На что продавец ответил, не отрываясь от дела:

— Да есть же, есть, они-то есть, а нас вот нету. — Мы поднялись, чтобы помочь ему. — Они есть, — повторил он, — нас с тобой нету, наше кончилось.

Усмехнулись мы, сказали:

— Когда это мы жили, чтоб уже и кончиться?

— Почему же? — сказал он. — А когда невесток молодых за скирдой обжимали, это что же, не в счёт разве, не засчитывается? Ещё как засчитывается и в сумме даёт жизнь.

— Скирду помним, невесток нет, — ответили мы.

На минутку окунулся в старое, потом сказал:

— Сена того давно уже нет, скормили скоту, а вот ребёнка привели и на незаконной стройке используют, чтоб ты живой портрет свой видел и язык за зубами держал.

— Седрак, — сказали мы, — Седрак... Сколько у тебя детей? Пять? Да чтобы эту божью справедливость, где же она — ты в пяти местах свой портрет закрепил-напечатал, а Ростом ни в одном. Ну, есть у нас один, и хорошо, но только как нам встать и сказать — да, мол,

наше это, как нам сказать тому несчастному: «Мы жену твою из-под тебя вытащили, рядом с тобой не твоя была — наша». Мы не убийцы, — сказали мы.

Обдираясь об кусты, падая и поднимаясь, со всей самозабвенностью юного существа отдавшись тревоге, дочка Маро скатилась с пригорка; один туфель потеряла с ноги, переходя речку, другой сама скинула и, растрёпанная, изодравшая руки-ноги, исцарапанная, бежит вверх по рыжей тропе к нашему коню ретивому. Поскольку по-городскому и по-женски уже решила, что коня убили, первым делом обследует грудь коня и, не найдя раны, отодвигается, смотрит на морду.

— Плачешь, — говорит и протягивает раздавленную в руках малину и видит наконец проволоку. — Ой, рот тебе завязали, чтоб цветочки есть не мог, — она хочет освободить коня от проволоки, но проволока не поддаётся, и она, повиснув на ней, вопит что есть мочи «Фело-о-о!», «Мама-а-а!» и в том же самозабвении, как когда с кохбцем бежать собралась, хочет зубами открутить проволоку, не получается, она берёт коня за гриву и ведёт к нашему дому.

Кто это сделал, чьих рук это было дело, мы так и не поняли — каждого и никого, коня только дети могут мучить, но мы давно уже забыли про тот свой возраст, когда можно кинуть взгляд и увидеть то неуступчивое животное зло, перед твоей физической силой немножечко только, временно притаившееся, зло, которое смотрит на тебя, всадника, снизу ввиду маленького своего роста и пока ещё держится в тени. Сын полковника и дочка Маро с детской прозорливостью догадались, кто это сделал, но тайну свою сохранили в закрытой своей возрастной скорлупе; кое-какие проливающие свет вести из этой скорлупы всё же просочились — сын полковника был избит, но это вызвало в нас только смутные догадки.

Изодранная растрёпанная девчушка, значит, взяв коня за гриву, с криком «Эй, Фело, да Фело же-е-е!» тащит коня к нашему дому и в одном из дворов видит мальчишку, своего ровесника, того самого, который запустил в нас камнем тогда, возле речки. Желание любой ценой освободить коня от проволоки, откусить, открутить её вновь охватывает девчушку, мордастому этому мальчишке, спрятавшему за семью звериными шкурами любовь и жалость, говорит «подышает, иди помоги мне» и в ту же минуту чувствует — какое там помоги, он-то и сделал это, и с прямою и бесстрашием ребёнка говорит: это ты сделал. Никакого ответа, немножечко только отступает. Мы потом, когда его увидели, почувствовали, что боимся его. И, снова выкликая сына полковника «Эй, Фело!», девочка тянет за собой коня, а толстомордый ей: «Шофёрская б...», а оскорблённая девочка ему: «Вот скажу дяде Ростому», он ей: «Ростомовская б...», она ему с отвращением: «Дрянь ты», а он из-за изгороди, двигаясь с ней вровень: «Ну и говори, что мне твой саргисовский боров сделает».

Наша супруга руки на груди накрест сложила — ладони под мышками, — идёт на встречу соседской девочке и нашему коню, потом показывается сын полковника — три беспомощных-бессильных существа топчутся растерянно возле коня, наша супруга говорит: «Ростом, если увидит, и меня убьёт, и того, кто это сделал». В руках мальчика появляются щипцы для угля, девочка отталкивает его: «Больно ему будет, больно же»; супруга наша в отчаянии нас же и проклиная: «Видишь, что не любят, ненавидят, враги они тебе все — продай дом, собери вещи, уйдём из этой стороны, пускаешь корни, а кто у тебя здесь есть?!» — и тоже пытается поддеть проволоку щипцами. «Чёрт поberi, и силен же был, кто закручивал», — говорит и, отчаявшись, отодвигается в сторону.

Не видя нас, ещё не слыша наших шагов, наша супруга чувствует, что мы где-то поблизости, и в замешательстве замирает. «Пришёл, — говорит, — кто-нибудь пойдите, задержите его. — Подталкивает мальчика. — О дедовских временах спроси, о прошлом, задержи его, пусть рассказывает». Но девочка, как дикая лань, выпрыгивает вперёд. «Я пойду!»

Разговор с продавцом на нас тяжёлое впечатление произвёл. Мы чувствовали, что на ком-нибудь сорвём свой гнев. С дороги мы свернули на нашу тропинку — боже правый, что

это что за красота и лёгкость, до чего мы сами тяжеловесны и стары; дочка Маро шла по нашей ограде, раскинув в стороны тонкие руки, ограда, значит, каменная, в каменной кладке на равном расстоянии колья и на кольях жерди прямые разложены, она не удержала равновесия, упала, снова взобралась и поравнялась с нами лицом к лицу и словно бы удивилась нам: «Вай!»

— Козочка, — сказали мы, — зелёные сливы тащим?

— Не зелёные, поспели уже, — сказала. — стакан рубль стоит, на дороге продают.

— Они продадут, — сказал я, — в ваших городах.

Повернулась и зашагала обратно по жёрдочке, вровень с нами.

— Два стакана два рубля, — сказала, — но мне никто двух рублей не даёт, по утрам — двадцать копеек на завтрак.

— На уроках сливы лопаете?

— А вы что на уроках ели? — спросила она.

— Мы, — ответили, — голодные, холодные, съёжившись на парте и от страха перед учителем ни арифметики, ни географии — ничего не понимали.

— Откуда же знаете, что сливы на уроках едим? — спросила.

Что-то нам показалось вдруг подозрительным, и мы кинули взгляд на наш сад.

— Козочка? — спросили мы.

Вошли в наш двор — двор был тревожно пуст.

— Козочка? — спросили мы. — Не скажешь нам, что тут случилось?

По-женски мудрый ответ дала, сказала:

— Когда мои брат и зять разбили машину, брат пришёл домой, одеяло на голову натянул и заснул. Милиционер пришёл, видит, что спит. Не стал будить, сказал: «Парень в беду попал, пусть поспит», — выпил чаю, сидел, говорил с нами, а брат спал.

Мы её слушали, а сами гнали себя к хлеву, каждая дверь и тень скрывали от нас беду, наша супруга и сын полковника завели коня за дом и пыхтели, надрывались, старались, пока мы не подоспели, скрыть преступление, какие-то голоса и глухие неприметные знаки привели нас на задний двор, девочка шла за нами.

— Козочка? — сказали мы. — Если бы ты знала, какого себе сына-помощничка отец твой вместо тебя ждал, а ты девочкой родилась.

Наша супруга заметила нас и закрыла-заслонила собой коня и:

— Ничего не случилось, ничего такого нет, — сказала.

Но нам сразу же кровь в голову ударила. Подошли к ним, не чувствовали уже, что не красиво себя ведём, мальчика, повисшего на морде коня, отшвырнули в сторону, хотя другое, то есть вызванный нами ужас, не осталось незамеченным — то, что супруга наша решила, что мы на неё замахиваемся, и подняла руки защититься.

— Мы с тобой после поговорим, — процедили мы сквозь зубы. Концы проволоки мальчик сумел немножечко, как рога улитки, отогнуть, мы отшвырнули щипцы ногой, самодельным ножом с туго раскрывающимся лезвием поддели проволоку, и лезвие сломалось — мы сплюнули. — В Цмакуте, значит, до сих пор такие сильные руки есть, слава тебе господи, а может, это овитовцы? Их рук дело?

Наша супруга в слезах возразила:

— А тебе всё — Овит да овитовцы...

И мы снова пристращали свою супругу:

— Мы с тобой отдельно поговорим.

Предложенные мальчиком щипцы помогли, мы щель немножко расширили, потом стальная проволока раскручивалась обратно уже силой наших пальцев, каждый виток причинял коню невозможную боль. Мы сказали коню:

— Кто это смог обмануть твою красивую глупую голову, что посулили тебе, почему дал

обротать себя, а мы-то думали, у нас друг есть, он только Ростома одного и признаёт, ах ты господи, и что ты после этого о людях думать будешь... и желчь с нашего сердца, как мы её смоем, — краем глаза мы увидели девочку — беззащитная, чистая, прямая. — Козочка? — сказали мы. — Где же ты, куда спряталась?

Проволока наконец раскрутилась, обняли мы коня за морду и долго тёрли ему глаза, это, конечно, и на самом деле нужно было, но мы таким образом и наше волнение прятали.

— Возьмись за гриву и прогуляй тихонечко среди деревьев, — приказали мы мальчику. — У нас дело есть, — мы нагнулись, подняли с земли стальную проволоку.

— Что случилось, не уходи, — запротестовала-попросила наша супруга.

— Начнём с тебя, — сказали мы, — это сколько же раз мы на тебя замахивались, что ты перед нами съживаешься, когда это тебе от нас опасность грозила, а?!

Вряд ли она сейчас нас слышала, худенькая, уже седеющая, чуткая, словно воплощённая тревога, свою думу думала, прислушивалась к своим страхам, вряд ли понимая, что делает, кинулась нам на грудь и расплакалась.

— Всё равно не ходи, — сказала.

— Не-ет, ты скажи, — повторили мы, — сколько раз мы рядом с тобой убийство замыслили, что ты нас за убийцу своего сейчас приняла и сжалась? — наш пиджак был у девочки в руках, взяли, накинута себе на плечи, увидели на земле наш сломанный нож, потом смотали аккуратно стальную проволоку и сунули в карман.

Пониже саргисовских домов по тропинке на склоне шёл со своим велосипедом тот самый мальчишка, склон был отлогий, и тропинка петляла, он не ехал, а толкал впереди себя велосипед, о красоте у него было вполне определённое и окончательное представление — он украсил велосипед шкурками и всякой разной ерундой. Мостик через речку из двух жердей был, здесь мы с ним и встретились, он на одном конце, мы на другом. Мм остановились и сказали с какой-то смесью любви (к младшим вообще) и снисходительного презрения (к нему, уродине, и в особенности к его велосипеду):

— Пожалуйста. Дай-ка посмотрим на твоего коня.

Остался стоять на месте как пригвождённый, стоял и смотрел на нас.

— Старшим дорогу уступаешь, — сказали мы, — похвально.

Мы перешли речку по мостику, остановились рядом с ним и, как старший, с выражением доброжелательности на лице хотели сказать ему ласковое слово и протянули руку — погладить его по голове, — он дёрнулся от нас, посмотрел с животной ненавистью.

— У, похоже, что мы топор у твоего отца отняли, — смекнули мы, — или, может, он тоже на динамит перешёл? — Мальчишка попятился, в глазах жуткая пустота. — От ребят ничего не укроешь, не знаешь, — сказали мы, возле нашего коня кто сегодня крутился? — Потом мы перед этой пустотой просто-напросто отступили, сказав то, что обычно говорят детям в таких случаях: — Ну ладно, не отвечаешь, языка, значит, нет, проглотил.

«Всем ты дал право иметь потомство, боже...» Мы отошли от мальчишки и возмутились. Это была наша прямая капитуляция, и если мы не бежали, то только потому, что бежать надо было в гору и кашель нас душил — только поэтому.

На глухой сдавленный крик мы обернулись — на том берегу возле моста сцепились этот уродина и дочка Маро, девочка, как лёгкая веточка, отлетела, отшвырнутая, а он уже снова взялся за свой велосипед. С нашим сломанным ножом в руках девочка вскочила и перешла в наступление, но тут же схватила безжалостный тумак и снова отлетела.

— Ы-ы-ы! — припугивали мы и побежали разнимать их.

Вряд ли они не слышали нашего голоса, но внимания не обратили, это был их, ребячий, поединок, мы для них не существовали. Подбежали мы к ним, развели, как сцепившихся щенков разводят. Зажав в кулаке наш сломанный нож, девочка отодвинулась, уродина как следует её избил, но страха в ней не было, каждую минуту могла снова в драку полезть, нас

она просто-таки не видела, мы сердито прикрикнули:

— Убирайся отсюда, быстро! — потом сказали: — Что это у тебя в руках, ну-ка дай сюда! — но она нам ножа нашего сломанного не дала и не ушла и всё наскокивала на мальчишку, и мы сказали: — Ладно, ладно, всё равно одолеешь его, одолела уже, хватит. — И повернулись к мальчишке: — И не стыдно, девочку избиваешь, а ещё парень. — Но его ничем нельзя было пронять; мы хотели дать ему подзатыльник, он схватил нас за рукав, как собака хватается за горло и спасения от неё нет, так и он взял нас за рукав и сковал наши движения. — Силён, силён, — сказали мы, — отпусти. — Не отпустил. — Не бойся, не ударим, — сказали мы, но это нам следовало бояться его. — Отпусти же! — сказали мы и потянули руку, рукав нашей рубашки от верха до низа разорвался. — А ну убирайтесь отсюда оба! — вскрикнули мы, и они медленно, как подравшиеся собаки, разбрелись в стороны.

...Пошли мы к Альберту снова. Жена его пекла хлеб, дети помогали матери, у каждого своё дело тут было, это была хорошо слаженная семья. Хозяин дома, сидя в саду перед столом, чинил ружьё. Молча поздоровались, присели рядом. Самый младший из детей спрятался от нас за мать, остальные посмотрели бесстрашно и снова вернулись к своим делам. Хозяин отложил ружьё и подождал, что мы скажем. Жена сунула хлеб в печь, задвинула заслонку и обратилась к нам:

— Проходите в дом, неудобно же, как посторонний человек, сидите на улице.

— Это тоже дом, — сказали мы.

Пришла, вытерла стол, снова ушла. Самый маленький подошёл, встал у отца между колен. Пока мы мялись и разжёвывали нашу речь, а хозяин дома молча ждал, что мы скажем, один из мальчиков принёс, поставил на стол бутылку водки. Другой поставил перед отцом и перед нами по стакану для водки, третий принёс две тарелки и вилки, положил как надо, ушёл. Они вызывали наше восхищение, для отца же всё это было в порядке вещей, отец даже не замечал или делал вид, что не замечает их стараний.

— Жаль, — сказали мы, — жаль, что наш тяжёлый разговор в этот праведный вечер должен состояться, — мы встали и знаком дали понять, что нам с ним надо уединиться.

Жена принесла, поставила на стол сыр с хлебом, нам сказала:

— Когда-нибудь хоть должны вы у нас хлеба откусать?

Хозяйка ушла к своей печке, а хозяин сказал:

— Садись, в самом деле. Если слово твоё к нам относится, мы ничего такого не сделали, чтобы секретничать, если же о других — пожалуйста. — Он поднялся с места. Семья, выстроившись возле печи, смотрела на нас.

— Тяжёлая будет картина, если придётся тебе перед семьёй, как виноватой собаке, хвост поджать.

Он сел и сказал:

— Садись. Садись и умерь свой раж.

Сели мы и сказали:

— Грехи свои совершаете, в дерьме вываливаетесь, потом сестру к Ростому подсылаете, семьёй прикрываетесь. А чтобы хоть раз сказать: «Вот топор, а вот наша открытая шея, подставляем», — это уж извините.

Ребёнка с колена спустил, жене сказал:

— Возьми-ка этого, — а сам открыто и смело посмотрел на нас и подождал. Мы стальную проволоку из кармана достали, положили на стол перед ним и смотрим. Он на проволоку уставился и не понимает, в чём дело. — Что это?

— Чёрт в ступе! — рявкнули мы.

— Ты же принёс, — сказал он.

— На Ростома зубами полязгали, а злобу на бессловесной скотине выместили, — сказали мы. — Оба вы знаете, ты и конь наш, вот только у коня языка нет, чтобы объяснить, что, мол, это.

Вскочил с места и решительно запротестовал:

— Ну, ну, ну! Не пойдёт так, хозяин, если я в твоих глазах такой бессердечный, соберусь всем домом, в Завод подамся, останешься в этих развалинах один как сын.

Мы сказали:

— Так и будет в конце концов.

Сказал:

— Жаль, что кто-то омрачил хозяина нашего, мы твоего хорошего настроения ждали, чтобы насчёт того дуба попросить, но тебя, говоришь, пригнули, и мы этому рады, будешь знать, значит, что не мы одни тебе враги.

Растерялись мы, не знали, что сказать. Семья стояла и смотрела на всё это, нам на глаза ружьё попало, взяли его, обследовали, сказали:

— Руки твои ещё с тех пор, когда ты школьником был и на кузницу к нам приходил, искусные.

— Не жалуемся, — сказал.

— Но намерение, цель, говорю, какая, с какой целью мучился?

Ответил, как не отвечая:

— Это ты смотри о чём.

Мы сказали:

— В этом краю всё, что ни происходит, за каждый куст и камень мы ответственные.

— Ну ты у нас хозяин, известное дело, — сказал. — Но не только ты, ещё один по твоему примеру говорит: «Твой конь на моих полях не должен пастись». А? Куда от вас деться прикажешь?

— Законное и незаконное, тайное и открытое, — сказали мы, — свадьба и похороны, честное, бесчестное всё-всё, как встарь говорили, пусть даже мышь посикает, и то вода на нашу мельницу, так вот, всё, что жизнь для этого села, всё, что ещё одна лучина для этого очага, ещё один цветок, что дарит Цмакату жизнь и радость, пусть будет, пусть живёт, мы этого хотим. Но ты, кому ты, интересно, подрядился? Говоришь — для блага детей, но для собственного блага стараешься. Понять можно, мы сто поклонов готовы отбить перед твоей женой и детьми, в ножки им поклониться, ясно? Но вы ради этого лилипута чужого и безродного цмакутский дуб валите и за двадцатку отдаёте, ночью известь обжигаете, серебряного жеребенка цмакутских гор отдаёте в руки пьянчуге овитовцу, он разве пьёт, он даже пить не умеет — лакает, страну ваших детей продаёте за двадцать рублей и лишаете своего ребёнка завтра родины, а потом говорите: для детей своих стараемся.

Вроде бы слушал нас и понимал, потом отвёл глаза, в сторону куда-то уставился.

— Вот так, — подытожили мы, — ни способности понять, ни дисциплины, чтобы подчиняться, раз уж своего разума не хватает.

Он потянулся открыть бутылку. Мы поднялись, взяли со стола проволоку, поглядели на неё, отшвырнули и повернулись, чтобы уйти.

— Поели бы, вместе бы и пошли, хозяин, — сказал он, — я тоже в село собирался.

— Чтобы народ увидел, что закон и преступление рука об руку на люди выходят? — усмехнулись мы. Не бывать такому. Невозможно.

— Это уж ты преувеличиваешь, хозяин, — сказал он, — мы, конечно, не без греха, но себя ты сильно преувеличиваешь.

Посмотрели мы на него через плечо, сказали:

— Пожалуйста. За наши грехи мы себя с арены убираем, выходите теперь вы, посмотрим, который из вас просматривается со всех сторон и перед народом чист и безгрешен.

Старый проказник, осеповский старик нёс воду с родника, совсем уже ветхий был. Это уже не жизнь была — война с ней. Мы подросли, взяли у него ведро и громко, поскольку думали, что глухой и плохо слышит, поздоровались:

— Вечер добрый!

Он над своей беспомощностью рассмеялся.

— Айта, уж как-нибудь бы дотащил.

— Что от детей слышно, что пишут? — поинтересовались мы.

— Дети? — Он тут же забыл наш вопрос. — Ты почему кричишь, не глухой ведь я, — сказал, — и слышу хорошо, и вижу, и всё остальное в порядке.

— А что же тогда ведро наполовину пустое? — спросили мы.

Опечалился, в море печали окунулся.

— Э, сынок, — сказал, — мне и этого много. — Он вытирал глаза грязным платком, нас передёрнуло, нехорошо нам сделалось.

— Брось, — сказали мы ему, — что это у тебя? — Взяли у него из рук платок, откинули в сторону, вытащили из своего кармана новый, чистый, вчетверо сложенный белоснежный платок, дали ему. — Признал нас? — спросили.

— Тиграна внук, из шушановских парней, — сказал он.

— Э-э-э, — будто бы обиделись мы, — мы Ростом, забыл нас, Ростомом нас звать.

— Один чёрт, — сказал он, — безжалостный народ. От Салахлу с оторванной подковой ехал, подкова по ноге била, он скотину не пожалел, несчастная лошадь, уж так под ним мучилась.

Мы решили «разговорить» его.

— Ты про кого это? Про Ростом?

— Ты что? — обиделся он, — Ростом — вчерашний сосунок, про Тиграна я.

— А зачем это вы с ним, — продолжали мы, — в Салахлу ездили, по каким таким делам?

Озорство и блаженство проснулись в старом проказнике — засмеялся.

— Айта, — сказал он. — А теперь вон взял да и продал, — на минуту в нём блеснула бессильная старческая ярость, — кобылу мою продал.

— Кто? — спросили мы. — Ростом?

— Сын Шушан, внук Тиграна. Ростом — лесник, к горам отношения не имеет, его только лес, — сказал он, — принёс деньги, на, мол, «достаток свой старческий», по-тихому продал, а потом пришёл и говорит: «На что тебе лошадь, ты на ногах и то еле держишься».

Это нас ранило, но мы продолжали допытываться:

— Так ведь правду говорит, на что тебе лошадь?

В жизни своей мы не слышали ещё таких прекрасных слов:

— Айта, — сказал он, — не мне — вам нужно, а то что же это — прохожий смотрит и говорит: «Это разве горы? Развалины это, а не горы». А так посмотрит скажет: «Та гнедая лошадь, что пасётся, и жеребёнок рядом — это Цмакутские горы».

Мы на минуту поддались картине, нарисованной старым, и в глазах наших защипало, потом мы снова стали расспрашивать его:

— А что это за прохожий?

— Да я же сам гляжу и вижу пустые, голые горы, гляжу снова — красная кобыла с жеребёнком пасутся, что лучше, чтоб были или чтоб не были?

— Чтоб паслись, — сказали мы, — чтоб были.

— А как же будут, нет их уже. Внук Тиграна сдал на мясокомбинат.

— Ну хорошо, — сказали мы. — Раз ты так на коне себя видишь, готовься, значит, этой ночью сильный взрыв ожидается, ты из армии Ростом, осторожнее, не перепутай свои армии.

Засмеялся — лёгких не было — глухо, почти что беззвучно дал проглотить себя смеху.

— Айта, — сказал, — на кого же мы идём, на Америку или на Овит?

— Гражданская, — сказали мы, — гражданская, что такое Америка и Овит, что они такое, чтобы против них армию двигать.

Мы пронесли в дом его ведро, поставили на голый, непокрытый стол, сам он остался во дворе. Когда мы вернулись во двор, он ещё одну хорошую, но грустную вещь сказал, он сказал:

— Ну раз у тебя с господом такая связь, скажи, чтобы сначала стариков забирал, потом старух, а то на что это похоже моё состояние.

Чурбак на коряге телепал-телепал старый и не одолел, не смог расколоть; радуясь своей здоровой крепкой силе, мы дали ему поддержать наш пиджак, несколькими взмахами топора раскололи дрова, воткнули топор в корягу и сказали:

— А ты бы, как мусульмане, завёл себе двух-трёх жён, подумать надо было в своё время... теперь бы... не тужил. — Мы взяли у него свой пиджак и, чувствуя мощь нашего тяжёлого тела, набросили пиджак на плечи. — Или же... трое сыновей у тебя, с самого начала надо было определить — двое для города, один для деревни, и точка.

Старый проказник, притаившись, смотрел на нас из старческой беспомощной оболочки, восставая против предательской коры — стариковства, осмелел совсем, сказал:

— Хорошо тебе устраивать мои дела, а сам что же ошивался по чужим порогам?

Мы почувствовали предательство, но подумали, что это наша обострившаяся подозрительность, и напомнили ему:

— Мы же Ростом.

— Ну да, и я про Ростома говорю, — подтвердил он, — сын Тиграна. Ну, раз ты Ростом — что делает сын Ростом у дверей мураденцевского Лопоухого Вароса, поди приведи к себе. Лопоухий в город перебрался, на заводе работает, то есть не на самом заводе, завод свиней держит, он за этими свиньями смотрит, жена в сумасшедшем доме умерла, мучается парень один, семья-то большая.

Двинув его нашим мощным плечом, мы провели сапогом черту перед старым, сказали:

— Вот твоя граница, не выходи за неё, понял?

— Да где там, сынок, — сказал он, — зрение у меня хорошее, слышу ещё лучше, чем вижу, а многое и без того, чтобы видеть-слышать, понимаю, но, будь она неладна, старость, за черту свою стариковскую не могу переступить.

Центр села в своём обычном вечернем водовороте, присутствие великанши вызвало в ребятах нездоровое возбуждение, каждый думает, что он-то и есть её избранник и пожалуй что в силах одолеть её — по-животному здоровая и красивая, во рту всегдашняя жвачка (эта медленно перекатывающаяся во рту жвачка придаёт что-то тревожное её спокойному, безмятежному облику), прихватив с собой молодёжь со стройки, приехала сделать кой-какие покупки; они с ней на машине прибыли, и на бумажке у них всё, что им надо купить, записано, сколько чего; один из молодых — тот, кого в народе считают зачатый от нас; приехал за покупками и геолог на мотоцикле; толстомордый уродина избил полковничьего сына, под глазом у того синяк, он грустно сидит у памятника погибшим. Толстомордый со своим велосипедом наверху стоит, на балконе конторском в компании сына нашей сестры, они его гладят, как бьют, и бьют, как гладят, и смеются, толстомордый ничего, терпит, привычен, компания обеспечила себя пивом, пекарь потихоньку потягивает его, предлагает тому-этому, все отказываются, он говорит «ты сегодня не работал, так что правильно, что не пьёшь, а я свой план, братцы, выполнил», он предлагает выпить толстомордому, но сын нашей сестры, племянник наш, главный, значит, в этой компании, говорит пекарю «не порть ребёнка», и мальчишку хлопают по голове, смеются, закуривают, говорят «какой же

он тебе ребёнок, ему волю дай, он эту бабу живьём съест»; «эту бабу и я живьём съем, уж на что я хилый вроде», ухмыляется пекарь и пьёт пиво из горлышка, поглядывая на «эту бабу», великаншу то есть; нескольких местных старух продавец спрашивает «Что пришли? Шаль, что ты просила, привёз», а они ему: ты с горожанами кончай торговлю, мы тутошние, мы подождём, одна из старух, имея в виду от нас зачатого, говорит «эти тоже наши, вон тот сын мураденцевской невестки», и зачатый от нас смущается и настораживается, почтальон на мотоцикле кассира привозит, раздаёт почту — подаёт стоящему возле своего грузовика нашему племяннику одну-единственную газету, потом поднимается на второй этаж, даёт газеты другому нашему племяннику (центральные, республиканские, районные), этот складывает, съёт их за голенище. Наши газеты — самая большая в селе почта — отделяет, кладёт на подоконник возле телефона, сам заходит в магазин, бросает продавцу через головы газету, получает от него тем же манером пачку сигарет и коробок спичек; потом появляется кассир, поднимается по лестнице, забирается через открытое окно в контору, достаёт пачки денег, извлекает списки и объявляет: «Я готов, кто работал — заработанное, кто не работал — в долг, пожалуйста»; доярок пропускают вперёд, потом наш племянник, тот, что водитель, получает свою скромную зарплату и выражает недовольство, что тут же замечает наша сестра и — так, чтобы все видели, — съёт свою зарплату сыну: «Не умерла ещё твоя мать Шушан, держи, родной ты мой», — сын отказывается, но видно, что не прочь потихонечку, чтоб никто не видел, взять; комбайнёр Гранд спускается вниз, предлагает сыну полковника какие-то деньги, а этот никак в толк не возьмёт, за что это («Ты же сено с нами убирал, — объясняет комбайнёр, — три дня помогал мне»); другой наш племянник, тот, что подражает нам — в присутствии великанши он особенно распустил хвост, — приказывает сверху мальчонке «бери!»; толстомордый тоже при посредстве ребят за несколько дней получает, сомневающемуся кассиру ребята говорят «работал, вместо отца фактически он работал», и смеются, и смеются, и по башке толстомордого легонечко; великанша со списком покупок приваливается к нашему отпрыску, они вместе изучают список, и наш отпрыск говорит продавцу «макарон десять кило», на что почтальон откликается: «Ростомовского азербайджанца без макарон оставим», — это невинная шутка, но поди же ты, отпрыску нашему почему-то не нравится, высокомерно, холодно — и присутствие женщины подстёгивает — поворачивает голову к почтальону «как?», и почтальон, оробев, говорит неуверенно: «Да так, ничего, говорю, чабан с гор придёт, а макарон в магазине и нет»; «а», без улыбки, презрительно говорит наш отпрыск и повторяет «десять кило макарон», потом великанша снова придвигается вплотную к нашему отпрыску, и они снова изучают вместе свой список, и отпрыск наш изрекает: «Хлеба семь буханок»; его товарищи уносят, складывают покупки в машину. Наш племянник, тот, что подражает нашим повадкам, зарплату не получил, «как же это так получилось, братец?» говорит ему кассир, потом вспоминает и выдаёт ничтожную, за день или два, получку, наш племянник подбрасывает деньги на ладони, но настроение у него неплохое, нахально, вызывающе кладёт копейки на перила; хромая доярка тоже здесь, это с нею путался наш племянник, по её милости и слетел с работы, фактически это она отстранила его от должности, но не жалеет, как видно, будет повод, ещё раз напустится; геолог как-то не так повёл себя в отношении великанши, в чём именно его вина, он и сам не знает, но только отпрыск наш уже рвётся в драку, и великанша, которая какой-то незаметной женской силой своей удерживает его, покупает сейчас подарок от нас зачато, в магазине кожаный пояс есть широкий, хочет купить ему этот пояс. «Не — женский», — говорит продавец, но пояс подаёт, великанша берёт, примеряет его на нашего отпрыска и остаётся довольна; «Кончайте, — говорит геолог, — нашли время пояса-спины мерять»; и это ещё один повод для неприязни нашего отпрыска; «Давление твоё почему поднялось? — говорит геолог от нас зачато, и наш отпрыск коварно улыбается — решил, значит, что изобьёт его, великанша тем временем достаёт из кошелька деньги, рас-

плачивается за пояс и идёт из магазина, окликая на ходу нашего отпрыска: «Пошли, Рубо, идём».

Мы как раз прощались с осеповским старым, но отчего-то тянули, видно, хотелось нам ещё что-то сказать напоследок. На дороге, ведущей к площади, показались разряженные Альберт и его жена, согласная такая пара, обо всём в этом мире одного мнения, в меру красивая, в меру мягкая жена довольна мужем и его доблестями, и муж спокоен в отношении своих, одному ему известных достоинств. Муж рассказывает что-то такое, что вызвало улыбку жены, как молодые влюблённые, только что не под ручку, идут в центр села, к сельской площади.

— Смотри, смотри и учись, — сказали мы старому, — ноги свои у чужих порогов стёр, да и старухино сердце заодно.

Жена — на высоких каблуках, он подставил плечо, она оперлась, сняла туфлю, снова надела, потом хлопнула мужа по руке, по той самой, что, видно, вольно пошутила с её молодым и налитым телом, они поравнялись с нами, и муж отсюда углядел драку на сельской площади, мы-то её не видели, глаза его заблестели.

— Сейчас убьют друг друга, скорей, — сказал и побежал и, видно было, от вида драки возликовал.

Мы вышли на дорогу — за мужем жена бежала, возле стены конторской геолог с четверенек поднимался, великанша и дружки уводили нашего отпрыска, который и подчинялся им, но шёл-шёл и оглядывался и мог каждую минуту вырваться и побежать обратно.

— Ну ладно, поняли, — факт своего избиения геолог так и принял, то есть что его побии.

Среди людей движение произошло, сказали:

— Ростом пришёл, Ростом. — От нас зачатый оторвался от дружков, гордо и драчливо вскинулся.

— Какой такой ещё Ростом? — сказал он.

Мы подошли к нему.

— А вот такой. Ростом — это мы, милоч, — сказали, и народ смотрел на нас, окаменев, — с сорок пятого года, — сказали мы, — с осенних свадеб сорок пятого и до сих пор это село драк не знало, вы кто такие, милоч, что в это мирное село драку приносите.

Продавец вышел из магазина и смотрел на нас, потом сказал:

— Кончено, не видать больше этому селу выпивки.

Геолог завёл свой мотоцикл, сделал несколько кругов по площади, хотел уже уехать, но зачатый нами стоял у него на дороге. Мы рассердились, пошли, оттащили его в сторону, мотоцикл проехал, мы еле сдержались, чтоб не ударить этого молоденького бычка, кого в свою очередь удерживала великанша:

— Рубо!

— Всему этому причина ты, барышня, — сказали мы, — и драки эти, и незаконная стройка, и что народ в волнении — всё из-за тебя.

Полная смеха, жизни и обаяния, чертовка ещё нас на смех и подняла — странно так кивнула и сказала:

— Здрасьте, — и бычку этому: — Пошли, Рубо.

Перед женщинами мы, по всей вероятности, слабы, улыбнулись и, чтобы скрыть свою улыбку, отвернулись — весь народ, выстроившийся на длинном балконе старой конторы, молча наблюдал за нами. Какое-то подозрение заставило нас оглянуться, и наше впечатление от этого бычка было более чем неприятное. «До чего ж ты мерзкий, надо же», — подумали мы и направившись к балкону. Каменная лестница была нам готовым пьедесталом, мы встали и с высоты этой лестницы сказали властно:

— Люди вы или кто, что бы вам попеть-поплясать, что-нибудь интересное рассказать,

чтоб со стороны посмотреть да усладиться, чтоб сказать — вот он, армянский народ... только и знаете налакаться пива и стоять осоловелыми... сколько в том мучном куле света ровно столько его и в вас, в сердце вашем и в голове.

Они стояли во всю длину перил, молча слушали, прикусив языки, один только сын нашей сестры, тот, что манерам нашим подражал, презрительно фыркнул, но, видно, и на него подействовали наши слова, пекарь, тот вообще прятал от нас лицо, поскольку только он-то и был тут по-настоящему пьян, бутылка из его рук выпала.

— Лови, лови, ребята! — закричал он, а народ рассмеялся.

Мы поднялись на балкон, наш племянник, нам во всём подражавший, освободил нам место, но мы не стали расхаживать по балкону — мы прислонились к раскрытому окну конторы, взяли наши газеты, облокотились возле телефона о подоконник, развернули газеты, но читать не стали, мы их вообще не читали, в особенности центральные, поскольку порусски читать не умеем. Мы не смотрели на людей, но чувствовали, что все смотрят на нас, толстомордый прятался за людьми, пекарь пошёл вниз за своей бутылкой, жена Альберта увела продавца в магазин делать покупки. Остальные молча смотрели на нас, нам казалось, все нас стесняются, и вот уже мы сами себя зауважали, и в это самое время наш племянник сказал нам не то чтобы с открытой насмешкой, но с каким-то испытующим смехом:

— Газету вверх тормашками держишь, товарищ!

Мы смешались, поглядели на него поверх газеты и сказали:

— Во-первых, правильно держим, во-вторых, в прежние времена, если бы даже вверх тормашками, как ты говоришь, держали, ты бы не осмелился это заметить, не знаем, что это такое мы сделали, что авторитет наш в твоих глазах поколебался. Кто нашему коню морду связал?! Отвечайте! — закричали мы.

Сын нашей сестрицы, поскольку в этом деде не замешан был, наш гнев презрел и про-бормотал, так же испытующе смеясь:

— Твоего коня поймаеть разве?

— Кто из вас связал нашему коню морду проволокой? — повторили мы.

Наш племянник понял, что речь именно о нашей лошади, «коню?» переспросил он. Жена Альберта вышла из магазина, взяла у мужа денег, деньги он дал гордо, напоказ, она снова пошла в магазин и вышла уже с сумкой, все покупки были тщательно уложены, но они ведь должны были продемонстрировать всем свою хозяйственность, муж и жена переложили покупки, и опять жена с улыбкой пригрозила пальцем мужу — на его тайную хулиганскую выходку.

Среди народа поднялся смех. Мы было решили, что над нами смеются или же над Альбертом с женой, но они смеялись над пьяным пекарем — он нашёл свою разбитую бутылку и чертил осколком круг для игры в лахты, провёл круг, снял с себя ремень и бросил на землю, встал на него, и пожалуйста — один игрок в лахты готов. И прокричал:

— Что смеётесь? Не сказал разве человек — давайте играть в лахты.

Мы стояли наверху среди народа, скрестив руки на груди.

— Связали коню морду, — сказали мы, — а сами смеётесь как ни в чём не бывало. Нехорошо это.

Красивая молодая жена рядом, в руках покупки, настроение праздничное — Альберт сказал:

— А что ты всем нам руки связал — это хорошо?

— Относительно леса — да, — ответили мы.

— Иди ты со своим лесом!

— Ты на отъезд не настраивайся, — сказали мы.

— И не подумаю, — ответил.

— Мы ваши руки перед лесом связанные будем держать, — пообещали мы, — чтобы

внуки ваши потом увидели, что такое цветы и деревья.

Альберт облизывал губы, не мог же он при жене оставить нас без ответа, но не успел он ещё раскрыть рта, племянник наш, нам подражавший, крикнул на манер нашего названного отца, своего то есть деда:

— Та-ак твою бабу, лес — мой!

Смех поднялся. Мы топнули ногой.

— Совесть поимей, заткнись!

Вроде бы подействовало на людей наше возмущение, и в это время, волоча ноги, из магазина вышел старик сторож и при виде нас наивно, несведуще затынул:

— Айта, Ростом, эта п-проклятая к-курица опять яйца т-терять стала, не знаю, к-кошка к-какая т-таскает или не несётся б-больше.

Что за смех поднялся, господи, даже мы сами не смогли удержаться, улыбнулись, кивнули деду, сказали:

— Так и быть, обследуем твой курятник.

— Г-говору, — сказал, — если к-кошка т-таскает, п-пристрелил бы ты её...

Кивнули мы. Альберт проводил жену вниз, спустил ей сумки, жена ушла, а он подошёл к пьяному пекарю — тот всё ещё на ремне стоял, — подразнил, попрыгал вокруг, ремень из-под ног вытащил и ремнём его по спине.

...Так вспыхнула старая жестокая игра в лахты на площади, где стоял гордый памятник погибшим ребятам и возвышалось почти развалившееся здание старой конторы. Снова начертили круг, грузовик нашего племянника с площади убрали, зрителей у нас не было, всего три человека — великанша, тяжёлый на ухо сторож и толстомордый уродина, ко всем играм равнодушный. Разделились на команды, рядом с нами встал сын полковника, и сын нашей сестры, тот, что подражал нам, сделал ему замечание: «Нехорошо, товарищ, полковник, на сторону сильного становишься». Мальчик хотел было выйти из ряда, но мы взяли его за плечо и потянули обратно со словами: «Скажи, дядя мой силён, но будущее всё равно за тобой»; за своим новым ремнём (Альберт взял у него из рук и бросил на землю) пришёл наш отпрыск, за ним его дружки; сам Альберт встал к нам, от нас зачатый с дружками встал на сторону нам подражающего, пьяный пекарь на нашу сторону встал, почтальон на сторону нашего племянника, наш ряд завершился другим нашим племянником, а ряд нам подражающего пополнился завклубом — до прихода завклубом хотели втянуть в игру продавца или же толстомордого, продавец отмахивался; «Пока личной выгоды не будет, с места не сдвинешься», — сказали ему. «Не болтайте глупостей», — огрызнулся. Уродина, придерживая одной рукой велосипед, другой обхватил балку, продавец в сердцах дал ему подзатыльник. Мы разулись, отложили в сторону пиджак и сапоги и в шутку, но и не совсем безразлично пригласили в круг великаншу: «Барышня! И вы пожалуйте!» Чтобы сравнить команды, кто-то предложил вывести сына полковника, что очень бы обидело ребёнка, и на выручку пришёл завклубом: «Не работает, проклятый», — это он про телевизор, значит. «Ну и слава богу», — сказали мы. «Алла Пугачёва должна была петь», — сказал он с сожалением. «Твою Пугачёву!..» — ответили ему.

Команды были готовы к игре, бросили жребий, кому начинать. Нашей команде выпало обороняться. И тут сын нашей сестрицы, тот, что подражал нам, поиграл с нервами ребёнка и нашими тоже — взял свой ремень и вышел из круга.

— Я не играю. С чего бы это мне веселиться, зарплату повысили или орден дали?

До того мы разочаровались, посмотрели на себя и видим, стоим посреди круга в рубашке навывпуск, в белых носках, как дурак.

— Не по принуждению же, добровольная игра, — фыркнул он.

— От вас добровольной радости дождёшься разве, представления, красоты какой-нибудь то есть, чтобы мысль какую-нибудь выразить... — и мы отошли в сторону одеться.

— На себя посмотри, — засмеялся он, — на вид свой.

Посмотрели мы на себя и сказали:

— Наш вид нам не в новость.

— Ах, помереть мне за тебя, за неженку чистенького, — сказал он. — Ну ладно, пошутил я.

Когда все заняли свои места и бросили ремни на землю и вооружились своими рубашками, мы вошли в круг. Против нас оказался один из дружков нашего отпрыска, но сын нашей сестрицы приказал ему: «Иди сюда, оставь пока его», — они кружились над полковниковым сыном, но Альберт рядом с ним стоял, защищал его, да мальчик и сам неплохо защищался, коварное напряжённое молчание воцарилось вдруг — наш отпрыск объявился около нас, ни мы, ни он не знали точно, что мы отец и сын, но, поди же ты, все остальные были в этом уверены, оставив игру, следили за нашим поединком, он хотел было вытащить ремень из-под наших ног, мы взмахнули своей рубашкой, руку нашу с рубашкой схватить ему не удалось, и снова попытка, и снова неудача, общее молчание показалось нам подозрительным, поглядели мы через плечо, и парень чуть было не воспользовался этим. «А ну его, этого медведя», — это наш племянник про нас. К нашему отпрыску подоспел на помощь его дружок, и это растрогало нас, но вот другой их дружок пересёк круг и унёс ремень полковникова сына и все три друга, вооружённые ремнями, пошли на нас войной, тонкая спина мальчика отведала лахта, ремня то есть, мы сказали: «Вот она, деревня», — и заслонили его собой, «этого пока оставьте» сказал нам подражавший нам и распростёр на земле пекоря, отнял у него ремень, выскочил на середину круга и, обойдя брата (поскольку в ссоре были), пошёл на нас, отогнал горожан, несколько раз огрел нас ремнём по спине и по ногам, но ремень не удержал, мы выхватили у него ремень, он переключился на Альберта, отнятый у него ремень мы через мальчика переправили Альберту, тут наш племянник получил от мальчика удар, увернулся и отскочил и ударился о нашу тяжёлую задницу, мы на четвереньках выскочили за черту, ремень, который мы защищали, унесли, тот, что нам подражал, унёс, тут же он стегнул нас и сказал, намекая на памятник, «твои ровесники бронзовым памятником стали», мы отступили в круг и ответили ему: «Война когда началась, мы меньше этого ребёнка были». — «Как бы не так, к какой невестке или девушке мы тогда ни подъехали, все нам «а мы Ростомовы» ответили», — снова стегнул нас что было силы. «Чёртов племяш, — сказали мы, — держись теперь», — и попытались достать его ногой, а он нас за ногу хватать и вытащил из круга, «налетай, ребята» заорал. Мы высвободились, ушли обратно в круг, пошли на помощь племяннику-водителю. «Тебе одну вещь хочу сказать», — сказал нам племянник-водитель, но мы, разгорячённые, не обратили на это внимания, и опять та же предательская тишина в воздухе повисла, потом вскрики, стоны, мычание, свист ремня в воздухе, шарканье ног. Нам удалось перехватить ремень у нашего отпрыска, рядом с нами сын полковника, как кошка, повис на ремне и не отдавал его...

...потом уже на земле ремней не осталось — все в руках, и целую вечность мы, забывшись, хлестали друг друга, и над старым развалившимся селом стояли наши крики и возгласы.

Когда, усталые и счастливые, мы одевались, мы вдруг увидели так называемого руководителя хозяйств: шут овитовский приехал на машине и смотрит, поскольку руководство, но на самом деле попрошайка — попрошайка по сущности своей и потому, что пришёл с очередной просьбой-вымогательством. Нам показалось, это сон, привиделось нам это, и мы продолжали одеваться. Но не привиделось — сильно уважая свой полуторавершковый рост, он с этого своего полуторавершкового роста закинул руку, обнял нам подражающего (и этот должен был приладиться, приспособить свой длинный рост под руководство) и пошёл вместе с ним к нам. Мы надели один сапог, другая нога в белом носке; как у волка, завидевшего добычу, глаза у нас зажглись, мы плюнули — тьфу! — и, чтобы не быть при-

нуждѣнными находиться рядом с ним хоть минуту, взяли другой сапог и отошли. Он погрозил нам вслед пальцем, мы оглянулись и снова плюнули. И нагнулись, чтобы натянуть сапог.

— Пришѣл сказать тебе спасибо за то, что помог сено собрать, — сказал, — а ты плюешься, на что это похоже?

— Сено собирать не мы помогли, и ты сюда по другому делу явился, — ответили мы, — вот и занимайся своими делами.

Всѣ ещё тыча в нас пальцем, он, впрочем, тут же занялся этим своим «делом» пошутовски серьёзно, то есть, как только шуты могут быть серьёзны, сыну нашей сестрицы, племяннику нашему, тому, что любил нам подражать, так впрямую и сказал:

— Барашек нужен для одного дела, не знаешь, у кого найдѣтся?

Наш племянник не знал, закусил губу, подумал, хотел было увернуться:

— У меня самого нет, Альберта, может, спросить? Альберт!

— А дело, может, и тебя касается, — сказал шут, — что ж так сразу «нет» говоришь. — И, как начальник и одновременно свой, домашний человек, положил руку ему на грудь.

С нашего лица яд струился. Мы вошли в дом, выключили телевизор, свет переключили на меньшую яркость, больше ничего такого праздничного, такого, чтобы погасить-притушить, не нашли и плюхнулись перед миской с обедом, тарелку тут же брезгливо отодвинули.

— Может быть, — сказали мы своей супруге, — двери затворяешь и пляшешь одна на радостях, а?

Испуганная не на шутку, бедняга хотела что-то сказать.

— Лошадь... — пролепетала.

— Какая ещё лошадь? — оборвали мы. — Не лошадь, а барышня, взяла в руки платочек и пошла плясать «кочари», дрянь бессловесная, если знала, что чрево своё загубила, как смела ты порог этого дома переступить? Ростом, он совестливый, каждой отвергнутой на защиту встанет, так, что ли? Или Ростом не достоин продолжаться, ему и неродящей за глаза хватит? И как мы сейчас отвратительны, так и ты каждый день нам противна была, твой проступок каждую минуту перед нами.

Заплакала.

— С каким сердцем, с какой совестью ты смотришь нам в глаза? И не отворачиваешься ведь, — сказали мы, и она повернулась, маленькая и тщедушная, как послушный ребёнок, ушла, забилась в угол. Мы слышали, как она плачет. — Чтоб голоса твоего не слышали! — зарычали мы, и она проглотила голос, только плечи её вздрагивали. — Вот-вот, — сказали мы, — фото наше повесишь и каждый день будешь молиться. Сами чтоб преступниками были, а язык бы себе Ростом прикусывал, и поглядите-ка, по чьей милости — этой ничтожной...

Спали мы или нет, не знаем, проснулись и видим, приткнулась на краешке тахты, подогнула под себя ноги и заснула, руки на деревянной перекладине, голова на руках. Свернулась в калачик, съѣжилась, ну прямо дитя малое. Мы взяли свою одежду под мышку, тихонечко выбрались из дому. На веранде оделись, взяли сапоги, спустились в сад, в саду натянули сапоги на ноги и вышли на дорогу. Спокойная, мирная лунная ночь была. Дома смотрели тѣмными глазницами, и мы поѣжились и перекрестили себе лицо. Мы уже выходили из нашего сада, когда почувствовали, что, прячась за деревьями, наша супруга следует за нами. Мы остановились, остановилась и она, мы пошли дальше, и она перебежала из тени в тень. Остановились мы и, не оглядываясь, прошипели:

— Не привидение ты, человек, сгинь! Где ты, там опасность для нас.

Это была тяжёлая, прямо-таки убийственная, вызывающая уважение работа: здоровенное бревно Альберт погрузил на считай что самодельный, жалкий прицеп и тащил на грузовике с молочной цистерной, на молоковозе, короче говоря. Прицеп под этим бревном прямо на глазах разносило в щепки, двигатель вот-вот должен был взорваться к чёртовой бабушке, а сам Альберт с машиной вместе то отдавал концы, то воскресал. «Ах ты, мой ладный», — говорил он тягачу, совсем как в старину волов упряжных хвалили. Стоя одной ногой на подножке, он почти что и не влезал в кабину и всё взглядывал назад по верх цистерны, малейший камушек становился препятствием, и он то и дело соскакивал с подножки, освобождал при свете фар дорогу от камней, шёл, проверял, не сорвалось ли бревно, и возвращался, снова прижимался к баранке и подножке; вот и первые дома села, с тёмными, неосвещёнными окнами, сиротливые, молчаливые дома. Он снова сошёл с подножки, вытащил камень из-под колеса прицепа и помочился, стоя спиной к машине.

— Господи, — прошептал он, — хоть бы один помощник был.

Потом вернулся и обнаружил нас, нашу то есть персону, восседающую в кабине — сидим себе как ни в чём не бывало, смотрим прямо перед собой, на него и не глядим. Рассмеялся обречённо, сказал:

— Сон твой — я досматривал.

Не ответили мы ему на это ничего, бровью даже не повели. Поднялся, сел за баранку, замер, сильно был обескуражен, очень сильно.

— Трогай, — сказали мы ему.

А он, видать, и не слышал нас, соображал, верно, как выкрутиться, спросил только:

— Что?

— Ты как же это сумел погрузить-то сам?

— Сумел вот, — отозвался, но вряд ли это он нам отвечал.

— Или помогал кто?

И опять он нам не ответил, медленно повернулся к нам, словно очнулся, сказал:

— Ох и устал же я от тебя, хозяин.

— Поезжай, — сказали мы, — валяй.

У развилки мы намеренно промолчали, специально не выказали никакого отношения, а уж потом, когда проехали развилку, сказали ему:

— Ты что же это налево не свернул? Может, мы и разрешили бы, кто знает.

Подавлен был, видимо, происшедшим, сказал:

— Дождёшься от тебя такой милости, как же.

Перед спуском притормозил.

— Выходи, хозяин, тормоза барахлят, скатимся в овраг, край наш лишится распрекрасного твоего облика.

На что мы ответили:

— Ошибаешься, ежели думаешь, что жизнь наша нам в радость.

Рассеянно, словно бы примериваясь к мысли о том, чтобы убить нас, принимая и отвергая эту мысль, улыбнулся, сказал:

— Выходи, выходи.

Но мы ни с места. Решился он, видно, на что-то, буркнул:

— Дурья башка!..

Это не спуск был, а смерть сама: метр катишься и тормоз, катишься — тормоз; мы с ним оба побывали в аду и вернулись за это время. Миновав спуск, мы сказали:

— Край этот не Ростом, а твой, твоим детям здесь жить, Ростом же со своей жизнью вместе кончится, у Ростом нет продолжения.

Спокойно так, негромким голосом говорили, со стороны можно было подумать — беседуют люди, кто бы сказал, что каждый из нас считай что ножик раскрытый в руках держит.

Он нам-де:

— Прошло твоё время, когда безмужних женщин по углам прижимал, гляди-ка, святым заделался.

— От своих дел не отказываемся, было и такое, — сказали мы на это.

— Ну а теперь вот наше время пришло, — ввернул он.

— Тебе в этом нет нужды, тебе жена трёх парней да дочку подарила, — ответили мы, — а наша нам — шиш, но мы не могли взять да и вытолкать её на улицу.

Доехали до центра села. Минуту-другую смотрел на нас, взывая к сочувствию нашему. Но мы ему своего сочувствия не выказали, то есть он не должен был знать, жалеет ли его или нет. Мы выбрались из машины, тяжело так, по-нашему прикрыли веки и показали ему рукой, как подвести молоковоз к старой конторе на площади. Он на нашу жалость особенно и не рассчитывал.

— Эх, — хмыкнул он, — балда ты и есть!

Сказал так и повернул к площади. Громадное такое бревно всё ехало и ехало перед нашими глазами, всё не кончалось.

Глухого сторожа мы как оставили вечером облокотившегося о перила, в таком виде и обнаружили теперь. Сторож сказал:

— Слушти, это ж того, кому известь шла, ч-ч-чево сюда привезли?

— Привезли вот под твою охрану.

— Эт-т-то что же, снова по-старому с-собираться будем на селе?

Ах ты, господи, по-старому — грустно нам сделалось, невмочь.

А этот вышел из кабины и видит, как мы бревно разглядываем.

— Слушай, в самом деле, ты как же погрузил-то его, не пойму, — сказали мы.

А он нашего суда ждал.

— Дальше-то что?

— Будто я сам знаю. — И впрямь нам и самим невдомёк было, что делать дальше.

— Жалко, конечно, но что уж тут скажешь, а хозяин? — он вроде бы извинения таким образом просил.

— Иди, — сказали мы и сами первыми взошли на балкон.

Он последовал за нами, толкнули мы створки окна, влезли в помещение, зажгли свет.

— Иди, — сказали мы.

Лёгкий, ловкий, он вскочил на подоконник и спрыгнул, но не сразу — огляделся, как кошка, обследовал всё, и даже в этом простом движении был виден вор. Наша старая контора, святилище наше — на стене стенгазета, Доска почёта, портреты членов бюро горкома.

Пришёл сторож, заглянул в окно.

— Вы что же, собрание проводить будете? Ночью?

Притворили мы окно и говорим:

— Гляди, хорошенько только гляди.

А он мне:

— Ну?..

— С тридцатого года и по сей день, — говорю, — воровства в этом селе не случалось. — Мы сели на старое председательское место. — Хотя, — поправились мы, — извините, один всё же случай был. Меликенц Саро в войну увёл быка у кочевников, спрятал в лесу, быка по верёвке потом признали, и бедный парень угодил в штрафную роту, да так и пропал бедный ребёнок, то есть, хочу сказать, лет шестнадцать-семнадцать ему было. С тридцатого года по сей день только этот один случай и был. Вот и суди — и те люди были, людьми звались, и мы с тобой. — Помолчали мы немного и говорим: — По вечерам, когда собирались, отец твой там вон сидел, с Андро рядом. Тут Авак садился, дальше оба Акопа шли, Ашхарбек, Симон, Гариб...

— А на твоём кто сидел месте?

— Не скажем, что очень уж хороши, но места этого пока что только мы и достойны. Пусть придёт, кто подостойнее нас окажется, встанем, место ему уступим.

— Ой, хозяин, — надоело ему, видно, всё это, — знал бы ты, какой я усталый. Кончай давай.

Поднялись мы с нашего председательского места, выключили свет, кивнули — выходи, дескать, и сами вышли, пустив его вперёд, прошли к подвалу, достали из-под крылечка замок, попытались открыть ржавый, висячий, сто лет как запертый замок.

— Руки у тебя хваткие, ну-ка отопри. Арестуем тебя, — объявили мы ему, — должен же быть в этом краю порядок когда-нибудь.

Словом, вышибли мы эту дверь плечом и сами вместе с дверью влетели в подвал, поднялись с земли, отряхнулись, но он над нашим конфузом не смеялся, нет, смотрел на нас с отвращением, скучающе. И мы в который уже раз сказали:

— А всё же как ты его к машине-то приладил, бревно?

Он под бревно временные подпорки такие приторочил, чтобы не скатывалось, мы топор принесли и подпорки эти с мест посшибали.

— Будь человеком, — сказал он, — слышишь?

Но на нас уже нашло-накатило, мы топор в сторону отшвырнули, нагнулись, что-то там отвинтили и спустили шину.

— Человеком, говорят, будь, понял? — донеслось до нашего слуха. — Лес не твоя собственность.

Мы оглянулись и увидели через плечо, как он поднимает с земли топор, вроде бы, показалось нам, мы видим и супруги нашей лик — прикусив пальцы, шла к нам, мы, пригнувшись, перешли к другому колесу, с накренившегося прицепа бревно то ли соскальзывало, то ли валилось... Дальше не помним уже, что было.

На каменном столе в часовенке, запелёнатый в чёрную шаль — это мы, значит, нас потом усыновивший человек в бурке наклоняется, чтобы поднять этот свёрток с ребёнком, нас то есть, а мы — уже в нынешнем нашем облики — тяжестью своей давим на отца нашего названного, он никак нас на лошадь не посадит и, бедняга, обречённо так смеётся и говорит: «Всегда ты был бременем неподъёмным, от рождения...»

Мы тяжестью были неподъёмною сейчас для нашей сухонькой, как хворостинка, супруги и такого же тощего Альберта.

— Чт-т-то это, топором по голове стукнуло? — тащится им на помощь сторож.

Задыхаясь под нашей тяжестью, Альберт втащил нашу особу в кабину, а мы то ли в сознании, то ли нет, супруга наша устроилась рядом, поддерживая бездыханное наше тело, а Альберт вышел, отцепил прицеп от машины, дальновидно забросил топор подальше, в клумбу возле памятника, пришёл, сел за руль, наше тяжёлое, как куль, тело давило на них обоих, но, поди же ты, нам казалось, что теснят нас самих, нашу особу...

— Сам виноват, — слышали мы голос Альберта — он думает, он один на свете.

— Ничего больше у него в этой жизни нет, конь один да лес, — это голос нашей супруги.

— Для чего же я тут живу, если даже лесом не могу пользоваться? — сердится голос Альберта.

На месте памятника погибшим ребятам, сдаётся нам, теперь мы стоим, будто бы из бронзы мы, мы стонем, пытаемся вырваться из металлического плена и не можем и будто бы, сдавшись, окончательно делаемся памятником и слышим, как другие о нас разговаривают.

— Видит ведь, из уважения к нему потихонечку действую, ну так и ты меня уважь, сделай вид, что не замечаешь. А то ночью в лесу караулит, — сетует голос Альберта.

— Не может он, — возражает голос нашей супруги, — не в состоянии иначе.

— А не в состоянии, тогда получай вот, — говорит голос Альберта. — Я что, для собственного удовольствия спину перед богачом гну, — не успокаивается голос Альберта, — какой сукин сын захочет землю свою разорить, концы с концами еле свожу, а этот деньги прямо в глотку сунёт, что ж, отказываться, что ли, ну откажусь я, желающих знаешь сколько найдётся?

Наш мрачный гордый памятник равнодушен к их жалким жалобам. Наша супруга будто бы возложила цветы на наш постамент и глухо потерянно плачет. Голос Альберта удивляется:

— Вроде бы очухался?

Наши затуманенные глаза открылись, поглядели тяжело и бессмысленно и снова закрылись, и к их горестям и печали мы были столь же безразличны, что и наш памятник.

— Если проснётся и увидит, что в Овите, беда. Скажем, что больничная машина сюда доставила, — говорит голос нашей супруги.

— Жизнь всем дорога, ещё и спасибо скажет, что привезли, — усмехается голос Альберта.

— Овит — особое обстоятельство, милый, — не соглашается голос нашей супруги, — он и в Ереване бывал, и в Тифлисе, а тут пешком час ходьбы всего, ни разу в Овит не ступил ногой.

Будто бы мы спелёнатый грудной младенец, хотим вырваться из пелёнок и не можем. Почувствовали, что нас ухватили под мышки и уложили и голоса нашей супруги и Альберта сменились голосами двух других женщин и мужским.

— Вуй, чтоб тебя, тяжёлый какой, — ахает женский голос.

— А когда замуж за него хотела, не знала, что тяжёлый? — отвечает другой женский голос.

— Помогай, чёртов сын, что растерялся, — произнёс мужской голос, — другим ты лань поставляешь, а доктору, значит, этого борова привёз?

С нас стащили нашу сорочку, мы лежали теперь в приёмной на носилках в белой нижней рубашке, в галифе и сапогах. Мы открыли глаза, но ничего не понимали. Сёстры больничные стаскивали с нас сапоги — сапоги не снимались.

— Открыл глаза, товарищ Степанян, — сказали сёстры, — смотрит на нас.

Врач, полулёжа на диване:

— Не имеет значения.

Или положение наше не было тяжёлым, или врач был равнодушен к нашей особе, не обращая на нас внимания, напустился на нашего несчастного односельчанина:

— Когда обещание даёшь, почему не сдерживаешь слово, товарищ дорогой?

Бедный парень стоял в дверях как жалкий проситель.

— Сколько можем, столько и делаем, но ведь и наше положение не из лёгких, доктор.

— Чем ты его, топором? — поднялся с дивана врач и подошёл к нам, потрогал глаза, за веки потянул. — Топором, значит? — Бедный парень прямо дух испускал, а этот, значит, спокойно своим делом занимался, разрезал нам сапоги по голенищу (снять их с нас предоставил женщинам), галифе нас теснили, тоже полоснул ножом и усмехнулся, поиздевался над нами: — Как надел во времена товарища Сталина, так и не снимал до сегодняшнего дня. Так топором, говоришь? Ну ладно, — врач это был, — вы стойте так, помалкивайте, потом он сам про всё расскажет, знаете ведь, покойники всё слышат и подробно про всё милиции докладывают.

Будто бы мы плыли в реке, в чистой полноводной реке, в белых этих больничных одеждах плыли, слышали глупую болтовню доктора и плыли по течению, и будто на чистых травах и цветах на берегу много-много белых рубашек расстелено, дочка Маро бежит вниз к реке, мы плывём, а она бежит. Мы понимали, что это сон и бред, что мы валяемся, как

бездыханный, неживой груз, в приёмной больницы и нам хотят сделать укол. Потом нам заполняли больничную карту.

— Ростом, — отвечала наша супруга. — Саргсян, — говорила. — Саргсян Ростом Тигранович... Двадцать седьмого года.

Доктор готовил шприц.

— Это как же Саргсян, — сказал он, — ведь он ватиненцевского Егора сын, Ватинян, значит.

— Нет, родной, — мягко возразила наша супруга, — Саргсян, а если не Саргсян, тогда Мамиконян. Ростом Мамиконян. Эта земля, говорят, в старину князьям Мамиконянам принадлежала. Он подписывается Мамиконян.

— Гляди-ка, — усмехнулся доктор. — От ватиненцевского Егора князья Мамиконяны рождаются.

«Эта сорока болтливая сейчас нас убьёт, — сердились мы про себя, пытались встать, но не могли. — Этот дурак, этот доктор проворонит нас, и вина на несчастного Альберта падёт».

— Доктор, в себя приходит, — сказала медсестра.

— Знаете, где он сейчас, нашёл себе чистые воды и плавает, — опять доктор говорил. — Куда, братец?

Руку нашу протёрли спиртом, доктор готовился сделать укол, но тут умная и опытная пожилая сестра, та, что нашу карту заполняла, сказала:

— Доктор, может, у него болезнь какая-нибудь имеется?

— До сегодняшнего дня нигде никогда у него не болело, — сказала наша супруга.

— У Ватиненцев падучая бывает, доктор, — сказала та же сестра.

— Покойник, случайно, падучей не страдал? — спрашивавший был доктор.

Наша супруга сказала «нет». Альберт сказал «бывает». Наша супруга пояснила:

— По поводу слияния сёл, на этой почве один раз случилось, то есть когда хотели объединить сёла, а он был против.

Доктор посмотрел на Альберта, получил положительный кивок и, бедный доктор, присвистнул и замер.

— Чёрт бы вас побрал, могли угробить человека.

Наше отсутствие опечалило, пожалуй, только сына полковника, для остальных, были мы или нет, всё равно, скорее даже получили свободу — отнимая друг у дружки бутылку, стоят перед дверьми магазина, пьют, дурацкие шутки шутят и смеются. Всё это мальчику противно, мальчик стоит внизу, возле бревна, которое мы отобрали у Альберта, и еле сдерживает слёзы, местные бьют по голове урода с велосипедом, смеются: «Влюбился в буйволицу». — «Влюбился, парень?» — «А ежели пойдёт за тебя, согласится, что делать будешь?» — «Брось, не связывайся, ростомовский парень из тебя лепёшку сделает». Советуют, бьют по голове и смеются. Совершенно спокойно, без ревности воспринимают появление техники на своей земле — вертолёт геологов переносит из оврага известь в металлическом баке, доставляет на стройку возле старой мельницы. И не скажет ведь никто: это что же здесь, братцы, делается; наоборот — «известь подоспела!», «сколько тонн будет?». И только продавец с далёкой тоской упоминает наше имя: «Эх, Ростом, где ты сейчас, увидел бы, сердце твоё тут же и разорвалось бы». Его тут же шпыняют со злостью (нам подражающий племянник наш). В вертолёте они даже углядывают для себя некоторую пользу — Альберт хлопает себя по лбу, и несётся к площади, и машет вертолёту шапкой и пиджаком, дескать, в тебе тут нужда есть.

Вертолёт опускается в удобном месте, лётчик и Альберт обвязывают бревно тросами, к бревну ещё и авоську с водкой, хлебом, сыром и конфетами прилаживают и не видят, что

есть тут один смертный, ненавидящий их образ и подобие всей чистой своей детской душой. Сын полковника сидит на бревне и не согласен, не согласен, не хочет, чтобы они такими несамолюбивыми были. После нас ведь самым уважаемым в селе человеком сын нашей сестры должен быть, племянник наш, но он-то и приводит лётчика и показывает, что надо делать, лётчик смотрит, примеряется, говорит «можно», сын нашей сестры открывает бутылку водки, в продавце уже укору совести возникли, говорит со своего балкона: «Айта, а памятник?» — но памятник ничего не говорит ни лётчику, ни потомкам погибших, лётчик смотрит и успокаивает его: «Памятник не помешает». Лётчик идёт за вертолётom, чтобы повиснуть над нашим старым центром, люди встают, пустую бутылку, как самому младшему, суют в руки сыну полковника и, не понимая, что оскорбляют его, велят отойти, сами становятся по оба конца бревна (Альберт, сын нашей сестры и ещё двое) и ждут, когда покажется вертолёт. Рядом с этим лёгким предательством, с этим отсутствием достоинства мальчик накаляется-накаляется и вдруг изо всех сил бьёт бутылкой о бревно. Мог ударить и не по бревну, каждого и всех мог ударить — бутылка разбивается вдребезги. «С ума спятил?» — говорят ему. Сын нашей сестры понимает, что всё это не просто так, не на пустом месте парень взбесился, что тут другие, поглубже корни имеются, подходит к мальчику и тяжёлую, жёсткую пощёчину ему отвешивает. «А ну брысь отсюда! Чтоб духу твоего больше на этой земле не было!» Мальчик поднимается, подбирает камень с земли, хочет ударить, но совсем уже одиноким и отверженным себя чувствует и уходит плача. С жалкой ненавистью оборачивается и уходит. «Зачем сироту ударил, айта?» — говорит сверху продавец и слышит в ответ: «Сирота он, как же, а министр-полковник чей отец, в таком случае, наш, что ли?» «А ну тебя, — безвольно возражает продавец. — Раз с городом не мирится и здесь никого нет, самая настоящая сирота и есть».

Вертолёт уже прилетел и замер, уже опускает крюк. Они смотрят и приходят в восторг, смотрят и сами своего поступка пугаются, присобачивают крюк и бегут, прячутся под балконом, а вертолёт отрывает бревно от земли, поднимает его в воздух, и тяжёлое, как бред, бревно плывёт по небу над старым селом. С балкона, восхищённый, спускается продавец, из-под балкона, удивлённые и довольные, выходят Альберт и наш племянник, но больше всех восхищён урод, взял свой велосипед, задрал голову и бежит за вертолётom, сердце прямо выпрыгивает из груди.

На нас уже заботу израсходовал, и, как собака или, скажем, овца принадлежит чабану, точно так же, по его, доктора, мнению, мы принадлежим ему. Мы принадлежали ему, он радовался нам и покровительственно поучал-попрекал. Этот его тон сердил нас, но мы себя сдерживали до тех пор, пока перед нашими глазами не начало разворачиваться одно жестокое событие. В Овите, в этой так называемой деревне-городе, трактор и бульдозер въехали на противоположную поляну и поползли к одинокой груше, потом бульдозер разрывал корни этой груши, а трактор зацепил тросом и тянул ствол — грушу выкорчёвывали.

Доктор и мы сидели под навесом во дворе больницы, он, значит, врач, большой властитель маленького царства, а мы житель этого царства, его подданный, эти медсёстры в меру своей молодости и вольности поведения — немножко его наложницы. Доктор не знал, куда приткнуть свои длинные ноги, но это неудобство вскоре выправилось — одна из медсестёр принесла скамеечку, подставила ему под ноги, что этот оболтус принял без изъявления благодарности, словно так оно и полагалось.

— Гоген, — изрекал он. — Гоген, откуда идём, кто мы, куда направляемся... Гоген, откуда идём, кто мы, куда направляемся... а? — скажет и посмотрит на нас изучающе, он словно припечатал свой насмешливый взгляд к нашему лицу, мы прямо не знали, куда деться от этого его взгляда.

— Вели выдать нам одежду, — сказали мы.

— Сиди, — ответил, — беседуем.

Мы хотели было встать, но он усадил нас обратно.

— Годы студенчества, шесть лет, особенно первые два-три года, а?.. — продолжал он. Это был пока ещё невинный разговор, но мы не очень-то ему доверяли, не знали, к чему это он. Мы сказали:

— В войну от школы отстали, остались недоученными, так что простите нам нашу неграмотность.

— Неправду говоришь, твои одноклассники после вашей семилетки пришли доучиваться в нашу десятилетку, — так вот куда он гнул.

Посмотрели мы на него, сказали резко:

— А мы не пришли.

— Про то и разговор, — усмехнулся он. — А сколько денег нужно в институте, сколько одежды, сколько всего... определяются твои возможности и будущее, дочка такого-то министра, что за будущность она тебе гарантирует, кем ты станешь в итоге... но откуда у Левана столько денег и столько ума?

— У твоего отца, что ли? — спросили мы.

— У отца моего — у Левана. Как ты всё это ему разъяснишь? Сколько ему надо было, столько он понял, то есть что его сын станет профессором. Как быть, говорю? А у меня на всё про всё одни брюки и одна стипендия. Где комната твоя в общежитии, всем известно. Но никто не знает, что ты спрятался в закрытом на воскресенье институте, что сидишь в запертом на замок женском туалете и думаешь, что Леван в войну три года в этом городе служил и от других женщин небось брата-сестру тебе выслужил, интересно, кто среди столького народа мой брат, его дом среди стольких домов, интересно, который?..

Полненькая насурьмлённая медсестра пришла, поправила скамеечку под ногами врача, и в том, как она подошла-отошла, было что-то вкрадчивое, кощачье.

— Гляди-ка, — усмехнулся доктор, — мало ей семьи и мужа, ещё что-то урвать хочет, другие радости на уме, про славу твою небось наслышана.

Гнусные действия с грушей приковали наше внимание к поляне, что напротив.

— Плюнь, — сказал доктор, — тем более что не на твоей территории, начальство, брат твой по крови, доложит, что, дескать, земельно-строительные работы произведены.

— Одежду мою прикажи, чтобы выдали, доктор, сказали мы, — пойдём отсюда.

— Значит, не чувствуешь с ним родства, — сказал, или, наоборот, чувствуешь и сильно скрываешь?

Промолчали мы, не ответили.

— Родства, помощи, чтоб вместе против врага встать, не хочется разве?

— Красного переходящего знамени хозяйство развалил, цветущее хозяйство в выгон для коров превратил, — сказали мы.

— Ты когда здесь, в Овите, в школу не пошёл, ты тогда не знал ещё, что он Красного переходящего знамени хозяйство потом развалит. Вот слушай, что я тебе расскажу, — сказал, — Леван из армии когда вернулся, вместо того чтобы броситься к нему на шею, я нагнулся, камень поднял, камнем в него замахивался — от тоски. Говорю, может, и у тебя что-то такое, а? Хотя ты у нас особая порода.

— Дальше? — спросили мы грубо. — Вышел ты тогда из женского туалета или всё ещё там сидишь?

Медсестра принесла, поставила перед доктором кофе, вытащила из своего кармана зажигалку, зажгла, поднесла к докторовой сигарете, и, несмотря на то, что мы в жизни нашей кофе не пили и не будем пить, это равнодушие, то есть что стояла к нам спиной, не знаю как нас взбесило. «Вы когда в наш дом в гости приходите, — сказали мы ей мысленно, — мы первым делом отводим собаку, в дальнем углу сада привязываем, до обеда дверь ку-

рятника не открываем, чтобы под окном не кудахтали и сон ваш не нарушали, супругу нашу с полотенцем через плечо и с мылом в руках возле умывальника ставим, чтобы вам, гостям, на руки полить».

Дошло до него или нет, крикнул через плечо:

— Кофе принесите! Почему только одна чашка?

— Потому что одного человека видят, — объяснили мы, — не станем пить, выльем, не беспокойтесь попусту, мы кофе не пьём и прочего разврата не допускаем.

— Что кофе пить — разврат, это мы поняли, а прочее что?

— Дай мне одежду, а то неприятные вещи услышишь. Ты разве не овитовец? — Не сказали бы, что врач так уж нас раздражал, просто-напросто мы не могли оставаться равнодушными и глухими к грохоту бульдозера и трактора, не могли быть слепыми и не видеть тяжкие мучения дерева, которое накренилось разом, и на слова доктора «да-а-а, не скотина, чтобы убежать, бессловесное дерево», мы со злой усмешкой прошептали «а вы динамитом, заложите побольше динамиту и...»; следующие слова врача были сродни нашим мыслям и чувствам:

— Было и нет, и картина изменилась, сегодняшнего рождения овитовец скажет — никакой такой груши никогда здесь не было.

Бульдозер и трактор сделали своё дело, потом водители договорились между собой и вместе потащили дерево.

— Дом наш оставили беспризорным, вели дать мне мою одежду, доктор. — И ещё одно попросили: — Прикажи из этого села нас в закрытой машине вывезти, просим.

— Беседуем же, — сказал. — Ты расскажи-ка лучше про ту историю с невесткой, расскажешь — и бюллетень тебе напишу, и машину подам.

Мы с неприязнью покосились на него.

— Я в здравотделе рассказывал, все подыхали со смеху.

— Что ты им там рассказывал? — спросили мы.

— А ты потом скажешь, как на деле было, даёшь мужское слово?

Мы кивнули.

— Жила-была одна невестка, — начал он, — глуповатая немножко, из честных девушек. Невестка эта приглянулась нашему Ростому, дай-ка, говорит себе, оседлаем её. Находит он пустую медвежью берлогу, дыру такую, приглашает невестку, та соглашается, но говорит — ты первый полезай, а уж после я... Двухлетняя мечта осуществляется, можно представить, как наш Ростом туда заходит, невестка снаружи спрашивает: «Мне сейчас прийти?» А когда же, мол, сколько лет этой минуте ждали. Невестка: «Да зачем мне туда идти, что я буду там делать?» — «То есть как это?!» — кричит наш Ростом; а у входа в берлогу громадный кусок мха валялся, колючий и сухой, невестка заткнула берлогу тем мхом и ушла, а на следующий день на селе при всём честном народе — доброе утро, мол, ну как вылез ты из той берлоги?

В эту минуту произошло то, что вконец вывело нас из себя: в небе показался вертолёт с бревном и стал кружиться над лесопилкой. Лесопилка пониже села была, чуть-чуть на отшибе.

— Надо же, — покачал головой доктор, — для срочных случаев пять лет как вертолёт просим — не дают, а тут пожалуйста — брёвна перевозит. Ну, так как там на самом деле было, расскажи, не тот ты Ростом, чтоб так спокойно женщину упустить.

Насчёт бревна мы догадались, как дело было, посапывая, мы встали и сказали:

— Ты и сам прекрасно знаешь, что было. А вообще-то брось ты всё это. Мы сознание потеряли, ты штаны наши порвал и причиндалы наши заодно увидел, а думаешь, что душу увидел.

Мы перешагнули через перила, прошли немного и ткнулись носом в металлическую крашеную изгородь — металлическая сетка была обрамлена металлическими же пруть-

ями, между прутьями торчали куски крашеной трубы. Чтоб тебя, самца чёртова, царство своё птичьими клетками огородил и рад, сказали мы про себя и двинули плечом металлическую сетку посередке, рамка вся вылетела из гнезда; дальше шла изгородь, отделяющая фасолевые грядки и палисадник, мы налегли, и изгородь из мелких колышков повалилась, потом опять какие-то посеы шли, чей-то приусадебный участок тянулся — не кончался, и чья-то собака вот-вот уже должна была вцепиться нам в ногу. Мы запустили в неё камнем, собака закрутилась на месте, заскулила и ощерилась, но мы уже вышли с её территории, мы были на совхозном табачном поле повыше лесопилки; топча посеы, плюясь и чертыхаясь, шли мы напролом, женщины с почты и сберкассы вышли, выстроились в ряд и смотрели на нас, овитовский косоглазый шут пастух ударил себя по заднице, засмеялся и крикнул:

— Эй, парень... Большому бугаю ватиненцевскому скажи, ваши быки перемешались, давай иди, поспевай...

Мы подняли что-то тяжёлое с земли, то ли камень, то ли ещё что, швырнули в женскую стаю — чтоб ваше село, если только вы село... Потом, снова топча табачное поле, мы спустились к лесопилке, где уже принимали бревно с вертолётки такие же, как мы, крепкие в теле два парня и какой-то щупловатый парнишка, тут же болтался совершенно лишний здесь пьянчуга, так называемый руководитель хозяйств.

Когда мы выбрались с табачного поля, то кинулись на лесопилку, которая представляла собой длинный навес на сваях, без стен, бревно уже спустили-отцепили, а сам вертолёт улетел. Два великана возились с пилой посреди оглушительного скрежета лесопилки, пьянчуга улыбался нам как ни в чём не бывало, а парнишка пытался поддеть ломом трос на бревне, мы лом у него отобрали, телом нашим отшвырнули самого в сторону и пошли, дёрнули вилку с трёхфазовым напряжением. Глухая тишина воцарилась. Все смотрели друг на друга, и каждый из нас, и, наверное, сильнее всех пьянчуга руководитель, чувствовал, сейчас случится что-то нехорошее, один из лесорубов уже шагнул к нам, и пьянчуга сказал:

— Наш цмакутский брат Ростом, — потом, почувствовав нашу непримиримую, бешеную вражду, прибавил: — В смысле работы, говорю, все мы работающие люди...

— Кто бы ни был, — и один из лесорубов, тот, который шагнул к нам, — а ну включи! — сказал и пошёл на нас.

Наша правая рука была на щитке, взяв лом левой рукой, упёршись головой в его грудь, мы этого высокого жилистого крепыша длинношеего не подпустили к щитку с выключателями, мы отодрали вилку, забросили её в табачное поле. Крепыш от нашего толчка упал в опилки, увидел тяжёлый гаечный ключ и потянулся взять его, мы шагнули и наступили ногой на ключ и на его руку, схватившуюся за ключ.

— Наш брат — вон то бревно, — сказали мы, — тот ребёнок, та овца. За теми горами всё, что есть высокого и достойного уважения, это и есть наш брат, а тот, кто вору способствует, нам не брат, таких братьев мы бьём, — сказали мы и подняли лом. Пьянчуга обхватил нас сзади. — Пусти, — пробормотали мы, но он не отпустил нас, и это спасло лесоруба. — Пусти! — крикнули мы, стряхнули его с себя, не увидели даже, куда он скатился, и снова размахнулись ломом, и тогда другой лесоруб попятился, отступил на шаг, но мы не собирались его бить, мы со всего размаху ударили по полукружью пилы, торчавшей из бревна. И вроде бы нам здесь уже нечего было делать, вроде бы уже уходить надо было, но мы не знали, что бы такое ещё учинить, и походя метнулись, вышибли плечом сваю, державшую навес, мы вместе с ней отлетели, потом поднялись с земли, уже без лома, но гаечный ключ не выпускали, крепко сжимали в руке. Ещё возле лесопилки, перепрыгивая через ручей, мы заметили, что одна наша нога совсем босая, и перепрыгнули ручей.

Мы подняли голову — по тропинке шёл крепкий, как кочерыжка, старик с палкой в руках, сильно сердит на что-то был, «я вашу мать, я вашего родителя!» ругался он, шёл-шёл и

снова — «я вашу мать!», а повыше, на склоне паслась отара, косой шут пастух, тот, кому смешны были и мы, и старик, и вся эта история, разинул рот в ожидании новых подробностей. Старик поравнялся с нами, остановился, ткнул палкой чуть не в глаз наш, сказал: — Кто такой, что за человек?

А мы вдруг почувствовали, кто он сам, нас как ударило, приросли к месту на минуту, онемели, потом отбросили гаечный ключ, плюнули через голову старика в сторону оврага, пастух ударил себя по ляжке (дескать, надо же), «мать честная» сказал и засмеялся. Проходя рядом с пастухом, мы пошли на маленькую хитрость — будто бы не обращаем на него внимания, не видим даже будто бы, идём себе, а когда поравнялись с ним, разом повернулись, схватили за ухо и словно щенка поволокли к отаре, которая уже выбралась на большак и текла себе.

Старик дошёл уже до лесопилки, парнишка бросился за гаечным ключом, растерявшись ребята опомнились и смотрели нам вслед не без любви и восхищения. Старик стоял среди них, сыновей своих, и сердился: «Что же вы за люди, что он мог столько вреда вам нанести, у вас на глазах над вашим отцом глумился, почему не избили, как собаку?» — «Да разве с ним сладишь?» — отвечал старику тот, что в стороне от драки стоял. «Кто он, этот цмакутский пёс, кто такой?» — кипятился старик. «Тиграна Саргсяна найдёныш, и твоя доля, говорят, в этой истории имеется, — лесоруб, ухмыляясь, увернулся от палки старика. — Не я придумал, люди говорят, что тебе, старый, от меня надо?» Тракторы подтащили грушу к лесопилке. Тот, что отведал от нас взбучки, зажав под мышкой ушибленную руку, смотрел нам вслед и говорил: «Как же, ваша кровь, и не надейтесь! Поди поищи другого такого человека, тыщу лет ищи — не найдёшь». Они стояли и поверх головы парнишки смотрели нам вслед.

Мы подтащили их пастуха к отаре, поставили лицом к Овиту, к этому большому цветущему селу, взяли из его рук палку, провели ею черту на дороге и сказали:

— Трудовой человек, потому не вырываем уши с корнем. Вот граница твоей земли. — Мы, видно, крепко всё же оттрепали его — потирал ухо и жалко так улыбался. — Родственник, если он действительно родственник, не зарится на имущество родного, пока тот жив, пока душа не отлетела. Цмакут ещё не совсем умер, понял? — сказали мы и забросили его палку в гущу отары, сами же повернулись, пошли к своему Цмакуту.

Изнеженные за годы ношения обуви, наши ноги были чувствительны к каждой песчинке, к каждому камешку на дороге, больно нам было идти. Тройка сверхзвуковых истребителей косо срезала небо, скрылась с глаз. Мы стояли в ложине, неподалёку паслась ослица с осликом, подальше стоял заброшенный хлев, там с места на место перебежала свинья, потом коротко пролаяла рыжая собака.

Границей между Цмакутом и Овитом была речка, мы перешли по жёрдочке, потом повернулись, приподняли её за край, швырнули в овраг, наш поступок был лишён смысла — чуть повыше был проложен большой широкий мост. Мы сели на землю, оторвали от полы больничной куртки длинный лоскут, разделили пополам, обернули наши ноги, вышли на дорогу и столкнулись лицом к лицу с сыном полковника — обиделся на наш цмакутский край и уходил от нас.

— Деньги на дорогу есть? — спросили мы.

Деньги у него были, но, даже если бы не были, что мы могли сейчас поделаться?

— Вот так-то, — сказали мы, — полковнику передашь — край твой перед чужим псом на служение встал, чьи палаты на твоей земле возводят, непонятно, — мы с мальчиком разошлись, но, пройдя несколько шагов, мы повернулись, окликнули его: — Не так, скажи лучше — умираете и себя Цмакуту завещаете, так вот, Цмакут в покойниках не нуждается. Цмакуту, скажи, живые патриоты нужны, опишешь ему всё, понял? — но это тоже не было

поручение, и мы махнули рукой и отвернулись.

А потом была постаревшая наша земля, перевидавшая тысячи разных людей, наш опустевший край, наша изношенная дорога и мы сами. Жалкие кусты шиповника, несколько низкорослых кургузых дубков, колючий тёрн, обожжённые, бедные склоны. Мы шли и казались себе пророком или же нищим странником, но мы себя в этом обличии (которое нам почему-то нравилось), мы себя в этом виде не оставили, послышался звук машины, мы не обернулись посмотреть, что за машина, и дорогу ей не уступили, продолжали идти посередине, водитель просигналил, потом мы услышали, как хлопнула дверца кабины и послышался знакомый короткий смешок — нашего села почтальон был, вёз на больничной машине почту, а также свёрток с нашей одеждой. Взяли мы свою одежду и, хотя женщин рядом никаких не было, мы, чтобы переодеться, зашли за куст, и это должно было послужить для почтальона и водителя хорошим уроком. Мы оделись, приняли наш обычный вид, больничную одежду аккуратно свернули, вышли из-за кустов и протянули водителю.

Потом снова пустились в путь. И тут он сказал любовно:

— Садись, хозяин, подвезу.

Мы продолжали идти, словно не слышали. Почтальон взял свою ношу, вышел из машины, догнал нас и зашагал рядом. Мы молчали, и он ничего не говорил, но мы чувствовали, что он поглядывает на нас, потом как засмеётся, мы думали, над нами, но это было не так. Мы с ним дошли до того места, где старая мельница стояла, и где сейчас завершались строительные работы — на особняк уже стелили черепичную крышу, великанша на своём месте варила обед, резала лук и лила слёзы. Смех почтальона, оказывается, вызвал наш цмакутский уродина — торчал тут со своим велосипедом, стоял за металлической сеткой и пялился на великаншу.

Мы с почтальоном присели. Сидим и смотрим на стройку, но что-то мешает нам, что-то горькое касается нашего нёба, и глотать трудно.

— Павел Аргутян, — сказали мы, — князь. Возвёл на этом самом месте подобное строение. До нас только история дошла, само строение мы не видели, — мы не смогли продолжать, замолчали на полуслове.

— Спалили, — сказал почтальон.

Мы с трудом проглотили горький ком в горле, кивнули.

— Деревенские спалили.

Почтальон отделил, дал нам наши газеты. Сложили мы их, сунули за голенище. Официальное казённое письмо получили мы с этой почтой. Почтальон чувствовал, что оно с плохим для нас содержанием, и нахмурился, потом засмеялся, ударил нас конвертом по плечу и сказал:

— А это тебе медаль.

Не хотели мы брать конверт, покосились, сказали:

— Свою медаль мы от себя только ждём. Что это?

Не письмо было — приказ: «Учитывая, что по причине несговорчивого характера между лесником Ростомом Саргсяном и местным населением возникла конфликтная ситуация, что представляет опасность для обеих сторон и в особенности для личности вышеупомянутого Ростова Саргсяна, считаем целесообразным освободить...» — и так далее.

— Но ведь, — сказали мы, — лес мы не от них получили.

— Что там написано? — спросил он.

— Ничего, — сказали мы, — то, чего ваше сердце так давно желало, медаль.

Великанша накрывала на стол, рабочие умывались и по очереди подходили к столу, наш урод по-прежнему лепился к решётке, замороженный то ли видом еды, то ли гигантской этой бабы, и мы с почтальоном, сидящие тут, были очень похожи на этого выродка, фактически его копией были; великанша протянула выродку хлеб с мясом, рабочие нам

сказали «идите откушайте с нами» и махнули рукой — идите, мол. Мы вынуждены были удалиться. Мы встали, поправили на себе одежду, но выродка оставлять тут тоже нельзя было.

— Эй, парень, сын Пулуза! — свистнули мы ему. Но чёртов уродина вцепился обеими руками в сетку и замотал головой. Мы хотели пойти, привести его силой, почтальон удержал нас:

— Оставь, всё равно ведь вернётся.

Мы с почтальоном обогнули покинутый саргисовский дом и вошли в наше село; прошли немного и оказались в центре, на площади нашей, здесь всё тот же народ стоял, стоял и смотрел на нас, наш племянник, новоявленный лесник, сын нашей сестрицы, как скомо-рох прежних времён, расхаживал по балкону взад-вперёд при виде нас остановился, посмотрел с высоты своего балкона, выгнул бровь и продолжал своё шествие аги и старшего по чину, остальное было всё то же — та же жалкая торговля, тот же азербайджанец, тот же пьяный пекарь... Мы неторопливо поднялись на балкон, среди дюрок стояла наша сестра, с мягкой лаской прошептала «милый ты мой, брат мой», вроде даже шагнула обнять нас, но не подошла — с нашего взгляда капал яд. Народ тайком наблюдал за нами. Глухой сторож двинулся к нам с вечным своим «Айта, Ростом, п-проклятая к-курица...», мы оборвали его на полуслове и через плечо указали пальцем на нашего племянника.

— Ростом сейчас он, мы больше не Ростом.

Кое-кто тихонько фыркнул.

Почтальон раздавал почту, сын нашей сестры совершал свои круги сельского владыки, а мы сами вот-вот уже должны были прислониться к стене и стать обычным цмакутцем, но в это время совершавший свои круги наш племянник поравнялся с нами и мы подтянулись и снова стали прежним Ростомом.

И сказали:

— Не хвалимся, не говорим, что наше поведение, наша порядочность исключительно от нас самих, — скорее от государственной этой одежды. — Много чего хотели мы ему сказать. — Должность лесника мы возвысили до высоты всадника Ростом Мамиконяна, никто уже не помнит старых жалких лесников, унижающихся из-за стакана водки, так что, уважаемый сын нашей сестры... — Но он нисколько не нуждался в наших советах и наставлениях, повернулся, пошёл совершать дальше свои круги, и мы, чтобы не смешаться с остальными, не стать тут же рядовым цмакутцем, тяжело, с размаху спустились с балкона, удалились.

Подъём к старому току был труден, мы хрипели и задыхались и то и дело останавливались перевести дух и, когда останавливались, оглядывались на село. Вышли к току — заброшенный склад, полуразрушенные амбары, пустые хлева, подальше, за током, невспаханые, давно не сеянные, покинутые земли. Наш конь стоял на меже старого поля, он почувствовал наше присутствие ещё до того, как увидел нас, ещё когда мы вышли на ток, наш конь, задрав морду, высматривал нас из-за кустов терновника. Мы сложили губы трубочкой, чтобы просвистеть ему. Не смогли, что-то душило нас. Резко подняли руку, да, мол, это мы, Ростом. Конь спокойно переступил с ноги на ногу, спокойно перешёл на жнивье, там оступился, а потом пошёл к нам, играючи-радуюсь, то есть он с трудом сдерживал свою удаль и прыть. На старом току его шаг обрёл было дробь и ритм, но он уже подошёл к нам и замедлил шаг. Он подошёл и ткнулся нам мордой в грудь. Мы достали из кармана его долю сахара, покормили его с руки, подобрали упавший кусок, сдули с него грязь, сунули ему в рот, потом взяли нашего коня за гриву и пошли с ним вниз. Мы шли всё быстрее, набирая скорость, и мы этой нашей силой сами невольно улыбались, что вообще, как мы считали, не соответствовало нашему состоянию, и поэтому мы всё-таки сдерживали себя. Мы остановились, и в это самое время среди тишины молчаливого села и оврага нам помере-

щился выстрел из ружья. «А? — подумалось нам. — Выстрелили или померещилось?»

С подобающей случаю сдержанной печалью мы молча поздоровались с семейством Маро, они расселись на брёвнах у своего дома и были заняты своим вечным лузганьем семечек, но, слава тебе господи, о чём-то они и позаботились — расстелили на земле лук для просушки, две-три тряпки выстирали и повесили сушиться, перец и фрукты на нитки нанизали. Семейство, чтоб удостоиться нашего приветствия, поднялось с мест и даже попыталось на минуточку прекратить своё лузганье, больше того, не посмело окликнуть девочку (которая со школьным портфелем в руках пошла за нами и нашим конём в наш двор), дескать, «в школу опаздываешь». Сама девочка, конечно, и не думала возвращаться.

Особых наших указаний не понадобилось, наша супруга понимала нас без слов, пошла, молча принесли из-под навеса, подала нам уздечку. Мы уздечку на морду коню нашему надели, концы дали девочке. Мы глянули на нашу супругу — она пошла, принесла из-под навеса щипцы. Мы должны были отодрать подковы, но, прежде чем приступить к делу, вдруг почувствовали, что всё это вот так вместе — сад, два-три ягнёнка, дом, лошадь, девочка с уздечкой в руках, наша сухонькая супруга, державшая наготове передник, — всё это до того красиво, что мы от жизни ничего другого и не желаем. То ли пряча улыбку, то ли сдерживая её, мы сказали вовсе не то, что чувствовали:

— Ежели поджидала нас, может, и выстрел слышала — нет?

Пальцы наши ещё крепкие были, мы встали на корточки перед конём и с первого же разу, без особого усилия, с сухим треском отщипнули с поверхности подков шляпки гвоздей, потом согнули ногу лошади, взяли её между колен и по одному вытащили из подковы гвозди. Подкову и гвозди бросили нашей супруге в передник. И услышали:

— И от ружья, слава богу, избавились, и от всех выстрелов.

Мы сухо оборвали:

— Мы твоего мнения не спрашивали, про одно только спросили — выстрел слышала?

— Нет, — ответила она.

— Ну так и не заставляй грубить тебе при чужом ребёнке, — и мы взялись за другую ногу. — Водой нас уносило, мы плыли, весь народ на берегу выстроился, во сне в больнице, в бреду или во сне это видели, никто из вас руку не протянул, нас течением уносило, нехорошо это, — сказали мы, — плохо, наше сердце, значит, никого из вас своим помощником не считает, слышишь? — Мы поднялись, кинули остальные подковы и гвозди ей в передник и сказали: — Подковы спрячь, гвозди тоже, хоть и не пригодятся, но кузницы нет, твой Овит и кузницу нашу проглотил.

Ничего нам не ответила, ушла, вернулась с телогрейкой в руках, мы пуговицы с телогрейки срезали, она без нашей подсказки пошла, принесла кусок верёвки, мы взяли верёвку, концы кольцами связали, чтобы потом, когда поверх телогрейки эту верёвку бросим, кольца нам стремянами служили. Мы сунули всё это хозяйство под мышку, взяли из рук девочки уздечку и подождали, пока наша супруга, встав на цыпочки, накинёт на нас пиджак.

Ведя за собой коня, мы вышли в село, на площадь вышли нашу, на место сходок, там на старом балконе наш племянник, лесник новоиспечённый, подражая нашим повадкам, кого-то сторожил-выглядывал, на часах, словом, стоял, никого больше не было, только он один. Мы бросили телогрейку и верёвку на коня, подтянули его к стене, вот-вот уже оседлать собирались, но кое-что нам ещё надо было сказать сыну нашей сестрицы, племяннику нашему, и даже не кое-что, а что-то весьма и весьма серьёзное. Сам он стоял невозмутимый и присутствия духа не терял, если только не считать проявлением гнева или презрения то обстоятельство, что при виде нас он снова пошёл делать свои круги по балкону.

С показательным сожалением мы покачали головой, потом оседлали коня, и вот тут-то и представился нам случай высказаться — взяв за руку ребёнка-первоклассника, девочка по-

старше, третьего или четвёртого класса ученица, вела его в школу; на этой старой площади, на площади с памятником нашим погибшим ребятам мы крутанулись на лошади и сказали:

— Ростом должен был умереть, чтоб не видеть, как его дети идут учиться в чужое село.

Покорные своей судьбе, ранцы за спиной, детишки шли в овитовскую школу. Сын нашей сестрицы совершал свои спесивые круги победителя по балкону, вдруг он остановился, прижавшись к перилам, поглядел поверх нашей головы в далёкие дали. С верхнего края села по дороге, ведущей к площади, шла доверху гружённая деревом машина, и племянничек наш знал о ней. И мы ничего не могли поделать — единственное, что мы сделали, не сошли на обочину, не дали машине проехать. Нарочито медленно, придерживая коня и не оглядываясь, шли мы по дороге. Потом пробормотали ругательство, конь наш просил ходу, мы ослабили поводья, конь помчался галопом по этой старой развалине, по селу этому, где единственным признаком жизни были старик со своей старухой: они поставили у себя во дворе перед самыми дверьми маленький стожочек, накрыли его целлофановым чехлом и подметали и чистили свой двор.

— День добрый, что, к зиме готовимся? — сказали мы. Коня своего мы больше не сдерживали, он промчал нас, и, только когда уже из села выезжали, мы заставили его покрутиться на месте и застыли на повороте с поднятой рукой, как памятник всаднику, потом крикнули поверх гор и покинутых заброшенных дворов другому призраку жизни — у своего крыльца далеко на отшибе ещё один одинокий старик строгал доску:

— Эй, старый!

Он поднял вверх рубанок.

— В горы идём, в горы, — крикнули мы, — Ростом мы, ежели наш конь с твоим подружится, ругаться не станешь, спрашиваю?

Не поймём, с чего это, но мы улыбались и были радостные — потому, может, что услышали обрывок его смеха и что старик нас «дурнем» обозвал и помахал нам?

— Сам знаешь, — крикнули мы, — с товарищем-то легче...

На развилке конь наш выбрал свою привычную широкую дорогу, но мы, и сами не знаем почему, свернули и поехали по верхней узкой тропинке, вот так, сказали мы.

Мы одолели каменистый подъём и выбрались на светлую поляну Тандзута возле известняков. И конь наш и сами мы чувствовали здесь чьё-то присутствие, но мы коню сказали:

— Поезжай себе, старое вспомнилось, только и всего.

Возле известняков мы остановились, покрутились немножко, снова остановились. Далёкого колокольчика звон нам откуда-то слышался. Но мы опять сказали «старое на память пришло, ничего нет» — и в тот же миг мы обратились в слух. Потом погнали коня на вершину холма, оглянулись оттуда на поляну — полное безлюдье, ни души, и всё же нам казалось, мы слышим колокольчик. Хотели было продолжать дорогу, и в эту минуту почти полностью сменившая свою бурю шкурку на серую косуля мягкими прыжками медленно перемахнула через поляну и оказалась на тропинке, делившей поляну пополам. В беге её не было тревоги и близкой погони не чувствовалось, опасность она, по своему разумению, уже миновала, она ступила на тропинку и наполнилась прямо к нам. Колокольчик на её шее висел, это мы когда-то привязали его на косулину шею. Не по себе нам сделалось, пришпорили мы коня, раскинув руки, загородили ей дорогу. «Куда, глупая, куда?!» Она остановилась, протянув милую мордашку, принялась, чуть коню нашему под ноги не угодила, потом всё же отскочила и поскакала по каменистому отлогому склону, мы за ней, мы турнули её с дороги, но с пути сбить не смогли, она крутилась на холме и стремилась бежать туда, откуда прибежала.

— Какая же ты усталая, значит, что коню под ноги лезешь и сама того не замечаешь. После утреннего выстрела ты всё бежишь, значит, это сколько же ты за это время пробежала? Бежать бежала, да вот не убежала — так в пасть волку сама и лезешь, — сказали мы и ударили коня, торопя его. Мы выбрались на тропинку, ведущую в гору.

Отсюда начинались открытые голые склоны, здесь виднелись следы старой сельской жизни; мелкий оползень, постоянно спускавшийся с большой каменной гряды, когда-то перекрыли, перехватили низкой стеной, которая впоследствии разрушилась, в стене виднелись остатки хачкаров. Посередине маленького подковообразного лужка рос куст шиповника, под кустом бил родник, возле куста и родника в землю вдавлены были плоские камни. Открытые склоны, за ними поляна, пониже поляны лесистый овраг.

Мы на коне нашем замерли здесь и спокойно произнесли:

— Саргсян Альберт, выходи давай. Альберт Саргсян, — повторили мы. — Это мы, Ростом, значит, велим тебе выйти. Не заставляй нас действовать иначе, — сказали мы, — выходи по своей воле.

Никакого ответа.

— Ты имя своего предателя отца заставил нас написать рядом с именами этих мучеников, так что мы уже не хотим одну с тобой и твоим отцом фамилию носить — вспомни про это, Альберт Саргсян, просим тебя, и выходи.

С коня мы не то что сошли — упали и просто-таки взбесились, кровь нам в голову ударила.

— Альберт! — сказали мы и пошли к шиповнику, Под кустом лежала связка шампуров, прямых, от веток шиповника срезанных, обструганных, вдобавок на концах рисунок затейливый вывел. — Твоих рук дело, твою мать, выходи, говорят тебе!

— Альберт, — отчаявшись, засмеялись и попросили мы, — если мы сейчас умрём тут, лопнем от гнева и умрём, тебе ведь придётся выйти. Ну так выходи сейчас, или же ты настолько уже бесчеловечный, что дашь нам сгинуть тут, до весны проторчим, не уйдём отсюда.

Конь наш наострил уши и смотрел на нас.

— Альберт, — сказали мы, — мы тебя, правда, не видим, но конь видит, постеснялся бы, Альберт.

Ни звука. Чуть рассудок не потеряли, до того мы разгневались.

— Стреляй давай, раз на мушку взял, стреляй, твою мать!

Мы вспотели в ожидании выстрела, но кругом по-прежнему было тихо. Потом мы расслабились и махнули рукой.

— Ну, это тоже что-то, если стыдно стало, ушёл если.

И мы пошли к нашему коню. Проходя по врытым в землю камням, не поняли, то ли поскользнулись, оступились, то ли ещё что, вдруг чувствуем, что лижем камень, как четвероногая скотина, лижем солёный камень и пытаемся разобраться, что это за вкус у него, сплёвываем и снова почему-то норовим лизнуть этот чёртов камень. И тут нам снова показалось, что над нами, над нашим задраным толстым задом и над тем, как мы с камнем целовались, над всем этим кто-то, прячущийся неподалёку, исподтишка посмеивается. Мы сели на камень и в глубоком отчаянии — мы даже могли отдать концы в эту минуту, настолько отчаялись — выругались:

— Вы такие умники, а мы скотина деревенская, солью хотите обмануть, на колени поставить хотите!

— Альберт, — мы поднялись с земли, — косуля-то не дикая, мы ей свой колокольчик младенческий на шею повесили, над нашей люлькой висел, это всё равно что в нашего коня выстрелить. Колокольчик нашего отца Тиграна — на шее его коня висел, имей в виду.

Молчание.

— Ну ладно, — сказали мы. — Всё равно мы её шуганули, она здесь больше не покажется... несмотря... на вашу соль.

Перед открытыми взору горами, осенними, с пролесками и опушками лесами и солнечными склонами, поросшими кустарником, перед картиной нашей старой, тысячекратно обжитой, изношенной земли, сверкающей на чистом осеннем солнце, перед всей этой картиной сердце наше растопилось. Мы почувствовали, что беззлобно, примиренно и тихо плачем, от слёз наши глаза увлажнились, и мы уже притуплённо и некритично принимаем даже существование заводского дыма, нависающего и накапливающегося в дальних ущельях, оврагах. От чистого света мы сощурились, за лесистыми овражками в маленькой ложбине между гор мы увидели товарища нашей лошади — опустив голову, здесь пасся единственный житель молчаливых пустынных гор, покорный своей судьбе, не знающий ещё о нашем присутствии. Мы не смогли свистнуть ему, мы только молча подняли руку. И опять подняли ладонь и улыбнулись горько. Потом сняли с нашего коня верёвку и телогрейку, сняли сбрую, тщательно прокашлялись, чтобы избавиться от удушья, сильно и резко засвистели и снова подняли руку. Товарищ нашей лошади оторвал от земли морду. Мы засвистели, заложив в рот два пальца. Нам показалось, лошадь нас увидела. Мы своему коню сказали:

— Она нас заметила, а ты её? — и нарочно резко закричали зимнему дружку нашей лошади: — Эй, старый, ты нашему молодому опора... поручаем тебе, чтобы будущим маем вернул нам в целостности-сохранности, понял? — Наш конь смотрел, прядая ушами. До нас донеслось резкое долгое ржанье, и мы увидели, что дружок нашего скакуна переступает с ноги на ногу. — Иди, — сказали мы, — ты сильный, но он опытнее, слушайся его, — а сами повернулись и пошли к лесу.

Где-то здесь дерево с дуплом должно было быть, мы искали и не находили его. Мы потоптались тут немножко, потом перешли на другое место и увидели, что стояли рядом с этим самым деревом. Свёрток с телогрейкой и сбруей засунули в дупло, протолкнули поглубже, наша рука по локоть ушла внутрь, но мы не вынимали её, мы окаменели, нашу руку словно схватили, наши глаза словно с нечистой силой встретились; хотим сказать: то, что мы слышали — выстрел то есть, — мы его сначала в себе слышали и даже успели не поверить, нет, сказали мы, никогда, но выстрел всё же раздался, дробясь во всех овражках, донёсся до нашего слуха, резанул нас, и мы соскользнули, держась за ствол, сползли, осели.

Потом, увидев на поляне окровавленный валун и потроха, мы чуть не сошли с ума и закричали. Как бессловесная скотина делается безумной от запаха крови, не поняли, как запачкались в ней, эта кровь словно наша кровь была, словно нас подбили и словно не мы заставляли себя бежать, словно боль нас гнала, тропинке из-под наших ног ушла, мы кинулись напролом в овраг, потом пошли вдоль ручья по трясине, покрытой листьями, не соображая, что надо выбраться из грязи. «Ищи, собачье племя, — сказали мы себе, — ежели ты собака, то ищи, найди и задуши, как они это делают, слышишь, как они». Нам показалось, мы на той самой тропе, по которой наш враг следовал за нами по пятам. Мы зашли за дерево, прижались спиной к стволу, стоим, с головы до ног — злобное торжество. Стоим, ждём. «Иди сюда, подходи давай, — подумали мы, как сам ты без родителей вырос, так и дети твои без тебя вырастут». Всё внимание наше к тому месту было приковано, откуда, по нашему твёрдому убеждению, должен был появиться враг. Но тропинка была пуста, и мы стояли и не видели, что стоим перед особняком, и до нас доносились запахи шашлыка. Разочарование сильное испытали, сказали себе: «Ну конечно».

Сон некрасивенькой, худенькой, с больным сердцем, под глазами синие круги, любименькой дочурки и её столетней бабки их отец и сын, наш бывший начальник карлик сполна осуществил — воздвиг прекрасный особняк, перекинул через пруд мосток, в саду длинный стол накрыл и угощал в знак благодарности весь цмакутский и овитовский народ. И народ наш, должны сказать, никогда прежде не бывал ещё таким культурным и организованным, таким серьёзным и сдержанным: чисто одетые, шли чинно на праздник. Они принесли сюда ящики с выпивкой, пригнали дюжины овец, это был их край, край их дедов и отцов, но они так стеснялись, словно перед самим правительством предстали. Руководитель объединённых хозяйств считайте что обнял — поднял и на прогулку вывел сидевшую на веранде рядом с камином столетнюю мать нашего бывшего начальника. Старуха любовалась видом, великолепная, величественная картина отсюда открывалась — лес как на ладони, а нашей сестрицы сын, новоиспечённый лесник то есть, повязывал колокольчик нашего детства на шею круторогого барана — на радость девчужке, а наша сестрица в пустых верхних комнатах с двумя другими старухами шила-стегала мягкие пышные тюфяки для карликова семейства. Две дочери Маро, две медсестры из овитовской больницы и три молодца в кожаных пиджаках, тренированные, вежливые, молчаливые и с затаённой угрозой, три телохранителя под руководством великанши расставляли на длинном столе еду и сервировку. Стол был наспех сколочен из досок, вскоре после пирушки-попойки всё это вместе со строительным мусором вынесут из сада, уберётся и эта масса молчаливых подданных, останутся только особняк и речной берег — точь-в-точь как видели во сне девчужка, старуха и их велеречивый, с медленной, торжественной поступью, уважающий свою важность, отдающий своей персоне должное и от других того же требующий хозяин-карлик.

Кто варит обед — занят обедом, кто следит за шашлыком — за шашлыком следит, а сам он, наш бывший начальник, и не скрывает, что чудесный свой особняк на чудесном месте построил, молча улыбаётся, пошире расставив коротенькие ножки, вглядывается в лес, что напротив, и другие обязаны очистить от себя всё в радиусе его взгляда. Он смотрит на лес и говорит раздумчиво:

— Во-о-он тот дуб...

И остальные смотрят и ждут: что, мол, тот дуб?

— А? — говорит он. — Если бы чуть пониже рос... Что скажете?

А что им сказать, переглядываются и стесняются, что тот дуб растёт там, а не пониже.

— Но ничего, а? — отпускает он прощение. — Пусть себе. — И они не понимают, о чём это он — о дереве или о чём другом. — Ростом! — зовёт он. — Хозяин! — издевается он.

Ростома там нет, но сын нашей сестры и остальные обязаны понять, что Ростом сейчас — нынешний лесник новоиспечённый. Сын нашей сестры подходит к коротышке, сдержанно улыбаётся и готовно встаёт рядом.

— Сколько жалованья я тебе плачу? — спрашивает тот.

— Много, товарищ Манташьян, — говорит сын нашей сестры.

— Сколько — много? — спрашивает.

— Спасибо, товарищ Манташьян, — говорит наш племянничек.

— Молодец, — откликается тот, мол, то, что мы хотели от тебя услышать, это и говоришь. — Восемьдесят три рубля сорок девять копеек, — и хочет дать дружеского тумака, опускает кулак на шею нашего племянника, рука не достаёт до шеи, и наш племянничек обязан приспособить свой высокий рост к коротышке. — Сукины дети, — обращается малышка ко всем, — в таком раю живёте и ничего не говорите.

Его старая матушка, поддерживаемая руководителем хозяйств Овита — Цмакута, обзревает владения сына, несмотря на слабое зрение, она видит новые, с заботой произведённые постройки и восхищается ловкостью и сноровкой сына.

— Умный, — говорит она про него, — для послушного — отец родной, для непослушного — прокурор, ведите себя хорошо и будете для него свет в окне. И отец у него был умный, но этот в деда, в моего отца. Мой отец построил в этих краях дом большой, в Цмакуте, а это, значит, и есть Цмакут. — Останавливается, окидывает всё острым взглядом, распалается: — Подождли, такое не прощают... Плохие вы люди, негодный народ, спалили дом моего отца.

Любовница её сына — полупевица, полуактриса, провинциальная кокетка — нашла удобное место, чтобы продемонстрировать себя, отошла от всех, встала на мосток и думает, сейчас все ею любят, и она «мечтает», шепчет стихи «ты кружись, ты кружись, карусель». Для народа, впрочем, здесь только один певец и поэт имеется — владелец особняка, который в эту минуту склонился над чаном с обедом и тоже играет — поднял крышку и, обжигая пальцы, достаёт куски мяса, вытирает пальцы о бедро великанши и одновременно щиплет её, и великанья её туша жеманно вздрагивает — «э-э-э, товарищ Мантасьян», и местные набираются решимости улыбнуться, шумно вздыхают и отводят взгляд, и насколько этот жест начальника деревенский, настолько же вежлив и деликатен его следующая жест — маленький кусочек мяса он старательно заворачивает в маленький кусочек лаваша и, мелко откусывая от него, подходит к народу и даже словно прощения просит за этот внеочередной кусочек, за то, что один ест, — «с утра голодный хожу», и такое чувство, будто ничего, кроме этой семейственности и этой домашности, в нём нет. С этим кусочком лаваша он останавливается перед первым встречным и сует тому в рот — «откуси» и остальным — «ну ладно, ещё чуть-чуть потерпите». От его всевидящего глаза не ускользает также и поза любовницы, та уже перешла мосточек, стоит на той стороне обрыва, там, где мы некогда замерли на коне, и расхаживает туда-сюда, постепенно «приходит в себя» от долгих раздумий и смотрит слегка вопросительно на наш народ.

— Знаете небось, чего хочет? — спрашивает карлик, народ опускает голову и, будто бы застеснявшись, смущённо улыбается. — Не люди вы, сплошь ангелы, — говорит коротышечка, — изображает искреннюю печаль, да? Все мы немножечко артисты, и все мы в зрителях нуждаемся. А вы подумали, девушке другого надо.

У старухи от ослепительного света голова слегка кружится.

— Батюшки, опьянела, — говорит. Руководитель хозяйств подхватывает старуху, удостоившись радостного смеха её чада:

— На нечестивца этого, на развратника поглядите, матушку мою поцеловал. Ма! — кричит он. — Благослови дом, чего не благословляешь? — Доктор бросается поддержать старуху, но коротышка удерживает его за плечо, говорит: — Не беспокойся, сто лет ей.

И в это самое время Альберт нас приметил, «Ростом, сказал, боров» и зашёл, спрятавшись за людей, и то, что он первый нас заметил и захотел побыстрее скрыться от нас, это был верный признак того, что в засаде на косулиной поляне сидел он.

Не знаем, с какого времени, с какой минуты в руках у нас здоровая, в человеческую руку, дубинка оказалась, с осторожностью нищего или же ночного вора-грабителя мы прошли в эти владения, заботливо прикрыли за собой решётчатую калитку, ведущую в глубь леса, потом повернулись и встали лицом к самим чертогам.

Выстроившийся кругом, глядящий на нас народ, сидящая в кресле перед расписным камином старуха, обстриженные, приведённые в порядок старые яблони, длинный стол с угощением, невинные ягнятки на выметенной земле под деревьями, ещё один барашек, обнюхивающий подол великанши, играющая с маленьким пёсиком нарядно одетая девчушка, шампур с нанизанными, как на картине, кусками мяса, чистый прозрачный дым и пар, поднимающийся прямо к богу, у мосточка ангелица с голыми руками — ну прямо рай старых времён. Барашек чего-то испугался, позвякивая звоночком, убежал от великанши к остальным сородичам.

Когда мы собирались уже, занесли ногу, чтобы ступить на мосток, не знаем почему, испепелили взглядом прогуливающуюся ангелицу. Она решила, что обрела в нашем лице ещё одного почитателя.

— Ошибаетесь. — сказала. — Думаете, наверное, что мы знакомы, а мы не знакомы. Вы меня по телевизору видели.

— Мы телевизор не смотрим, — ответили мы.

— Обычно, — продолжала она, — со мной все здороваются: знают меня по передачам и им кажется, что мы знакомы.

Мы с неприязнью покосились на неё и прошли. Собачка с лаем преградила нам дорогу и не давали сойти с мостка, а дальше стоял, сгрудившись, наш народ — пропустил на шаг вперёд хозяина особняка и стоял за его спиной стеной. Прежде чем подбежала девочка, мы молча смотрели друг на друга; хозяин особняка мелко и быстро разжёвывал свой шашлык, изучал нас. Наше существование вызывало его тяжёлую ненависть и наполняло его взгляд лёгкой презрительной усмешкой, то есть мы для него ничто. Девчушка подбежала, подхватила свою собачку и, глядя на нас, дала нам характеристику:

— Это хороший дядя, Тузик, почему не даёшь пройти? Дядя, Тузик вас не тронет, он на вашу палку лает.

Девчушка унесла собачку, и остались мы с народом друг против дружки. Хи-и-итрый, подмигнул нам и сказал наш бывший начальник:

— Видал, как сердце детское почувствовало?

Мы не ответили.

— Обидели тебя, да? Видно по тебе, что обижен, — сказал. — Но кто знает, хозяин, может, оно и к лучшему, может, для твоей же пользы это.

Глянули мы на него и сказали:

— Лес мы не от тебя получили и не тебе сдадим. Ты чужак, бог знает откуда пришёл, мы не имеем права на тебя обижаться.

Защитить его рвались и новоявленный лесник, нашей сестрицы сын, и так называемый руководитель хозяйств, оба они хотели что-то сказать, но он пригрозил им «с-с-с», а нам сказал:

— Нехорошо, хозяин, плохо наше соседство начинается.

И опять мы не ответили ему. Молча стояли. Он на нас глядел, мы на него. Тяжёлое это молчание привлекло внимание нашей сестры, вместе с другими старухами шившей тюфяки на втором этаже, в мансарде, она оторвалась от дела и со словами «что это там случилось?», мягко ступая в одних шерстяных носках, вышла на балкон. Её звонкий голос заставил нас медленно поднять нашу отяжелевшую голову и веки к балкону.

— Вуй, боль твоя да чтобы мне перешла, мой брат родной, и ты пришёл-поспел? А говорили, отказался, мол...

Поглядели мы на неё и больше про себя сказали:

— И тебя сюда привели.

Её новоиспечённый сын-лесник сделал ей знак рукой — приказал вернуться в дом, словно она сумасшедшая, словно секреты-тайны их выбалтывает, а она тем временем простодушно, радостно похвалилась своей работой:

— Шерсть для начальника моего сынка принесла, тюфяки шью, мягкие, лёгкие, чистые... На доброе здоровье, хозяин наш дорогой, чтоб сладко спалось на них и тебе, и всей твоей родне, и гостям драгоценным.

Сын-лесник молча, взглядом приказал матери не болтать лишнего и идти в дом, но она и это требование сыновнее обнародовала:

— Гляди-ка, замолчать велит, а что я такого говорю, нашего, говорю, деда мельница и сад тебе, владей на радость!

Степенной и важной походкой коротышка подошёл к нам, чтобы взять нас под руку, да, взять под руку, мы отстранились, шагнули вперёд, и перед нашими тяжёлыми шагами отступили и сам «хозяин», и весь столпившийся здесь народ. Все, все до одного были здесь — и доктор, и лётчик, и Альберт, прячущийся за новоявленным лесником, продавец, завклубом, почтальон, рабочие со стройки, уже переодевшиеся в чистое, все. И все были если не любимыми, то, во всяком случае, понятными для нас людьми, мы невольно замедлили шаг, на минуту даже остановились рядом с тем, кого считают нашим отпрыском, от нас то есть зачатым, сказав:

— И ты, значит, здесь?

Потом мы очутились перед старухой, сидевшей в кресле у камина, нас разделяли резные перила, старуха вытянула в нашу сторону трость и сказала:

— Ты кто?

Нас сковало чувство неудобства и раздражённости, с одной стороны — эта старуха, с другой — её победитель сын, руки в карманах, прикрыл глаза и, прикидываясь озорником, крикнул:

— Это сын папиного товарища, ма, Тиграна Саргсяна сын, Саргсян Ростом, познакомься.

Старуха прислушалась, вспомнила и пролила свет на события:

— Его отец с твоим не дружил, неправду говорит, — и уже нам: — Твой отец тебя в лесу нашёл, как-нибудь вечером возьмишь барашка, придёшь сюда, расскажу тебе твою историю. И овечьего сыру прихвати, — сказала.

Звон колокольчика раздался совсем близко, повернулись мы и видим — барашек, божья тварь, пришёл и обнюхивает нас. Сдерживаясь, хотя умирали почти, опустили мы наши тяжёлые веки, протянули руку и говорим:

— Звонок наш дайте нам, и мы уходим.

И сделали несколько шагов к народу. И повторили:

— Колокольчик наш отдайте нам, уйдём отсюда.

Перед нашими слепыми действиями толпа только пятилась, отступала назад.

Мы сказали:

— Этот звон висел над нашей люлькой, отдайте, — потом прямо взмолились: — Просим. Никого не убьём, глаза даже не разомкнём, не посмотрим, кто дал звонок мне!

Тяжёлое молчание висело в воздухе, только шипение шашлыка доносилось. Нам казалось, ещё немножко, и мы заплачем. Альберт и сын нашей сестры подошли к барашку, барашек, позвякивая колокольчиком, убежал, и мы уже не выдержали, как полоумный, замычали, двинули плечом новоиспечённого лесника, тот повалился на браконьера, и оба они упали. Мы пошли на людей, толпа откатилась, только у отпрыска нашего капитуляция не была капитуляцией и страх не был страхом, даже наоборот — встал в оборону и вроде даже к поединку готовился. Мы крикнули в сердцах: «Тебя тут ещё недоставало! — и этого тоже сшибли с ног, прорывав: — Хлоп мураденцевский, гляди и человеческому поведению учись! — Потом на нашем пути объявился наш бедный почтальон, но мы его не тронули, хотя почтальонскую его сумку всё же не удержались, поддели ногой, да так, что всё из неё высыпалось. Мы сказали: — Марш все отсюда, убирайтесь из этого вражьего дома!» Три парня, те, в кожаных пиджаках, обступили нас, но потом их словно смыло — до нас донёсся голос карлика: «Да дайте ему стукнуть разок, пусть успокоится», про нас, значит. Самого коротышки мы не видели, перед нами стоял продавец и выговаривал нам: «Ну что театр устроил?» Тошно нам стало, повернулись, чтобы уйти, и увидели двух братьев с лесопилки, растолкав их, метнулись к шашлычному огню, пнули носком сапога, перевернули весь этот аккуратно нанизанный строй шампуров. «Ешьте теперь!» — сказали и бросились к длинному столу. Трое в кожаных пиджаках опять выросли перед нами, они каждую минуту могли смять нас, но отчего-то медлили и улыбались непонятно. И тут пришёл велико-

душный приказ малютки: «Дайте ему повоевать, пусть душу отведёт, оставьте». Мы повернулись, под ноги нам попался ящик с питьём, мы бросили этот полный ящик к горе других ящичков, а на мосточке, на маршальском месте стоял коротышка, за ним удивлённая ангелица, мы замычали, бросились к ним, сказали «сейчас утопим тебя в твоей запруде, как курицу», тут нас схватили, кто, не знаем, мы попытались стряхнуть его с себя, не получилось, мы мотнули головой, и это заставило его отпустить нас, мы прошли вперёд, наш племянник-водитель уполномочил себя встрять перед нами в качестве советчика и миротворца, мы кинули ему: «Пошёл прочь с дороги, в попах не нуждаемся». Он сказал укоризненно «парня чуть не убил», про нашего отпрыска говорил, над тем уже склонился доктор, но мы на это ответили «он и родиться-то не должен был» и отшвырнули нашего племянника. «Все вы тут враги и предатели, все до одного», — взвизгнули мы, и опять возникли эти в кожанках, а на мосточке стоял победительный карлик... Но тут до нас донёсся острый выкрик нашей сестры: «Это чьего брата вы так, сговорившись, убиваете, а?! — и, раскинув руки, она влетела, врезалась между нами и кожанками. — Это в каком же ты виде, брат мой ненаглядный, лучше бы я умерла, чем видеть такое», — она прижала нашу голову к своей костлявой груди, а мы сжались, как ребёнок, и плакали, уткнувшись ей в колени. Она гладила нас по голове и бормотала всё те же слова «сиротинушка моя, войско своё растерял, один остался, саргисовского Тиграна память единственная...».

Народ стоял окаменев, мы поднялись, чтобы уйти, сестра наша пошла за нами, лётчик подал нам нашу шапку, мы взяли не глядя, нахлобучили себе на голову, наша сестра вдруг повернулась, побежала к особняку, а мы вышли через маленькую калитку в железных воротах, и все смотрели нам вслед, а карлик озабоченно переступил с ноги на ногу на своём мосточке и протянул озадаченно:

— Та-ак.

Наша сестра побежала в дом за своей шалью, накидывая шаль на плечи, выскочила на дорогу, следом за нами и сын её, новоявленный лесник, приказал ей:

— Вернись... Вернись, говорят тебе. Волкодава вырастила, братом называешь.

Наша сестра на слова его внимания не обратила, пошла по дороге, мы оглянулись, увидели наш разорённый дедовский сад, народ толпился вдалеке, и коротышка со своего капитанского мостика дал нам высшую оценку:

— Да-а-а... Десять таких молодцов — и был бы сейчас Карс наш.

Мы вышли на большак, на большаке выстроилась длинная вереница машин — и легковые тут были, и грузовые, и санитарная, некоторые доверху лесом гружены. Из Овита возвращались с занятий наши Цмакутские ребяташки.

Некоторые из них прилежными казались, было и несколько шалопаев, эти просто так ходили в школу, некоторые уже тайком покуривали, двое с ранцами за спиной совсем ещё крошки были, ещё тут дочка Маро была да две девочки, её ровесницы, да урод со своим велосипедом, украсил его ещё двумя-тремя фитюльками и на себя красную мотоциклетную каску напялил, — всего около двадцати школьников. Те, что сзади шли, бросались маленькими камушками в урода, этот не обращал внимания, всё внимание его было поглощено дочкой Маро. В отсутствие родителей старшие дети делались над младшими родителями и младшие принимали это покровительство, а про плохое поведение старших ябедничали-докладывали, мол, «этот Карен швыряет камнями» или «этот Карен папиросы курит».

— Министерство здравоохранения предупреждает вас, что курение опасно для вашего здоровья, — громко провозглашал урод, ослеплённый дочкой Маро. Зашедшего за куст по малой нужде малыша непременно поджидал какой-нибудь большой мальчик или девочка, потом они опраивали на малыше одежду и вместе догоняли остальных.

Они передразнивали нас, взрослых, своих дедов и бабок, родителей своих, и всё им казалось смешным — наша принципиальность и забота, наши болезни и старость, наше возвышение и унижение, и были они сами при этом хорошие, ясные, чистые, звонкие.

— Но ведь, милый, хозяин Цмакута живой ещё, не умер, по причине нашей скромности не указываем на себя пальцем — смотрите сами и согласно собственной совести решайте, — это, значит, они нас передразнивали.

— Та-ак твою бабу! Во имя будущих поколений лес — мой! — а это, значит, наш отец был, известный им по нашим взрослым рассказам лесник Тигран, его гроыхающий бас надсадил ребёнку горло, грудь и голос ребёнка не выдержали, он поперхнулся, зашёлся в кашле, его стали стучать по спине и успокоили, обласкали на манер нашей сестры:

— Вуй, мой милый, умереть мне за тебя, боль твою мне себе взять, боль, боль, боль, чтоб твоя бабу умерла, вуй, вуй, вуй...

— Как принципиальные люди, мы должны выпить с тобой. Пью и хорошо делаю, план свой выполнил и с этой минуты свободный гражданин, — это, значит, пьяный пекарь наш был.

И азербайджанца не забыли, и руководителя хозяйств изобразили, не пощадили даже глухого сторожа.

— Ты, Ростом-паша, хороший человек, и лошадь у тебя хорошая, отдай лошадь своему другу, Ростом-паша, отдашь лошадь другу — хороший человек ты, не отдашь — плохой человек.

— Нет, ты должен выпить со мной, не отказывайся...

— Айта, Р-ростом, к-курицу с-свою не вижу, или лисица унесла, или д-дети. С-сено... — это сторож, его речь подхватили другие.

— Иг-голку п-потерял, ш-штаны п-порвались, не могу з-зашить, — и опять кто-то ещё: — Иг-голку н-нашёл, д-дырку не найду...

Они не смеялись даже, они были заняты, каждый готов был подключиться и продолжить представление Потом «руководитель хозяйств» отвёл в сторону «подчинённого» и важно, значительно сказал:

— Из центра гостя жду, для тебя же, говорю, может пригодится, ежели завтра принесёшь ягнёнка, тебе же потом и польза будет. Да сыру прихвати две головки, не помешает. А курицы не найдётся?

— Та-ак твою бабу, разграбил весь край, — ответили за нас.

— Пожалуйста. Сlopали, в горах поймали лошадь мою и слопали. Кто? Да Тиграновы дети, — это был старик, давным-давно потерявший свою лошадь и всех подозревавший.

— Та-ак вашу бабу, решаем вопрос в государственных масштабах, не встречавай со своей лошадью! — это, понятное дело, опять мы были.

Потом предложение поступило, мы будто бы сказали:

— Давайте пьесу разыграем, ребята!

Слово взяла дочка Маро, выступила вперёд:

— Быть или не быть, вот в чём вопрос. — И это уроду ужас как понравилось, и он тоже захотел включиться:

— Министерство здравоохранения предупреждает, что курение вредно вашему здоровью.

Но вот голоса смолкли, все вдруг посерьёзнили, замедлили шаг, охваченные подозрением и враждебностью, они уже были у особняка.

В саду народ уже расселся, молча ели, и коротышка возглавлял свой стол, он первый заметил детей и махнул рукой — идите, мол, сюда, потом приказал сотрапезникам:

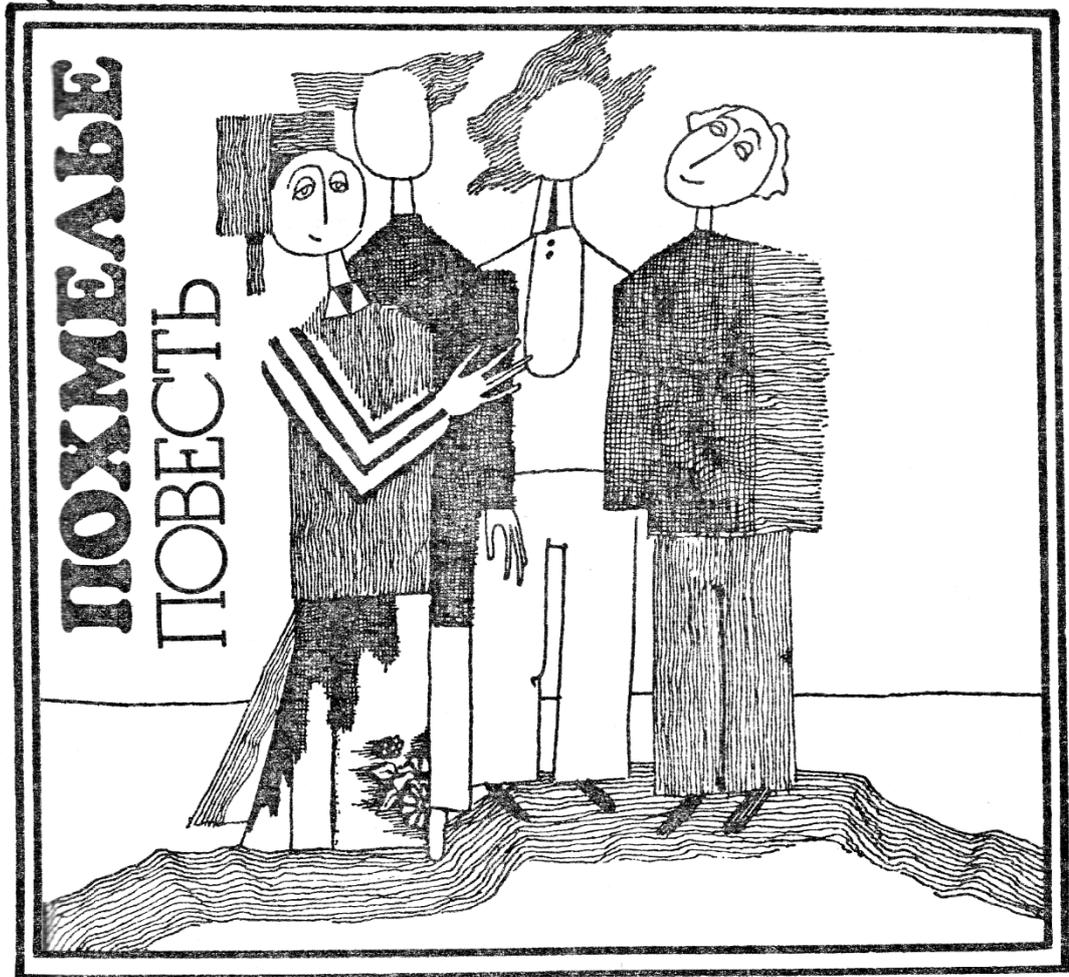
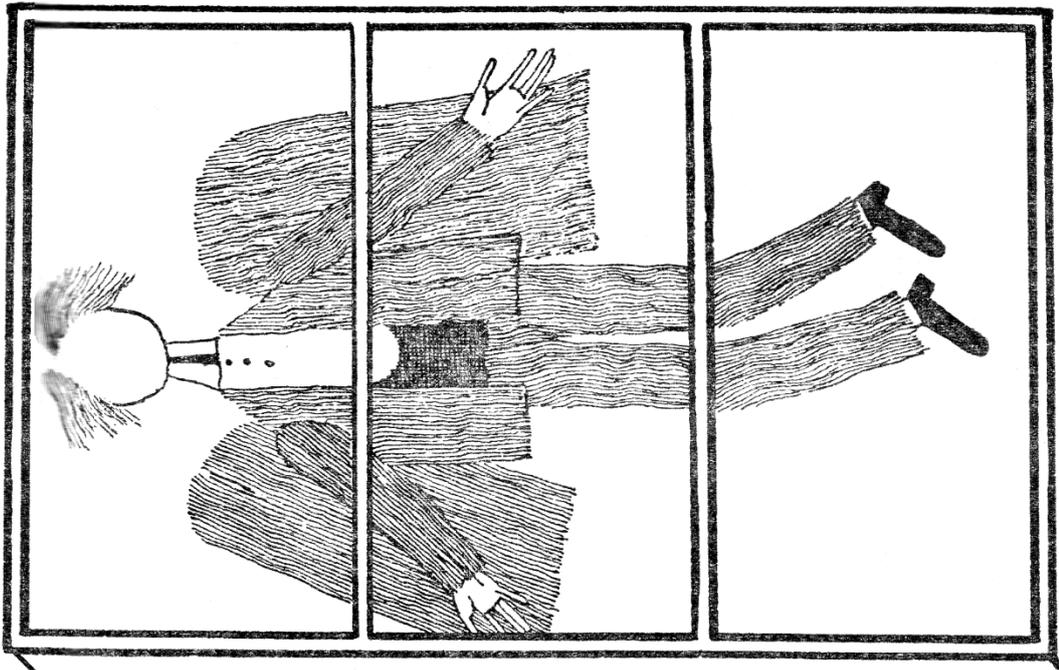
— Позовите детей, стол им отдельный накройте.

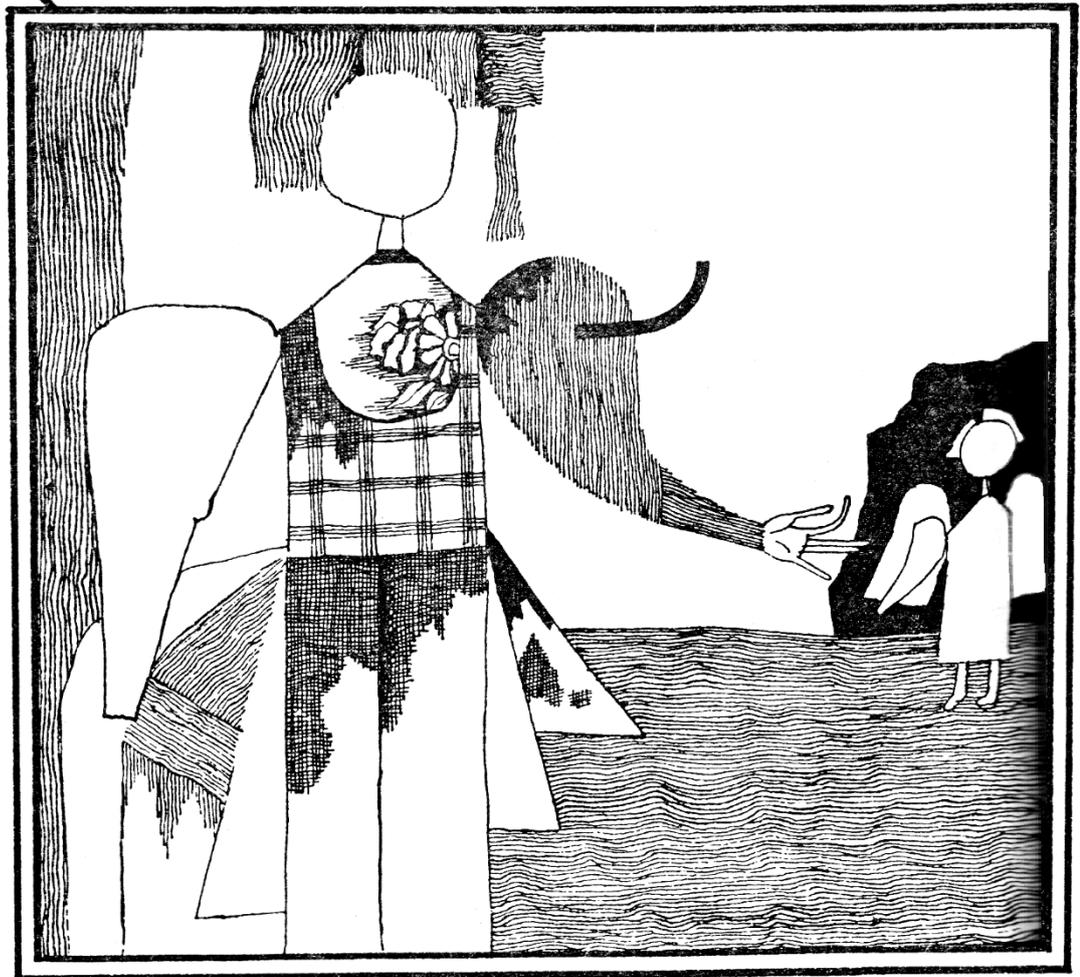
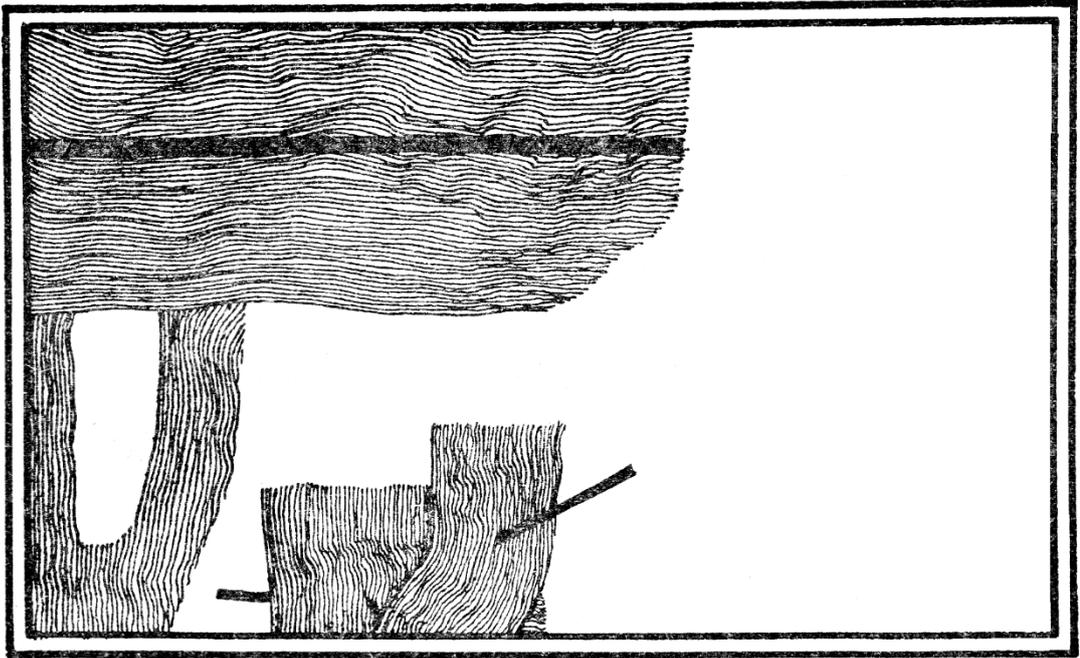
Ватага ребят с враждой и подозрением смотрела на них и вдруг ускорила шаги, стала уходить.

Они шли-шли и наткнулись на нас и нашу сестру. Где нашла она нас, распростёртого на земле, там и села, обняла нас за голову и с горящими сухими глазами гладила по голове и по груди и бормотала, рассказывала легенду нашей жизни:

- Без отца-матери мой брат...
 - В лесу подобранный мой брат, божье создание мой брат...
 - Лань придёт, покормит тебя молочком, ветер придёт, люльку твою покачает...
 - Среди пешего этого народа один-единственный всадник, мой брат...
 - От этого миллионного леса ни копейки себе не взял, чистым остался, с пустым карманом, мой брат...
 - Из-под всех вырвали коней, мой брат остался на своём скакуне...
 - Брату моему сиротинушке я отцом-матерью была...
 - Все молодые девушки на моего брата заглядывались, а мой брат свою неродящую, сухую жалел...
 - Мой примерный брат...
 - С уроков убежал, сам себе учитель и всему народу наставник, мой брат...
- В ясных глазах сочувствие, ватага шагнула к нам, а наша сестра продолжала свои причитания:
- Без единого друга-помощника, мой брат...
 - Заступник народа, мой брат...

1980





«...Подсолнухи смотрят радостно-радостно. Стоят молча и вместе смотрят вперёд. Они делали вместе тайное что-то, запрещённое что-то делали вместе, на шаги старика выпрямились и смотрят вперёд как ни в чём не бывало. Словно ватага ребятишек. Если у пчёл есть язык и они могут говорить друг с другом и обсуждать свои дела, если журавли выстраиваются клином и просят встать впереди вожака, если кобыла пасётся и одновременно сердито поглядывает на жеребёнка: куда, мол, неслух, тебя понесло... значит, под этим небом всякий обладает человеческим языком. Например, лес — как он продвигается вперёд — сначала идут кустарники, а уж за ними сам лес. Но вот к голому склону Сине́й Горы прилепился можжевельный куст, он зовёт за собой лес, что в балке, а лес ни с места. А, позовёт-позовёт — и высохнет в конце концов, потому что человека и скотины на земле стало много, куда ещё лесу-то...»

Рассказ как будто получается. Хороший будет рассказ. Во всяком случае этот последний абзац мне нравится. И стоят, пожалуй, друг друга моя усталость, мой рассказ и эта дорогая коробка сигарет, которую я опустошил за ночь. А куст можжевельника, значит, зовёт за собой лес, что в балке, чтобы вместе шествовать до... до самого...

Я пошёл умыться, и вознаграждением мне были холодная вода и мыло, свежее жёсткое полотенце и ещё то, что, когда я выходил из туалета, я чуть не столкнулся лицом к лицу с девушкой в полосатой, туго обтягивающей фигуру тельняшке; она шла умываться; близо-руко сощурившись, она узнала меня и улыбнулась слегка; кто мы с ней друг другу? — никто, но в одной из комнат нашего коридора она всё же существует для меня, так же как и я для неё.

Мои брюки сшиты прямо по мне, мои ноги в них сильные и крепкие. Широкий пояс застёгнут, как и полагается, на последних дырках — а рассказ в самом деле получается хороший; недельная передышка после восстановит мои силы. Грубоватый красивый свитер сидит на мне ладно, мне тепло в нём и ловко. Асмик успела-таки до родов связать — кончить его. Деньги на такси — есть, если сегодня не дадут стипендию — до послезавтрашнего дотянем. Эльдар Гурамишвили сварил сибирские пельмени и притащил в мою комнату; ещё он принёс с собой из магазина две бутылки сливок. Эльдар сейчас не пишет, но скоро он обязательно начнёт работать, это видно по тому, как он ревностно заботится обо мне.

- Ну, как там твой старик, что подельывает?
- Крутится в саду и размышляет.
- О чём?
- О том, что Аветиков род напрасно женится и выходит замуж.
- Почему?
- Старые рабы производят на свет новых.
- Остынет, невкусно будет, ешь как следует.

Пельмени с маслом уписывались с лёгкостью; мы подчистили кусочком хлеба подтаявшее масло, открыли бутылки и двумя глотками прикончили холодные сливки, и маслянистая их холодноватость была приятна после целой ночи курения.

— Как имя этой, из сто пятидесятой или сто пятьдесят первой?

— Ты про которую, казашку или близорукую?

— Близорукую.

— Казашка, та просто красавица.

— Метиска, наверное, не чистая казашка.

Лифт был занят, мы быстренько сбежали вниз, быстренько просмотрели почту на вахте и вышли к стоянке такси. На улице было морозно и сухо, внутренности наши ещё не согрелись после сливок.

— В южной пустыне стоит высокий пьедестал, на пьедестале большой помидор.

Мне это понравилось, я увидел этот красный лоснящийся помидор.

— Это что? — спросил я.

— У нас можно установить монумент в честь какой-нибудь пустяковины? Нельзя. И раз так, я отправлюсь в Африку, установлю под бешеным солнцем высокий пьедестал — на нём будет помидор. Блестящий красный помидор. Из рубина.

Возле Дома кино мы попросили водителя остановиться и, расплатившись — в меру щедро, оживлённо вышли из машины. И потому, что, приближаясь к Дому кино, мы обратились к таксисту «вот здесь, шеф, здесь нас сбросьте», таксист окликнул нас так же:

— Эй, шеф, портфельчик забыли.

В раздевалке стаскивала с себя сапоги, чтобы надеть туфли, мадам заведующая учебной частью. Она выпрямилась при виде нас и, чтобы мы поскорее забыли то, что сейчас увидели, поспешила сказать:

— С товарищами закавказцами опоздала к началу занятий, а фильм, между прочим, хороший.

— Но зато мы с вами, Раиса Васильевна, а с вами — как это говорят? — хоть в омут головой.

— А вы значительно продвинулись в русском, Мнацаканян.

— Ради того чтобы беседовать с вами, Раиса Васильевна, хотя бы беседовать...

Свет в смотровом зале уже был выключен. Мы прошли вперёд, осторожно и уверенно улыбаясь в темноте. Я нашёл свой ряд, своё кресло, и мне показалось, на меня смотрят с упреком чьи-то родные глаза, которые словно видели, как я выламывался в раздевалке перед нашим завучем.

— Бу-у-у? — я приблизил в полутьме свой лоб к этим глазам, и она отвела лицо от меня.

НОЧЬ

Похожее на атомный взрыв грибовидное строение. Куда бы они ни направили машину, грибовидное строение стояло перед глазами. Женщина была печальна, глаза у неё были печальные, капризный рот её был печален — а муж оставался безучастным к этой печали и к этому атомному грибу тоже, потому что он был писатель и успел уже описать на бумаге сто тысяч таких печалей и грибов. Они ехали навестить своего друга-поэта, очень талантливого, который умирал, возлежа в чистой постели Белой больницы, в соседстве с чисто вымытыми тепличными цветами, в светлой комнате с широким окном. Он умирал, а в окне немой сфинксом вырисовывалось грибовидное строение. В сущности, он был уже мёртвый человек. Физическая смерть этого в высшей степени талантливого поэта была делом двух дней (всё в нём уже было мертво), и он сам знал это, его только раздражала нервная жизнь внешнего мира — вот с оглушающим шумом приблизился, пророкотал над головой и улетел вертолёт, — он смотрел на ещё живущих, ещё дышащих, ещё любящих, ещё скучающих своих друзей и прощался с ними. В последний раз прикоснулся он мёртвыми губами к тёплой, ещё тёплой руке Жанны, и что-то вдруг взорвалось в нём: угасший рот стал исторгать слова о давней любви, первой, единственной, непроходящей любви, о страстной, мучи-

тельной, неудовлетворённой любви, и губы стали пожирать, целовать, целовать, целовать, невеста что делать с этой рукой, и это было сделано режиссёром ради отвратительной философии — что-де с нашим умершим телом похоронят заодно и наше мужское естество, которое живо и не хочет умирать. А грибовидное строение по-сфинкски размышляло вдали, немое и загадочное, размышляло и наводило на размышления. Женщина — и обстановка была не та, и муж тут же присутствовал, и страсть какая-то подозрительная была, — вырвала руку из этих мёртвых рук, от этих лихорадочных губ и нежеланных слов и, сдерживая рыданье, вышла скорее из этой комнаты умирания и раздражённости. Марчелло же, Марчелло — пожелал мужественно-спокойного отбытия к мирным водам Небытия этому обречённому талантливому поэту, другу жены и своему другу, чьи стихи отныне будут напоминать о том, что этот талантливый, очень-очень талантливый поэт когда-то — жил. Марчелло улыбнулся в последний раз своему талантливому собрату по перу и вышел из палаты. Вышел, чтобы поискать в карманах сигарету и зажигалку — длинный коридор с бесчисленными дверями поджидал его в молчаливой засаде. К засаде-тишине примешивалось непонятное что-то, чему не было названия. В дверях одной из палат — в самых обычных дверях — стояла раздетая наполовину женщина со взглядом тигрицы и сифилитички. Женщина у любезного господина попросила — не как желающая зачать тигрица и не как больная французской болезнью — самым обычным человеческим голосом она попросила о самой обычной услуге — попросила дать прикурить и, зажав сигарету между пальцами, поднесла её к губам — вовсе не как тигрица. Марчелло зажёл спичку и поднес её к чему-то непонятному, воплотившемуся сейчас в кончике сигареты, и увидел большой красивый рот, чуткие ноздри и бешеные и жалкие в своей тоске по мужчине глаза тигрицы.

И женщина дунула — погасила спичку, женщина посмотрела в глаза этого дремлющего мужчины, обняла его за шею и плечи и спину, и вдруг рухнула, соскользнула вниз и, обхватив обеими руками колени этого мужчины, прижалась искажённым прекрасным лицом к его плоти, его паху, его животу.

Это всё происходило в больничном коридоре. И, помня про это, Марчелло поднял с земли эту больную женщину, чтобы отвести её в палату, больную эту женщину. И полунагая эта женщина в палате резко захлопнула за собой дверь и медленно попятилась, прижимаясь к белой стене. Прижавшись к белой стене, распластав руки по белой стене, она отмахнулась, отогнала прочь больную свою душу, живущую в этом изумительном прекрасном теле, и потянула за собой, увлекла этого околдованного мужчину — к белой, болезненно белой постели. И скинула разом ночное одеяние, обнажила великолепную свою наготу во всю длину на белой простыне. И подождала. Подождала, что же будет теперь с этим спящим, дремлющим наяву мужчиной. И всхлипнув, завладела этим мужчиной и, застонав, как тигрица, сжалась в судороге. Она ждала змею-дракона, она взрыва фугасной бомбы жаждала, она молила об испепеляющем электрическом токе, а это был всего-навсего мужчина, всего лишь мужчина, но, ломая двери, ворвались сёстры-католички, они прикрыли её наготу, скрутили ей руки и обожгли сухими пощёчинами и ударами эти нежные щёки и эти плечи — чтобы изгнать тигровую болезнь из этого великолепного несчастного тела. Растерянный Марчелло вышел из палаты, «и для чего всё, кому это нужно — все эти шеренги пустых наших строк» — это была большая больница, и в ней — пятьдесят, сто, пятьсот, тысяча пятьсот палат, а в больничном дворе Жанна, прижавшись к стене, плакала об этом больном обречённом мире, и в молчаливом воздухе, вдалеке вырисовывалось современным сфинксом — грибовидное строение.

...Потом — Марчелло пришла будить служанка. Проснувшись, Марчелло увидел в окне всё то же грибовидное строение и служанку — о, простите, простите пожалуйста, она не стала бы будить, потому что она знает: он только-только задремал, она знает это, да, но звонит мадам. Мадам сказала, что... голос у мадам был оживлённый... Мадам говорила, что

она в другом конце города, на окраине, в открытом поле, она нашла там что-то интересное, что-то преинтересное. На окраине города, в открытом поле, парнишки — дети рабочих запустили самодельные ракеты, которые устремлялись в небо по прямой на целых восемьсот метров, ракеты уходили в небо, не преминув заметить эту капнувшую сюда — неведомо как — женщину из богатых кварталов, эту женщину, которая делает вид, будто не знает, чего она хочет, а на самом-то деле прекрасно всё знает.

И Марчелло, в этой большой комнате, затенённой густыми занавесями, скинул на пол, раскидал-побросал — пиджак, галстук, рубашку, брюки, потому что, скучая, он задремал в кресле одетый. Он подобрал новый галстук к новой рубашке, и очень грубая и очень свежая служанка искала точечку пыли, выискивала пылинку на его одежде, и ещё она искала в этом мужчине и ждала — пробуждающегося-непробуждающегося его желания, которое бы своею хозяйской властью вызвало бы к жизни её провинциальные таланты, и это было скучно и утомительно.

С сухостью прямых линий устремлялись в небо и этаж за этажом раскрывали безликие мёртвые окна на бетонные крыши и на атомный гриб бетонные дома, бетонная улица оставила четыре дырки для четырёх обчекрыженных, обстриженных деревьев — чтобы они могли извлекать живительные соки из-под асфальта, и это тоже было скучно.

«Что случилось, Жанна? Почему ты опоздала?» — «Марчелло, мальчишки пускали ракеты, ракеты они сделали сами, ракеты поднимались на восемьсот... О, для тебя ничего не интересно...» Они посмотрели друг на друга — они были сыты сном, хлебом, радостью, им лень было ненавидеть друг друга, и они изнывали от беспричинной тоски. Они должны были пойти сейчас и походя выпить смертельную дозу снотворных, чтобы покинуть наконец, оставить эти мёртвые окна и бетонные строения, эту безжизненность связей и свою великолепную квартиру, и убийственную скуку, и тоску, застрявшую в горле, как комок ваты. И тут им представилась возможность пожить — не умереть ещё часа два: и они пошли, чтобы принять участие в вечере, устроенном по случаю дня рождения дочери миллионера. Миллионов у этого миллионера было несметное количество — вы даже не смогли бы воскликнуть в удивленье «ах!» — это «ах!» застряло бы у вас в горле — всё остальное там было обычно, как у всех. Дочь миллионера по чистой случайности ещё не выпила свою смертельную дозу снотворных, а, может, и выпила, и, может, её уже не было среди нас в этой жизни, в Милане, в особняке, оцениваемом в один миллиард лир, среди дорогостоящих нарядов, сшитых так, чтобы обнажать-закрывать бёдра. Очень может быть, что она странствовала сейчас в других временах и наивно заголяла при ходьбе и прикрывала колени и складочки под ними. И вместе с Марчелло смотрела на свои колени и, как девочка, не понимала, что в них такого. Бесстыдная тоска Марчелло приковалась взглядом к этим коленям, погладила их и складочки под ними, потом поднялась выше и замерла там, и, хотя это было безнадежное мероприятие, Марчелло всё же не был грустен, Марчелло был даже радостен, поскольку определил источник своей печали.

Смертельная тоска жены Марчелло вот-вот должна была обернуться обычным распутством, под дождём, в автомобиле, посреди пустующего шоссе, её тонкое лицо вот-вот должно было обрамиться сухими и чувственными ладонями мужчины, и капризный изгиб её губ вот-вот должен был дрогнуть от мужского тёплого дыхания, её веки сейчас должны были опуститься, чтобы на две минуты спрятать вековую печаль её глаз. «Нет, — сказала она, — не надо, отвези меня обратно, у меня есть муж».

Богачи развлекались, шёл дождь, почти что ливень, но ливень не приносил облегчения и не освежал эти гниющие ещё со времен Нерона пьяные тела, и они — под пупырышками ночного дождика — плавали в холодных водах бассейна. Дочь миллионера пыталась понять, что же это такое в ней зевает и просыпается от присутствия Марчелло, но её отправили спать. Ещё в раннем детстве вследствие автомобильной катастрофы что-то в тайниках

её нервов сдвинулось, видимо, и со зрелостью вместе свойственная ей от природы сонливость переродилась то ли в половое возбуждение, то ли в поэтический экстаз — не понять, — пугая и настораживая тем самым всю домашнюю челядь и мать. А также и отца. Марчелло понимал, что именно зевает в ней, Марчелло хотел в этом безумном, этом сумасшедшем мире хотя бы на полчаса осчастливить её, но Марчелло вдруг заметил, что стоит напротив собственной жены — жена хотела сказать Марчелло, что она от него задыхаясь ждала, ждала, ждала и он сам обещал — он обещал ей это — большую, неведомую, убийственную любовь, а он — самый обыкновенный, а он полумёртвый, а жизнь — скучная, а тоска — неведомо откуда, а тревога — всегда... Но Марчелло сгрёб в ложбинку на поляне — сгрёб, смешал и растоптал — её слова, её печаль, её капризность, её тело, их одежды, её тоску, своё дыханье, её ноги, плечи, шею, и потребовал, и взмолился, и попросил её губы, губы, губы. Нет, нет, нет — противилась женщина, не хотела, ненавидела женщина, но Марчелло в какой-нибудь последний раз обрёл в лабиринтах цивилизации свою мужскую доблесть. И Марчелло взял и смешал её печали, её сопротивление, её самое — с собой... Ложбинка на поляне образовалась вот как: чтобы озеленить бетонный двор перед их виллой — земляной покров отсюда срезали и унесли по кускам, и земля обнажилась — как обнажается нерв, когда сдерёшь с него кожу и плоть. Они вздрогнули и замерли в неподвижности в этой ложбинке. О нет!

Домик вдаль стоял неподвижно, лес казался армией из деревьев, каждое дерево стояло само по себе, отдельно, дуб на опушке уже не имел ничего общего с лесом, кудрявый куст стоял отдельно, сам по себе, все деревья стояли отдельно — сами по себе и сами для себя, никто ни с кем не был связан.

КОНЕЦ

Фильм получил Большой золотой приз на следующих кинофестивалях: в Канне, 1961 год, в Венеции, 1962 год, в Сан-Пауло.

Вот что я вам скажу: им надо было родить пятерых детей, они должны были быть рудокопами в стёганных телогрейках, доильщицами — в горах под градом, должны были переправлять брёвна по рекам, уборщицами в яслях — вот кем им надо было быть. Чтобы их груди ссохлись, сжёванные младенцами, чтобы их бедра стёрлись, и порты ввалились от натуги, а лица сморщились, покрылись бесчисленными морщинами от постоянной необходимости улыбаться сразу сотне хозяев, чтобы во время дождя они попрятались под навес, разожгли бы костёр и грелись бы, отогревали промёрзшие косточки.

Свет в зале зажётся, и Ева Озерова была жалким созданием. И были жалкими — и было жалко их — все девушки и женщины в зале. И мне захотелось быть интригующим журналистом и циником, всюду несущим с собой переполох, и ещё мне захотелось, чтобы Армения была Италией, а Ереван — большим...

— Ну, что скажешь? — по-азербайджански спросил Максуд. — Что скажешь? — повторил он по-русски.

— Замечательно, Максуд, но мне это уже знакомо. Наш Бакунц сделал то же самое пятьдесят лет назад.

— Конечно, армяне во всём первые.

— Зато будущее принадлежит азербайджанцам.

— Жаль, что я утратил своё национальное лицо.

— Ничего, в один прекрасный день понадобится — обретёшь снова.

— Так что он сделал, ваш Бакунц?

— Крестьянину нравится горожанка, потом он эту горожанку находит в своей жене. Пробавляется, одним словом, старым.

— Но здесь это только оболочка.

- А что основа?
- Пошли пиво пить после обсуждения?
- Пиво не люблю.
- Чешское пиво, и раки к нему бывают.
- У меня бутылка коньяка есть.
- Коньяк побереги.
- Кого с собой возьмём?
- Мнацаканян, тебя кассир ждёт.
- Спасибо.
- Уходить собирается, сейчас кассу закроет.
- Спасибо, Герман.
- Значит, так. Пойдём: Эльдар, ты, я и Виктор Игнатъев. Хотя с Эльдаром пить не стоит.
- Девушек с собой возьмём?
- Ну, хочешь, приведи Еву, а вообще-то не стоит.
- Ладно, там видно будет.

За бездетность удержали напрасно, поскольку моей жене нельзя рожать, улыбаясь сказал я Валентине Сергеевне. Вашей жене рожать можно, у вас двое детей, улыбаясь ответила мне Валентина Сергеевна. За бездетность вычли напрасно: моей жене рожать можно, и у нас двое детей, улыбаясь сказал я Валентине Сергеевне. За бездетность удержала не напрасно, поскольку справку о детях в этом году вы не представили, улыбаясь сказала мне Валентина Сергеевна. Откуда же вам известно, что у меня двое детей, пуще прежнего заулыбался я. А я по прошлогодней справке знаю, что у вас двое детей, засияла в ответной улыбке Валентина Сергеевна. А вы возьмите и вот так же, улыбаясь, переправьте в той справке дату. А это будет уже не справка, это будет подлог. В таком случае дайте мне — я возьму вашу красивую руку и вашей красивой рукой сам изменю дату. И будем мы оба соучастниками подлога, улыбаясь сказала Валентина Сергеевна. И нас обоих запрячут в тюрьму, в одну камеру, улыбаясь сказал я. Это всё шуточки, серьёзно заговорила она и пообещала вернуть все прошлые удержания — как только я принесу новую справку. Она была полноватая, но вполне приглядная молодая женщина, но она терялась в этом множестве облачённых магией рампы актрис и молочно-белых студенток — слушательниц курсов. И потому она только раздавала жалованье и стипендии и с молчаливой улыбкой поглощала сливки и пупырчатые огурцы, разложив их на газете на крайнем столе, у стены. А в далёком селе Цмакут нервная жена моего бедного дядьки Хорена оставила его и, проклиная весь белый свет, удалилась из села. И мой бедный дядька Хорен вот уже семь месяцев как без жены. Ей сказали: «ахчи, мужчина как мужчина, куда это ты», и она ответила: «одно только — что мужчина, только это и умеет» — и, проклиная весь белый свет, ушла навсегда из Цмакута.

— Полонский уже начал лекцию, Мнацаканян.

— Я озабочен, Раиса Васильевна, ищу для своего дяди подходящую спутницу жизни из Москвы.

— Что значит — подходящую, может быть, учебная часть сможет вам помочь?

— Подходящую для жизни в деревне, полненькую, крепенькую, и чтобы сварливая не была, чтобы мой дядька ночью сбежал от овцы, прибежал бы к ней, а она бы ему сказала: «пришёл?».

Мадам заведующая учебной частью с минутку подумала, сообразила, в чей огород камушек. Мадам заведующая учебной частью воинственно улыбнулась:

— Что значит сбежать от овцы?

— Сбежать от овцы — значит оставить овец в загоне, оставить товарища спящим возле костра, спуститься ночью с гор домой и ночью же вернуться в горы.

— Это красиво, в твоём сценарии есть про это?

— Да, написал, чтобы вы потом вычеркнули.

— Напрасно, значит, написал?

— Я сказал себе — может быть, кое-кому понравится и, может быть, эти кое-кто защитят.

— Эти кое-кто не станут защищать, будьте уверены.

— Я себе сказал: поскольку эти кое-кто могут оказаться женщинами, то, может быть, всё-таки не вычеркнут.

— Нет, в самом деле, вы значительно продвинулись в русском, Мнацаканян.

— Благодарю вас за помощь, Раиса Васильевна.

— Сейчас я вам одну вещь скажу по-русски, и тогда мы поймём, достаточно ли хорошо вы овладели русским: у Полонского началась лекция, и вы опоздали на пять минут, Мнацаканян.

— На войне за такое причитался трибунал, не так ли?

Выйдя из дирекции, он, то есть я, закрыл глаза и потрянул головой: ну, сколько же можно, до каких пор, когда же ты человеком станешь, тридцатилетний осёл уже, хватит, уймись наконец. И увидел, что всё тело сжалось в конвульсиях, ещё немножко — и я завою. Ну, ладно, не делай только новой глупости, сказал он, то есть я, себе и, сдерживаясь, чтобы идти медленно, не бежать, пошёл к залу. И это тоже — как он выламывался перед кассиром. Тридцать лет тебе, осёл. Он почувствовал, что слова убивают заложенный в них смысл, и повторил: тридцать лет тебе, осёл такой, семью имеешь, отец ведь.

— Друзья мои, — сказал Полонский, — как вам понравился фильм Микеланджело Антониони? Начинаем обсуждение, прошу всех участвовать.

Эльдар Гурамишвили царапал в записной книжке, рисовал чёрными чернилами человечков, не отрывая самописки от листа бумаги, одной линией:

— Мы хотим знать, есть ли у Микеланджело Антониони тёща?

Он всегда несерьёзен — при своём таланте художника и скульптора он мог делать в день по одному надгробию для уважаемых жителей своего Кутаиси и построить для себя небольшую средневековую крепость в центре Тбилиси, а он сидит здесь с последней рублёвкой в кармане, и вся одежда его — эти единственные брюки. Его сценарий о незадачливом художнике ещё немножко — и должен был прославиться, прошуметь на весь Союз, но он усмехнулся и в секунду уничтожил и себя и постановщика: «Мы, конечно, признанные, полезные счастливики, мы можем сколько угодно смеяться над несчастными неудачниками». Его бесплодная жена глаз не сводит с него и ждёт одной-единственной его гримасы, чтобы бросить всё, удалиться в обнимку со своим горем и дать место другой, способной к деторождению, чтобы нервный этот дом наполнился, наконец, мягким плачем детей, их бессмысленным смехом и мокрыми штанишками. Муж, как только напьётся, мрачно скосив глаза, принимает решение капли в рот больше не брать, вот он уткнулся в книгу о йоге, а она краем глаза следит, не набрёл ли он в книге на такое место, где написано про бесплодие; где бы она ни была, она смотрит во все глаза, смотрит-выискивает — среди своих подруг и сослуживиц, среди прохожих, среди бегущих по улице женщин, среди гуляющих в театральных фойе — она выискивает ту единственную, ту одну, ту хорошую, с которой её мужу будет радостно и легко — и тогда она уйдёт, она уйдёт и поглядит на их счастье издали, просветлённо улыбаясь сквозь слёзы. Эльдар, — сказал я, — может, разведёшься всё же. — Ну, конечно, Эльдар сам такой замечательный, что стоит наполнить весь мир его копиями — один Эльдар, два Эльдара, три, четыре, десять, двадцать Эльдаров... как же.

— Друзья мои, прошу вопросы формулировать чётко. И, дорогие мои, отстаивайте свои суждения. Итак, тёща. Кто задал вопрос?

И вслед за очкастым взглядом Полонского все головы повернулись к Гурамишвили,

сейчас он был для всех олицетворением большого неопознанного таланта — грузин пушкинских времён. Сызмала пристрастившийся к алкоголю, нервный, неряшливый, с красными набрякшими веками, он царапал в записной книжке человечков и вопрос свой не повторил.

— Он спрашивает, — млея и источая сахар, пояснила Таня, — есть ли у Антониони тёща, то есть...

Полонский просиял. Его счётная машина располагала данными такой задачи.

— О мои дорогие друзья, — его счётная машина заработала, — вопрос этот исходит с позиций реализма, безбрежного реализма. Говорить о реалистическом кино с его огромным опытом можно бесконечно. У меня для вас прибережён свой ответ — из всех предметов и ситуаций, из всего жизненного хаоса искусство отбирает лишь необходимые для данной задачи предметы и ситуации. В сегодняшнем материале присутствие тёщ — абсолютно ненужная вещь.

— Мы всё это понимаем. Мы только хотели бы знать — у самого Антониони имеется тёща или нет?

— Говорить в этом фильме о тёщах, Мнацаканян, Антониони счёл лишним.

— А почему? Потому что у тёщ колени некрасивые, да?

— Хотя бы.

— Так можно, — посапывая поднялся с места Серафим Герман, — посчитать лишними всех шуринов и своячениц, все тряпки, пелёнки, и кухню, и газеты, и войну во Вьетнаме — вообще всё то, из чего создаётся действительная атмосфера жизни. Это красиво, но нечестно, Георгий Константинович.

— Друзья мои, итальянский неореализм ознаменовался именно вводом в кино всевозможного тряпья-белья, и если существует развитие искусства, а я полагаю, что оно существует, то новое итальянское кино обязано было освободиться от этого засилья тёщ, пелёнок и макарон.

— Конечно, было обязано, — как будто подтвердил Игнатъев. — Антониони вот освободился, и мне очень захотелось жить в атмосфере его фильмов, а не в кошмарном, понимаете, общежитии на улице Успенского.

Вот так делались значительными Виктор Игнатъев, Эльдар Гурамишвили, этот геолог Герман и ереванец Мнацаканов, который упорно называет себя Мнацаканяном, а вон ещё в своём углу поднял руку и сейчас очень важные вещи будет вещать, заикаясь, — наполовину по-русски, наполовину по-киргизски — Мурза Окуев... а красавица всё равно одна на тысячу женихов, а жизнь только один раз даётся, и надо прожить её победителем, а дед его рыбачил на реке, а отец — железнодорожный рабочий на одном из незаметных полустанков тысячевёрстной линии, а в Москве раздают лавры, в Москве происходят приёмы, и девушек в Москве великое множество... — и, рассеянно взяв сигарету из чужой коробки и достав зажигалку, но не поднося её к сигарете, поднялся с места высокий, широкоплечий, — перед нами, серьёзно оглядывая всех, стоял наш однокурсник Виктор Макаров.

— Всё то, что сказали ребята, Витя Игнатъев, Герман, Мнацаканов Геворг, ну и, конечно, Гурамишвили, — всё это вполне понятно и мило, и должен сказать, что я лично согласен с ними, то есть я не имею ничего против. Антониони отрицает действительность, в которой, по его собственному признанию, хотел бы жить советский гражданин Виктор Игнатъев. Я ведь правильно понял тебя, Витя? Благодарю. Виктор Игнатъев, конечно, не согласился бы жить в буржуазной этой действительности, Виктор Игнатъев сказал это в порядке шутки, но мы всё равно за этой шуткой должны разглядеть следующее: представитель западного искусства Микеланджело Антониони, будучи талантливым режиссёром, дал осечку — отрицаемое он представил в таком свете, что это показалось нам красивым, таким образом, он отрицаемое сделал желаемым. Но я сейчас хочу поговорить с вами о другом. — И Виктор

подождал, чтобы Полонский и вся аудитория спросили — о чём ты хочешь с нами поговорить?

Полонский в конце концов спросил:

— О чём вы хотите поговорить?

И Виктор Макаров продолжил:

— Я вот что хотел бы прибавить к сказанному моими товарищами — Виктором, Германом, Мнацаканяном и Эльдаром, — и мне кажется, они согласятся со мной...

— Не убивай нас, не прибавляй к сказанному нами ничего, мы всё равно не согласимся с тобой. — Аудитория боялась его, боялась незнамо чего, аудитория фыркнула на мои слова со сдержанной симпатией.

— Геворг, ты мне как прозаик нравишься, но для теоретика у тебя очень сомнительные возможности.

— А для мужа?

Оглушительный хохот аудитории не смутил его.

— Хорошо, — сказал он, — надо отдать должное — ты нашёлся. Но, Мнацаканян, прошу тебя выслушать меня, может быть, ты всё же согласишься со мной, а если не согласишься, я с радостью выслушаю твои товарищеские замечания. Так вот, Георгий Константинович. Какими методами создаёт свои картины Микеланджело Антониони — его собственное дело. Нас, представителей искусства нашей страны, должны волновать иные проблемы, а именно: независимо от всяких течений и направлений есть искусство вдохновляющее и есть искусство упадочническое. Мы строим коммунизм, и я лично за вдохновляющее искусство. Это между прочим. А вот вы мне скажите, Георгий Константинович, о чём была эта картина Антониони?

— Человек одинок, Макаров.

— А теперь вы мне скажите, как была построена Братская ГЭС, Георгий Константинович?

— В капиталистическом обществе человек одинок, Макаров.

— Извините. А как же в капиталистическом обществе совершилась Октябрьская революция?

— Люди попытались понять друг друга, Витя.

— Моё отчество Алексеевич. И сумели понять? Как по-вашему, Георгий Константинович?

— По-моему, сумели, Виктор Алексеевич, иначе как бы построилась Братская ГЭС.

— Ага, благодарю, Георгий Константинович. Иначе не было бы Братской ГЭС, очень хорошо. А как была создана гигантская фашистская армия, а как появляются на свет дети, как возникают военные блоки?

— Предположим, военные блоки возникают в результате общей заинтересованности и точно так же возникают, появляются на свет дети и образуются армии. Положим, что так, Виктор Алексеевич, ну и что из этого?

— Означает ли это, Георгий Константинович, что люди в состоянии понять друг друга?

— Безусловно означает.

— А где же остался, в таком случае, ваш Антониони со своим «человек одинок», Георгий Константинович?

— Добро... добро... А как же распадаются, Макаров, как распадаются семьи, армии, нации и государства?

— Но для того, чтобы распасться, нужно, чтобы они образовались, товарищ Полонский.

— Совершенно верно.

Виктор Макаров ответил, садясь:

— И мы с самого начала договорились, а до нас ещё Ленин и Горький сказали, что мы

за искусство борющееся, не так ли, Георгий Константинович?

— Но мы против искажения действительности.

— А если... — впившись серыми глазами в Полонского, снова медленно поднялся с места Виктор Макаров, — если в интересах нации, государства и родины немного — чуть-чуть — исказить действительность, Георгий Константинович, тогда как?

— Не может быть, Макаров, чтобы чувство родины толкало нас на ложь.

— А если чувство родины, извините, присуще только мне, товарищ Полонский, и только я знаю, нужна ложь или не нужна?

— До сих пор вы говорили правильно, товарищ Макаров, теперь как будто перегнули немножечко, а?

— Может быть, может быть, — уклончиво пробормотал Макаров и зажёл наконец сигарету. На сегодня, пожалуй, хватит. В Москве можно жить ещё год. От романа «На передней линии» остались кой-какие крохи — лежат на сберкнижке. Отзывы на сценарий положительные все. Надо зайти в редакцию журнала и прочитать рецензию на роман, пока не напечатали. Рецензент, говорят, не поспешил на похвалы, надо будет пообстричь немного, чрезмерная похвала может навредить. На 370-м полустанке отцу нужны деньги на хлеб и на водку, положительная ему ни к чему — положительную рецензию пошлём в Орск, начальнику тюрьмы, чтобы он зауважал Виктора Макарова и досрочно освободил Толика Макарова, этого дурня беспомощного, несмышлёного, этого воришку, безмозглого щенка, ставшего обузой тяжкой и камнем на душе. Вообще — со всех сторон обступила тебя и ждёт помощи орава родичей, их так много, что ещё немножко — и ты забудешь про свой пол.

— А я ни Макарова, ни вас, Георгий Константинович, толком не понял, — не выдержал, конечно, встрял в разговор Анатолий Юнгвальд-Зусев. Пускай встречается, пусть покрасуется немножко. Для того, чтобы достичь чего-то, надо что-то и проглотить. Ладно.

Все подождали, что скажет Юнгвальд-Зусев, прямолинейный и циничный Юнгвальд-Зусев. И через сознание всех профланировали бесстыдные и циничные слова Анатолия Юнгвальда-Зусева:

— Прежде чем критиковать, попробуем понять Микеланджело Антониони, это вам не кто-нибудь, это Антониони. Антониони сегодняшней своей кинолентой говорит: любое половое совокупление — акт насилия. Что тут неприемлемого, не пойму. Антониони берёт самый древний и самый естественный из союзов — союз двух людей — мужчины и женщины — семью — и приходит к заключению, что даже в минуты близости, когда люди в месяц раз общаются посредством обнажённых нервов — даже тогда люди не вместе, даже тогда каждый остаётся в своей оболочке. И раз уж этот союз не есть истинный союз, то как же можно называть одним организмом и единым целым огромное скопление людей, будь то фашистская дивизия или отряд рабочих строителей.

— Зусев, значит, способен в месяц раз общаться посредством обнажённых нервов, какой бешеный темперамент.

— Ты хочешь возразить, Мнацаканян?

— Сейчас, Георгий Константинович. Группу птиц на их языке как называют, Максуд?

— Стая. Группа птиц это стая.

«А как же птицы, живущие врозь, каждый в своём гнезде, в своём болоте, каждый сам по себе, — как же они образуют стаю перед тем, как улететь в Египет?» — произнёс он в уме по-армянски и встал, чтобы перевести самого себя.

— А как же птицы, живущие врозь, каждый в своём гнезде, в своём болоте, каждый сам по себе, как же они образуют стаю, готовясь к... — он, то есть я, не нашёл в русском языке обозначения слова «перелёт», — как говорят про птиц, собирающихся переместиться?

— Ты хочешь сказать — готовясь к перелёту?

— К перелёту, да. Спасибо.

— Готовящаяся к перелёту стая, — медленно, почти по слогам произнёс Юнгвальд-Зусев, — собирательное целое, состоящее из разрозненных единиц. Каждая отдельная единица из этой стаи боится неизвестности, каждая единица хочет быть сильной перед лицом неизвестности. И образуется сильная стая, состоящая из слабых единиц. Но это сумма единиц, это не единый организм, не одно целое, поскольку в стае каждая птица существует сама по себе и замкнута в себе. Правильно я говорю?

— Правильно. — И Мнацаканян вдруг почувствовал, что он перед Юнгвальдом-Зусевым прямо как ученик какой-нибудь.

— Стая достигнет Египта и распадётся, и снова будут отдельные птицы — каждый в своём гнезде, в своём болоте, не так разве?

— Так, Зусев, всё так. — Он сел. — Спасибо. — Он устроился поудобнее. — Абсолютно правильно. — Он согласился, да, но что-то всё же было неверно, что-то было не так... Его раздражала интонация Юнгвальда-Зусева. Он знал, что у него есть правильный ответ, что в конце концов ответ придёт, но отвечать нужно было сейчас. Перелётная стая связывалась у него с чем-то очень хорошим. Он слышал клич стаи в холодном осеннем небе, и ещё ему казалось — он слышит голос своей матери. Он нашёл лучший пример, с этим примером в руках он не должен был потерпеть поражение. Значит, его провели, надули в чём-то. — Говоришь, у стаи есть ужас перед неизвестностью, Зусев? — задумчиво проговорил он.

— Да, страх перед неизвестностью.

— Согласен, — он встал. — Слабые единицы объединяются перед лицом страха...

— Зачем мучить себя? — услышал он рядом недовольное бурчанье Эльдара Гурамишвили. Эльдар царапал в записной книжке рожицы — вон Зусев, вон что-то схожее со мной — с Мнацаканяном то есть, а это Полонский — изо рта у него вылетел клочок ваты, на вате написано...

— Слабые единицы, совершенно верно, объединяются перед лицом страха... Овца жмётся к овце, овцы идут к овцам — получается отара, и эта отара, вы бы видели, как управляется отара с волком... ты ведь об этом говорил, Зусев?

— Извините его, он из Закавказья, его хлебом не корми — дай поговорить про овец, а мне, северянину, про бедных овечек и тем более про их характер ничего не известно. Впрочем, можно предположить, что для того, чтобы разделаться с волком, овцам необходимо объединиться в отару. А что отара ничего с волком иной раз поделаться не может, это уже другой вопрос.

Он на его издёвку внимания не обратил, он, улыбаясь, обкатывал про себя, облакал в предложение свою основную мысль: птица, отставшая от стаи, до места не долетает, у стаи не бывает вожака, и не в вожаке дело, нет — стаей руководит нечто, что-то такое, чем ни одна птица сама по себе не обладает, потому что, обладай каждая птица этим нечто, каждая птица без труда бы совершила перелёт самостоятельно...

— Повернёмся, Зусев, к нашему основному примеру...

— Бедный русский язык, что с ним делают...

— Над Москвой... летит птичья... птичья... птичья отара. Про овец ты ничего не знаешь, зато про птиц тебе всё известно...

Зусев улыбался, остальные хохотали. Не русские — ни один русский над чужой ошибкой не смеялся, смеялись другие, те, что научились отличать по-русски «отару» от «стаи», смеялись нерусские. Говорить по-русски без ошибок было чрезвычайно важно для них. Он, отчаявшись, сел на своё место и тут же снова вскочил:

— Люди божьи, помогите же мне объяснить этому москвичу, что во время перелёта отдельные птицы... что ни одна птица сама по себе не существует, а существуют только все птицы вместе — группа.

— Отара.

— Скажи мне что-нибудь по-армянски, Зусев, а я посмотрю, как это у тебя получается!

— Армянский, к сожалению, ещё не принят как международный язык.

— Ну, хорошо, разве ты не понимаешь, что я хочу сказать?

— Ты хочешь сказать, что Антониони нет, а есть стая перелётных птиц над Москвой.

— Давай скажу тебе что-то на ухо, Зусев. И тебя, и твоего Антониони, понял?.. И вообще, твоё дело, можешь трепаться так сколько влезет. Девушки смотрят, начинай.

— Мнацаканян! Уже мешаешь!

— Как, уже, Георгий Константинович?

У всякой птицы есть крылья. Всякая птица может, размахивая этими крыльями, добраться до наступления холодов в тёплый Египет. Но всякая птица не может долететь одна до Египта, потому что не знает дорогу туда. Дорогу в Египет знает только перелётная стая. Стая — одно тело, это тело обладает неким инстинктом, который помогает ей найти дорогу в Египет. Этот инстинкт принадлежит только стае, он срабатывает только тогда, когда птицы объединены в стаю. Разлетись стая — пропадёт инстинкт, и птицы замертво попадают с неба одна за другой — в Чёрное море, в Сибирь, Скандинавию, Будапешт, Курск, Астрахань, Палестину. На время перелёта каждая птица отдаёт себя стае, каждая птица теряет себя в стае. Во время перелёта птица сама исчезает, птица делается стаей, её частицей.

Да, а Зусев в это время возводил стену из гладких отделанных оборотов и фраз, и разинув рты внимали ему все те, кто приехал с таджикских пастбищ, из Одессы, из молдавских деревень, из Йошкар-Олы, Азербайджана... Мурза Окуев окончательно выяснил для себя значение слова «секс» и, пряча улыбку, записывал у себя что-то в записной книжке.

— Кто такой Дон Жуан? Любой из нас, кто ищет пристанища в женской душе и, не найдя, удаляется, уходит восвояси, — говорил Зусев. — Кто был Дон Кихот? Кто был Гамлет? Кто я? Почему Виктор Макаров не захотел понять Полонского? Почему рушатся мосты? Почему ссорятся испокон веку отцы и дети? Почему расторгаются браки? Почему распадаются правительства, дезорганизуются армии, свергаются боги... — вот так Анатолий Зусев поднимал, поднимал, поднимал, поднял, наконец, стену, на стене поставил башню, сам встал на ту башню и протрубил во всеуслышание:

— Ку-ка-ре-ку-у-у!..

— Это ещё что такое, что такое, Мнацаканян?!

Оказывается, кукарекнул Мнацаканян, то есть я, а Зусев сказал с высоты своей башни:

— Потому что истинного единения нету, синтеза как такового нет и не может быть, есть только параллельное существование рядом. — И ах как это всем пришлось по душе, так же как последовавшее вслед за этим воинственно-щедрое: — А если я сейчас двину тебя по морде?

— Неужели, Зусев? Но ведь девушки смотрят, а ты ведь рыцарь, Зусев.

— Ты не согласен со сказанным Зусевым, Мнацаканян?

— Согласен.

— С чего ты раскукарекался, скажи на милость?

— Ваш Зусев болтает глупости, а вы все слушаете и молчите. По-русски есть хорошее слово — чушь.

— Но ведь ты тоже соглашаешься с этой чушью? Ты сам сказал.

— Да. Чтобы оставить его один на один с его чушью. Человек одинок!

— Значит, ты не согласен с ним? Ну, ладно, скажи в таком случае, как ты трактуешь картину Антониони?

— Никак. Я не принимаю эту картину.

— Почему?

— Тёща. В ней нет тёщи.

— Да вы что, взбеленились сегодня? — с улыбкой рассердился он. — Что вы все привязались к этой несчастной теще?

— Не к теще.

— А?

— Ко всей жизни. Когда разведывательный бур вгрызается в землю — сам бур слепой, — он проходит через глину, через гранит, через уголь, через подземные воды и достигает или же не достигает, находит или не находит искомое золото — я снова погружался во мрак чужого, трудного мне языка, упрямо не давалось мне, ускользало коварно русское обозначение слова «плутать», и хорошо, что Эльдар Гурамишвили спросил в это время у Анатолия Юнгвальда-Зусева: свой галстук накрахмаленный он только на шею себе повязывает или он ему ещё что-то заменяет, этот накрахмаленный галстук? Воспользовавшись шумом, я замолчал, а Эльдар Гурамишвили продолжал вполголоса дразнить Зусева, царапая рожицы в записной книжке:

— В Кутаиси, перед историческим музеем, Зусев, посетителей у входа в музей встречает громадный, невероятно большой фаллос. Одиннадцатый век до нашей эры. Туристы говорят — какая большая рыба, это, наверное, бог воды, но это не бог воды и не рыба, это фаллос, Зусев, самый обыкновенный, самый необходимый фаллос, Зусев.

— «Фаллос» — что такое? — с карандашом и записной книжкой наготове застенчиво поинтересовался Мурза Окуев.

— Друзья мои, — хлопнул в ладоши Полонский, — для того чтобы стать Антониони или не стать им, нам надо выучиться элементарной азбуке кино. Слушайте задание! Эту. Протяжённость — пять кадров, исходные — больной и врач, время — пятнадцать минут! — Он посмотрел на часы. — Раз, два, три... начали!

— Что, мы вам школьники, что ли, Георгий Константинович!

— Поощрение — три бутылки шампанского, распиваем вместе!

— Мало! — закапризничала аудитория.

— Пять, — просиял он.

— С «киевскими» котлетами!

— С «киевскими» котлетами, Игнатъев, очень хорошо. Почему бы и нет?

— А ваша жена вас домой пустит после этого?

— У меня нет тещи, Гурамишвили.

— Совсем как у Антониони. Счастливый человек! — Он убрал записную книжку в карман, завинтил самописку. — Значит, пять бутылок шампанского, Георгий Константинович. Не раздумали?

— Ни в коем случае, Гурамишвили. При условии, конечно, что этюд мне понравится.

— Такого замечательного человека днём с огнём не сыщешь — ни в Восточной Грузии, ни в Западной, клянусь. — Пуговица на пиджаке Гурамишвили отлетела, зацепившись за стол. — Пять бутылок шампанского есть пять бутылок шампанского. Значит, так. Забирающаяся в карман рука и женский крик — первый кадр. Рука, отпускающая поручень в трамвае, и топот ног — второй кадр. Рука хирурга с хирургическим ножом, слабое постановление — третий кадр. Залитые потом и медленно открывающиеся веки, пауза — четвёртый кадр. Медленно оживающая рука, которая потихоньку тянется к карману врача, — пятый кадр! Где шампанское?!

— Расшифруйте.

— Пожалуйста — вор залезает в карман, убегает, убегая, попадает под трамвай или автомобиль. Несчастный случай. Дальше. Врач его оперирует, вор возвращается к жизни, вор оживает, и рука его сама тянется к карману врача.

Секунду все молчали, потом кто-то сказал «бум!» — будто бы пробка выстрелила, потом — совсем как вылетевшая из шампанского пробка — очень похоже взорвался смех в

нашей аудитории. Потом сквозь этот смех мы разглядели, что дверь в аудиторию раскрылась и на нас с дежурной своей улыбкой смотрит директор наших курсов, бывший полковник разведывательной службы, ныне кинодраматург — четыре его фильма получили премии на кинофестивалях — в дверях стоял и улыбался Леонид Михайлович Вайсберг.

— Что случилось, господа-товарищи? Что тут происходит?

Говорят, во время второй Отечественной войны он был самым крупным специалистом в разведке по вопросам Ближней Азии, Турция, говорят, не начала войну против нас исключительно благодаря его деятельности. Сценарии свои он пишет всегда в соавторстве. Картины по его сценариям были неплохими картинами в своё время. И трудно понять сейчас, трудно понять, была ли дана премия ему, или она была дана его соавтору, или обоим вместе, учитывая богатейший материал, ему одному известный. Выявление попытки Рузвельта в Тегеране к самоубийству наши неосведомлённые головы связывают с Вайсбергом. Он слышит эти наши перешёптывания — и не слышит их. Он не опровергает этих слухов — он их и не подтверждает. Он только улыбается и спрашивает по-свойски домашним тоном:

— Ну как наши дела? Гурамишвили, у тебя? Ах, что за счастье в этом году привалило, что за таланты собрались на этот раз, Мнацаканян, у тебя что слышно?

Высокий, крепкий и поджарый, он сдержанно и небрежно дал понять Полонскому, что тот слишком распустил вожжи, улыбающийся, свежий и оживлённый, он дал понять разведёнке Изе Витауте, что вот — вернулся уже из командировки, и наконец какой-то незначительной репликой он всем нам дал понять, что заметил отсутствие Лакербая, Калихана Мухтарова и Михаила Безродного, потом он вроде бы до смерти обрадовался, растаял прямо-таки — так обрадовался, этюду Гурамишвили, не преминув заметить, однако, что человек не падает так низко и цель искусства — не демонстрация низких поступков и низменных качеств, он всерьёз возмутился — и заставил всех возмутиться с ним вместе — он не на шутку рассердился на войну во Вьетнаме: курс должен от имени работников искусства направить письмо протеста в соответствующие органы, а что, соберитесь да и напишите, — а вообще-то он пришёл, чтобы сказать, что — перемена, что следует пойти всем выпить по чашечке кофе с кусочком пирожного. Чашечку кофе или хотя бы стакан соку — для поддержания бесценных наших сил.

— Что за таланты, ну что за таланты, как на подбор, — улыбаясь пропел он. В эту минуту себя — а после и министра финансов — он уговорит, что каждый набор даёт стране тридцать талантливых специалистов, которые могут силой искусства внедрить в сердца человеческие любое решение партии, и недоверчивый и скупой министр финансов неожиданно для самого себя отпустит четыре миллиона рублей, а он снова отберёт новую группу свежих ребят — из юристов, фехтовальщиков, прозаиков, студентов и сельских учителей.

Оказывается, Вайсберг пришёл — при чём тут кофе и пирожное? — он пришёл, чтобы из тридцати человек выделить и положить руку на плечо Мнацаканяну, чтобы, восхитившись первоначальным вариантом его сценария (сценарий надо считать вариантом, непременно вариантом), — он пришёл, чтобы напрогнозировать Мнацаканяну удачу, верную удачу — первоклассную картину, чудо-фильм, ясно?

— Бóльшая часть работы уже сделана, ты молодец, я поклонник твоего таланта, но зритель — ты знаешь, зритель требует своё — введи в сценарий женщину или девушку, линию любви или хотя бы любовный эпизод. Кстати, как поживает поэт Шираз? Ты знаком с ним? По-моему, это на редкость хороший поэт.

— Но, Леонид Михайлович, я не могу ввести в свой сценарий девушку или женщину, любовную интригу или любовную историю. Отсутствие женщин в жизни пастухов в горах — одна из тем сценария.

— Вот как?

— Да. Они бросают всё и уходят с гор ещё и потому, что в горах нет женщин.

— И я и ты, Мнацаканян, — мы оба прекрасно знаем, что они не бросают своих гор и не уходят никуда. А так, пошумят немножко, пошумят и успокоятся — они любят своё дело и продолжают пасти овец среди чистейших пастбищ и холодных, сказочных родников.

— Не уходят, говорите? А как же тогда возник разрыв в нашем сельском хозяйстве, Леонид Михайлович?

— Никакого-такого разрыва в нашем сельском хозяйстве нет. Мы оба с тобой — и я, и ты — знаем это совершенно чётко, точно.

— И что же это вышло? Правда?

— Абсолютная. Во время войны американская помощь — я говорю про наше с ними торговое соглашение — так вот, пресловутая американская помощь дала нам всего лишь пять процентов употребляемых товаров. Остальные девяносто пять процентов давало наше сельское хозяйство, при том что от нас были отрезаны Украина, Белоруссия, Кубань и вся центральная чернозёмная часть. Ясно тебе? Они с гор не уходят, твоя картина едет в Канн, приносит полкилограмма золота тебе и миллион долларов нашему государству, твоя жена и все женщины начинают прыгать возле тебя, так и носятся вокруг своего прекрасного Мнацаканяна, и моё начальство довольно мною и радуется, потому что у него есть повод радоваться и быть довольным мною. Пойми, Мнацаканян, очень многие бы хотели быть сейчас на твоём месте. Многие просто мечтают об этом, кого ни возьми.

С тысяча девятьсот сорок первого по тысяча девятьсот сорок восьмой я ел зимой — картошку, летом — отвар из травы, один месяц грубые мясные отруби, две недели — похлёбку из чечевицы, американская помощь, что и говорить, составила полпроцента наших тогдашних расходов. В поле упал в обморок от голода наш лучший косарь Вани — да, но как мне объяснить этому человеку, как мне растолковать ему сейчас...

— Леонид Михайлович, они бросили горы, пришли в город, сделались рабочими, про-рабами, начальниками милиции, секретарями райкомов, директорами высших курсов. Как же мне говорить, что они не ушли оттуда, когда их там уже нет?

— Ты их очень любишь?

— Я один из них.

— В таком случае, дорогой Мнацаканян, тебе не надо ехать в Канн, поезжай в горы, стань снова пастухом.

Мой подбородок задрожал. Я возненавидел этого человека, возненавидел его плавный русский язык, его логику.

Я не скрыл своей вражды:

— А вы станьте моим соавтором, поезжайте в Канн и получите там свои полкилограмма золота.

Вайсберг засмеялся и со мной вместе спустился на второй этаж, всё так же обнимая меня за плечо. Мрамор и ковровые дорожки под нашими ногами были приятны, внимательное поглядывание на нас девушек было приятно, и я вдруг увидел, что мне нравится эта наша беседа с Вайсбергом.

— Заключает ли искусство в себе хоть малую, самую малую долю неправды, Мнацаканян, как ты думаешь? Вымысла?

— Я взял реальные события и реальных людей. Я даже имена оставил, не стал менять — чтобы не допустить даже самой малейшей доли неправды. Один из этих людей мой дядя, брат моего отца.

— Мой дорогой Мнацаканян, для того, чтобы зритель понял, что твои пастухи оставляют горы и уходят оттуда потому только, что там отсутствуют женщины, вот что ты для этого делаешь: ты на полгода лишаешь этого зрителя возможности видеть собственную жену и других женщин тоже. Ты запираешь его в тёмной комнате, кормишь шоколадом и орехами и полгода подряд крутишь ему свою занудную ленту, и только тогда до твоего зри-

теля доходит, что пастухи уходят с гор, потому что там нет женщин.

— Ах, так. — Я выскользнул из-под руки Вайсберга. Руки в карманах, я встал перед Вайсбергом. Встал на защиту своей точки зрения. — А если я введу в картину жару, здоровых и сильных мужчин, равномерный ритм косьбы, а рядом где-то, там, сбоку — пройдёт-мелькнёт полуодетая, то ли одетая, то ли раздетая, не поймёшь, самая обыкновенная красавица, красавица-горожанка — не станет разве ясно, что они оставляют горы, потому что там нет женщин?

Он молча улыбнулся. Он грустно улыбнулся и покачал головой.

— Великолепно, — сказал он потом. — Великолепно. Ты собираешь лишённых пола, изнеженных комфортом столичных киноактёров, собираешь их и везёшь в поле — мол, здоровые и сильные косари, потом собираешь со всей деревни косы, съёшь им в руки — а теперь машите и пламенно поглядывайте на залётную красавицу из города — и тебе кажется, что таким образом ты сводишь до минимума степень неправды. До чего же хорошо, — сказал он, — прекрасно просто. Шат лав э, — сказал он то же самое по-армянски. — Дорогой мой, поколение, родившееся в двадцатом — двадцать шестом годах, сложило головушки на войне, те, что родились в двадцать шестом — тридцать шестом годах, сплошь с язвой желудка, следующее за ними поколение — аспиранты в очках, ты где это видел сорок здоровых мужчин, чтобы собрать их, организовать косьбу и удивить Вайсберга и Романова?

Мой ответ вырвался из меня сам, независимо от меня:

— А мы пойдём и снимем в горах моего отца, односельчан моего отца!

Он не улыбнулся, он посмотрел на меня язвительно скривившись, подозвал к себе Еву Озерову, и сказал всё ещё мне:

— Что ты морочишь всем голову? Можно подумать, село твоего отца в Курдистане, что ты тут в экзотику всё играешь...

Он взял из рук Евы Озеровой, отобрал у неё какую-то игрушку величиной со спичечный коробок, раскрыл... полистал — и это была никакая не игрушка, это был Коран. Ева обменяла грубую английскую зажигалку на миниатюрный Коран, Ева должна была повесить этот Коран на серебряную цепочку и приспособить его куда-нибудь на платье или на костюм. Она надела сегодня замшевый костюм из обработанной оленьей шкуры, и её бёдра, её грудь и её плечи не излучают сегодня никакого тепла из-под этой искусно обработанной оленьей шкуры.

— Я подумаю, Леонид Михайлович, очень вам признателен, — сказал я Вайсбергу и безвольно отодвинулся от них.

Вот это вот кожаное кресло, а это пол, крытый линолеумом, вот стены, крашенные матовой масляной краской, вот Ева Озерова во весь свой замшевый рост, вот и классический рисунок её ног под слабо поблёскивающим капроном в высоких сапожках, а вот неоновые светильники, которые отбрасывают на лица холодный белый свет, это мои чёрные новые ботинки, а вон там юноши сорок шестого года рождения и девушки, ещё того моложе, на московском жаргоне гладкой скороговорочкой анализируют психологически-философские предпосылки возникновения фашизма, а вон ещё в углу Армен Варламов объясняет какому-то соразмерному женскому существу, что бороду он, собственно говоря, отпустил по случаю пятидесятой годовщины Большой резни — это когда в 1915-м младотурки устроили резню и уничтожили два с половиной миллиона армян. Вот какие турки мерзавцы, самодовольно заключает он, а вот отделилась, отошла от Вайсберга и направилась ко мне Ева Озерова. Ева Озерова подошла, села рядом, попросила сигарету и, закинув ногу на ногу, подождала, пока я зажгу зажигалку. — Антониони тебе понравился? — спросила она. — Ещё как, — сказал я. — Он вскрывает первородные инстинкты, движущие жизнью, — чётко и хладнокровно определила она, и в эту минуту с острым покалыванием зачесалась моя пятка в блестящем чёрном ботинке.

Брезентовые туфли могли намокнуть и мешать при ходьбе — я надел сплетённые отцом трехи и, продираясь через лёд и лунное сияние, сопровождаемый холодным лаем всех дсеховских собак, добрался из Ванадзора до станции, я побежал рядом с товарным поездом, пропустил все вагоны, прыгнул коленями и пальцами вцепился изо всех сил в последний вагон. Пальцы мои примёрзли к холодной кромке железа, и я подумал, что это даже хорошо, а то пока я искал, куда бы поставить ногу, мне ничего не стоило скатиться вниз, под колёса. Шапка моя еле держалась на голове — сейчас слетит, колени были изодраны в кровь, но крови не было, потому что было холодно. — «Еду в Шулавер, — обманул я проводника, — бабушка умерла». — Он взял меня под тулуп, и от этой ласки я немного раскис. Я растрогался, но так и не сказал ему, что должен слезть через три станции — пусть думает, что деньги где-то возле Шулавера получит. Когда поезд стал отходить от моей станции, но ещё не набрал как следует скорость, я выскочил из-под его тулупа и спрыгнул на землю. Вот так всё и шло с самого начала — хорошо: и то, что я не испугался дсеховских собак, и снежный ветер, и что кладбища не испугался — всё... На рассвете я толкнул дверь нашего дома и сказал улыбаясь: а вот и я. Геводжан! — сел в постели отец. Денег не было, они раздобыли где-то муки, напекли хлеба, связали в узел — на две недели еды своему студенту-сыну. Возвращение тоже было удачное, единственно что, выпрыгнув из вагона, я разбил пятку об лёд, а потом по дороге отморозил её. И когда я шёл, с хлебом за спиной, пятка отчаянно начала болеть. Я подумал — это от усталости, я сел на снег, снял трех, снял шерстяной носок и стал оттирать ногу, но, отогревшись, она стала болеть ещё сильнее, боль разбухала, боль разбухла и мягкими волнами ударила, разлилась по всей ноге. На секундочку я испугался и даже было завыл «ох, мамочки», но помощи ждать было неоткуда. И я снова надел носок, надел трех, и, когда поднял голову — в снегу присела и смотрела на меня какая-то бездомная, видно, собака. Басар? — дружелюбно сказал я, но, медленно отодвинувшись, она не приняла моего дружелюбия, потому что была не собакой, а волком. Тебя ещё не хватало, падаль несчастная, проворчал я. И от этого места до самого Дсеха он шёл рядом со мной, чуть поотстав. Что тебе от меня нужно, скотина?! — остановившись, закричал я. И он остановился тоже (дядька Мушег этой зимой на триста рублей волчьих шкур продал государству). Но потом я был благодарен этому волку, потому что начиная от Айгетака и до самого Дсеха моя обмороженная нога не болела.

Поднимаясь с кожаного кресла, я слегка опёрся о колено Евы Озеровой.

— Колени у тебя что надо, Ева, — сказал я, и мне показалось, что я уже решительно всё сказал. И я покраснел.

— Да? — она протянула мне руку, чтобы, как это принято, я помог ей подняться, Ева улыбнулась: так, слегка — и улыбнулась и не улыбнулась. — А ведь ты не лишён вкуса, почему ты всё время пишешь о селе?..

— Как это ты определила, лишён я вкуса или нет?

— Носом повела — учуяла.

— А фильмы ты тоже так распознаёшь?

— Твой сценарий должен был получиться хорошим. Так я думала, но сейчас он мне не нравится.

Потом я увидел, что мы направляемся к ресторану и что я шагаю прихрамывая, как в тот день. Нет, в тот день я не хромал и не шагал, а шёл своей дорогой и не говорил себе, что иду своей дорогой. Я был в себе, потом я был в Ванадзоре. Хлеб был пересолен, почему он был такой солёный?

— Ты иностранный какой-нибудь знаешь?
— Никакого, Ева, ни одного иностранного.
— И по-русски еле объясняешься.
— А то, глядишь, в один прекрасный день ты вдруг увидела бы, что я объясняюсь тебе в любви.

— В любви не объясняются.
— Да? А ты откуда про это знаешь — из кино?
— Ой, — сказала она, — с Кавказа пожаловал темпераментный юноша.
— И не понимает, что гранит нельзя сварить.
— Растопить, — поправила она.
— Всё равно я не чувствую запаха ваших слов.
— Аромата, — поправила она.
— Ага, я знаю, что запах — это не аромат, но я говорю неправильно, с ошибками и не чувствую запаха своих ошибок.

Навстречу нам шли Армен Варламов с Леонидом Гинзбургом, Армен Варламов сказал по-армянски громко-прегромко — будешь с ней целоваться? — будто бы Дом кино находится в небесах, а сам он будто бы тянулся-тянулся, чуть не оторвался от корня, дотянулся наконец до этого самого Дома кино и будто бы изредка только вспоминает и возвращается к своей первооснове. Поцелуй её имеет смысл, посоветовал он, удаляясь и беседуя с Гинзбургом о динамизме и статике... чего? — ничего. Было неприятно, было похоже на какое-то групповое изнасилование...

— Посмотрим, посмотрим, — по-армянски, кривляясь и коверкая слова, сказал я ему вслед.

— Говорят, он очень талантлив. Наверное, это так — он до крайности эксцентричен.
— Да. Модные зарубежные журналы рекомендуют быть эксцентричными.
— Что такое «амбюир»?
— Не знаю.
— Он советует тебе поцеловать меня?
— Нет. Он говорит, что живёт в Лондоне, но вот не забыл родной армянский язык.
— Он посоветовал тебе поцеловать меня. Ваш народ похож на итальянский, вы похожи на итальянцев.

От тарелки поднял голову — ей как будто улыбнулся, меня окинул оценивающим взглядом — какой-то мужчина. Когда мы проходили рядом с его столиком, он поднялся, высокий и ладный, похвалил коранчик и сказал, что в восемь часов...

Мой стол был свободен. Просматривая меню, я то и дело вскидывал на него глаза. Я хотел приревновать Еву к нему, но не мог. У меня вот есть любимый стол в ресторане, баранину я не люблю, я люблю говяжью вырезку с грибами, из всех мастей — иссиня-чёрных, просто чёрных, каштановых, золотых, почти белых и конопляно-зелёных волос я люблю тусклые, цвета блёклой конопки волосы и люблю, когда они гладко причёсаны; я не люблю больших громоздких женщин, они до смешного внушают мне ужас; не люблю коротких и полных женщин, высоких и стройных женщин, с тонкой талией и широкими бёдрами — тоже не люблю, не люблю девушек, я люблю женщин чуть поменьше меня, не люблю худых, не люблю толстых. Моя жизнь предоставила мне массу возможностей, именно моя жизнь, а не чья-нибудь ещё, и не в книгах, а в самом Доме кино — сиди и выбирай, смотри, кто тебе нравится и кто не нравится — на здоровье, пожалуйста. Экая роскошь.

— Кто эта сволочь в углу? — Я протянул ей меню: — Выбирай.
— Эта сволочь... — Она обрадовалась: — Мне холодную осетрину. Белое вино. Маринованные грибы. Всё. Больше ничего.
— У меня коньяк есть. Будешь пить коньяк?

— С рыбой?

— Я буду пить коньяк. Жена прислала.

— Тогда так... две осетрины, полбутылки белого вина и маринованные грибы, две вырезки с грибами, маринованные огурцы, бутылка минеральной, в конце по сто пятьдесят коньяку с апельсиновым соком.

— У меня целая бутылка.

— Ладно, разопьем её потихоньку до восьми. В восемь будет Бергман, Освальд пригласил нас.

— Какой ещё Освальд?

— Освальд, мой муж. Он работает в министерстве, он тебя знает, ему нравится твой сценарий.

— Это он похвалил сейчас твой Коран?

— Он. Он сам не пишет и не снимает — занимает в министерстве небольшую должность, но в смысле вкуса он идеален.

— Твой Освальд зарядку по утрам делает?

— Делает, а что?

— И ты тоже делаешь, я знаю.

— Делаю, а что?

— Ия делаю, нам надо беречь наше драгоценное здоровье.

— Я познакомлю вас — может, он тебе пригодится в будущем.

— Скорее я ему пригожусь, так мне кажется.

— А что, — сказала она, — очень может быть.

— Не знаю, Ева, когда я что-нибудь делаю с чужой помощью, какое-то неприятное чувство тут же отравляет мне всё.

— Во всяком случае, ты в Ереване, он — в Москве, а твой сценарий ещё немало тебя помучает. Позвать Освальда?

— Нет, не зови Освальда. Не обижайся, Ева, я ничего не делаю с чужой помощью, во всяком случае, стараюсь жить так, чтобы не прибегать к чьей-либо помощи, не обижайся. Из Еревана привезу тебе в следующий раз пару трехов, повесишь себе на шею вместе с Кораном.

— Трехи есть. Освальд привёз. Дай сигарету. Освальд их из Грузии привёз. Ещё у нас есть маленький колокольчик из Суздаля и деревянная Богоматерь — мы думаем, тринадцатый век. И ещё... — официант принёс еду, и мы заулыбались все трое, — ...небольшой кувшин из Гошаванка.

— Какого Гошаванка?

— Вашего. Севан проезжаешь, потом глубокое ущелье... Мы искупались в холодном Севане, позагорали два дня под горячим солнцем, потом спустились в Дилижанское ущелье, пошли смотреть Гошаванк.

— Это у нас ты так загорела?

Она посмотрела на свои колени:

— Паланга.

— А в Армении когда были?

— Я сделала несколько дубляжей, Освальд написал диалог к одному фильму, когда сорвалась поездка в Японию, мы решили махнуть в Палангу. Но в Паланге было скучно, мы полетели в Ташкент, посмотрели землетрясение. Оттуда прилетели в Ереван.

Опёршись рукой о подбородок, с мирно тлеющей сигаретой возле лба — я размышлял. Мой лоб был красив, в моих глазах была работа мысли, мои пальцы были бледны, никотин из моей сигареты был удалён. Конусообразная белая салфетка спокойно возвышалась по левую сторону от моей тарелки, а где-то рядом, неподалёку от нас, сидел Освальд Озеров

и в меру уважал меня... я к нему тоже не без уважения, мы оба воспитаны и любезны настолько, насколько чиста эта тарелка, эта салфетка и этот тупой нож из нержавеющей стали, — потирая висок, я усиленно размышлял... Родившиеся после войны ребята пришли и небрежно, но без вызова расположились за соседним столиком в четырёх кожаных креслах. Не раздумывая особо, они заказали четыре раза по сто граммов водки, две бутылки минеральной, четыре порции холодной закуски и четыре кофе глясе. И полились, потекли за соседним столиком сложные соединения простых слов:

— Война такое же естественное явление, как сам мир, как земля. Желание быть связанным с прошлым приводит к историческим исследованиям. Заманчиво — ещё бы! — закинуть мост в прошлое. А война суть следствие хорошо усвоенного урока истории. Или — уроков. Нескольких сразу. Я иду от моих предков, и сегодняшнее моё поведение продиктовано моими предками, только так.

На чистой скатерти, холодное и спокойное, ожидало нас белое вино. Неторопливо поднимался плотный аромат от осетрины, и выдыхалась и убывала сила ржаного хлеба. С наивной ясностью предлагал себя белый хлеб, как дикая кошка притаилась горчица, ни за что ни про что медленно сгорал, истреблялся трапезундский солнечный табак, и мгновение за мгновением ослабевала притягательность этой женщины, угасало и старилось её полное ликования тело — так отдаляется время, так устаёт кровь — так под моим разумным лбом плавали, перемещаясь с места на место, клетки, они приносили весть, уносили весть, искали пристанища, разрушали имеющиеся связи, умирали.

Мать моих детей не прислала мне письма с красивыми словами — она прислала мне посылку, не купила тёплую одежду для моего сына — купила вяленое мясо, шуршащие орехи и играющий на свету коньяк. Это мясо вобрало в себя всё мягкое солнце прошедшей осени, всю мягкую осень, пропитанную ароматом пшата; всю ярость, остервенелость красного перца Араратских долин, и вкус тысячелетней нахичеванской соли; эти орехи с орешины, что растёт на голых склонах, кишаших змеями, эти орехи насквозь прокалены сухим летним солнцем. Этот коньяк тридцать пять лет подряд втягивал в себя соки дубового бочонка, сделанного из дерева, выдавшего другие молнии и другое солнце, с лета тысяча девятьсот тридцать второго года он медленно вытягивал из дубового дерева аромат тех молний и вкус того солнца — этот виноградарь был убит потом под Керчью, а этого коньячного мастера каждый месяц, каждую неделю, каждый день, каждое мгновение уговаривают распилить дуб, измельчить в опилки, опилки засыпать в коньячное сырьё и в минуту обратить сырьё в коньяк, коньячный этот мастер устал тридцать пять лет подряд сопротивляться их разумности и отстаивать свою святую — от веры — неразумность. Если они ещё раз придут и скажут: неси бочку — он согласится, эта бутылка из последних его коньяков, солнце слабеет от лета к лету, молнии тех прошлых дней укротились, воплотившись в этот дуб и в этот коньяк, тех молний больше нет — моя сонная артерия несла сейчас в мой мозг концентрат самых отборных ароматов земли. Мягко, как тень, со склона соскользнул волк с волчатами, я поперхнулся и зажал рот нашему щенку. Они вышли из кустов, пришли, окружили нашего телёнка и, сгрудившись как тени, в одно мгновение слопали-сожрали кровь, крик, мычание, потроха, шкуру, мясо. Потом заметили меня, посмотрели лениво и разбрелись, унося с собой хвост и копыта. Мать отобрала у меня прут — и по голням, по голням, по голням, и тут я понял, что волки сожрали нашего телка, и я заплакал: вай, телок мой... — потом она побила этого дуралея щенка, который не залаял, когда надо было, и не напугал волков — вай, мой щенок...

— Это серьёзный вопрос, Ева, — сказал я, потирая кончиками пальцев свой висок, совсем как Аветик Исаакян на фотографии. — Для этого надо написать, по всей вероятности, целую серию статей. Берёт ли искусство жизнь и разрешает её проблемы, или это жизнь — берёт и разрешает в искусстве — как хочет — свои проблемы, скульптор, берёт ли скульп-

тор глину и разрешает задачу глины, или же посредством глины разрешает свои собственные задачи. Если жизнь берёт верх и разрешает свои... где же в таком случае осталась личность творца в искусстве? А если... Где осталась собственная логика материала? И значит, ты обманул, обманул и
.
цирковая тяжеловесность.

Мирно бунтовала, выдыхаясь, дикая сила чёрного хлеба, тихо светились настольная лампа на столе, шея Евы Озеровой, её милый взгляд и холодное белое вино. В этой тишине я втайне радовался своим возможностям теоретика искусства. Но группа ребят, родившихся после войны, была умнее меня. Восседая в четырёх кожаных креслах за соседним столом, эта группа изрекла безапелляционно и неумолимо:

— Надо истребить всех нищих. Потому что мы возмущаемся, видя, как они побираются, и возмущаемся, когда они не побираются.

— Если я разрешу этот вопрос, если я разрешу его для себя, Ева...

Она взглядом спросила: какой вопрос?

— Искусство — самоцель или оно для жизни?

— Ну? — с вилкой в руке, она подождала.

Но родившиеся после войны ребята продолжали изрекать свои блестящие мысли — без страсти, хладнокровно — и не в порядке спора — они изрекали мысль, секунду прислушивались к ней, потом словно бы отходили на шаг, смотрели на неё со стороны и, приблизившись снова, спокойно отсекали от неё часть, кромсали как хотели — как препарирует патологоанатом труп.

— Сфера общественно-политической жизни не стоит того, чтобы ею занимались великие умы, этот бардак всегда был и останется собственностью ничтожных людишек, и да взлетит на воздух эта машина, поскольку жизнь движется согласно своей логике, а государственная машина иногда только может — да и то не намного — сбить с пути, но при этом она ошибочно полагает, что направляет жизнь — она. — И группа замолчала, решив сделать передышку и энергично уплетая свою порцию лобио и холодного мяса.

В эту минуту я увидел чистую поляну, нашу длинную свинью с оравой сосущих её поросят и трёх мальчишек, вырезающих на ясене: ГЕВОРГ, САМСОН, РАЗМИК, 1947 — так написали мы в тот пасмурный день. Буквы были красивые, цифры ещё красивее, только О нам никак не давалось и нож соскакивал то и дело; а свинья поднялась и с двумя повисшими на ней поросятами ушла в лес. «Дай я напишу, дай я!..»

— Ты Ницше хорошо знаешь?

— Нет, я хорошо знаю только Туманяна.

— Я не шучу. Я знаю Ницше понаслышке, по цитатам, из других книг, а эти вот наизусть шпарят целые страницы, эти цитируют его на память страницами и критикуют. Ужасное поколение, и девушки и ребята.

— А мне кажется, никакое оно не ужасное, я был бы рад, если бы оно было ужасное. Но мне кажется — они обычные книжные черви, совсем как мы, Ева, обычные бумажные черви. Ты очень красиво пьёшь коньяк, ты умеешь пить коньяк, коньяк для тебя — не водка.

— Очень хороший коньяк, прекрасный. Но я больше люблю виски.

— А где вы его берёте?

Она мотнула головой: мол, спрашиваешь... — и пообещала подарить мне литровую бутылку водки, из тех, которых не достать.

— Я очень тебя люблю, — сказал я.

— Хлеб почему был такой солёный?

— Что-что? — сел в постели отец.

— Ох, ослепнуть мне, ослепнуть мне, ослепнуть мне. — Моя мать была тёп-

лая со сна, они выкрутили фитиль в лампе, в комнате стало светло. С тонкой шей, огромная голова чуть ли не в ногах, с голой задницей — на широкой деревянной кровати возник Грайр. С хныканьем проснулась Нанарик, тоже села в постели, распахнула глаза.

— Лампу зажгли, — сказала, потом розовые щёчки поползли-поползли вверх-вверх, а глаза наполнились улыбкой, и губы растянулись до ушей.

— Ослепнуть мне, ослепнуть мне, ослепнуть, верно, вышли все деньги, без денег остался, признайся...

В печке треснуло, печка чуть не подпрыгнула, обдав всех теплом, любовью, очагом.

— Айта, пришёл уже? — закачал большой головой Грайр. — Отгадай загадку, если отгадаешь — поеду вместо тебя в Кировакан. Что это, что это? — нос горячий, а задница холодная.

— Ты что же задницами встречаешь-угощаешь брата, — надевая трехи, сказал отец.

— А он меня чем угощает? Он для меня что-нибудь привёз разве?

— Голодный, холодный, без своего угла, ослепнуть твоей матери, ослепнуть мне.

Отец пошёл задать корма коровам, из хлева высыпали куры, коза ждала своей охапки сена, корова Нахшун, вытянув шею, глядела на меня и тоже чего-то ждала. Она раздалась, вся какая-то мягкая сделалась, скоро должна была родить. Сатик отелиться должна была в конце мая.

— Самый трудный — этот год, если перебьёшься, в ноябре все деньги за Нахшун отдам тебе.

— Не возьму.

Он мягко улыбнулся, проходя рядом, прижал мою голову к груди. Я быстро вычистил хлев, собрал развалившееся сено и пальцами нашёл играющего во чреве телёнка.

— Твой дед Симон, — в хлев вошла моя мать, — понимал в коровах лучше всякого доктора, но ни разу сытым из-за стола не встал, не вздумай становиться ветеринаром, нечего тебе делать со скотиной.

Мы поели картошки, поджаренной на растительном масле, попили чаю с сушёной грушей. На обед была отварная картошка и соленье из капусты. Грайр вдруг показал на неизвестно откуда взявшегося на стене медведя и утащил из-под носа у Нанарик одну из её картофелин. Никакого такого медведя на стене не было, а одна из её картофелин, должно быть, закатилась под стол.

— Это всё медведь, он унёс твою картошку.

— Гево, у меня сколько было картофелин?

— Четыре.

— А это разве четыре?

Грайр пересчитал её картофелины:

— Одна, две, четыре.

— Раз, два, три, четыре.

— Раз, два, четыре, три.

— Гево, он правду говорит?

— Раз, два, четыре, три, пять, девять, тридцать.

Грайр заставил меня наладить капкан, взвалил его на спину и пошёл ловить лису и студить свои оттопыренные длинные уши, он видел след на снегу. А отца нашего всё ещё не было.

- Ослепнуть мне, ах, ослепнуть, очень там мёрзнешь, Геворг-джан?
- После занятий захожу к Асмик, сидим вместе у печки до прихода её домашних. Потом забираюсь в постель и читаю.
- А по утрам?
- Утром все бегом бежим на занятия, а когда бежим — уже не холодно.
- Ну, в постели если читаешь, значит, это художественная литература, а уроки когда же учишь? Асмик кто такая?
- Один раз в театре был.
- Не стесняйся, захаживай иногда к дяде Седраку.
- На что они мне?
- Горячим обедом тебя накормят.

Отец, смущаясь, раскрыл дверь, муки он не достал, принёс пшеницу. Мельница наша замёрзла, не работала. В нижнем селе тоже замёрзла, ещё ниже, в Овите — тоже.

— Ослепнуть мне! Если дзавару наделаем, сможешь как настоящий мужчина варить обед себе? И горяченькое будет каждый день, Геворг-джан, и на целый месяц хватит — не хлеб, чтобы испортиться.

— Сварю, что тут такого. Только дров нет. Училище когда дрова даёт — в два дня сжигаем всё.

— А Асмик — кто она такая? — пусть варит у себя и приносит тебе.

— Конечно, — сказал мой отец.

Это они так думали, на самом же деле это было невозможно — пустой дзавар, вода и соль — какой тут получится обед? Они извлекли на свет наши жернова, и, покачивая большой головой, Грайр сел крутить ручку. Половину зерна Нанарик жарила мне для похиндза¹.

Я рассказал им «Отелло» от начала до конца, Грайр слушал и пытался стянуть пригоршню жареной пшеницы, но Нанарик каждый раз хлопала его мешалкой по руке, а моя мать подогревала воду в сенях. Яго, значит, отнял платок, а Отелло чёрный-чёрный, чёрный-пречёрный... Потом Кассио и ещё кто-то подрались на ножах, и пришёл Отелло — стал вопить что было мочи. Чёрный-чёрный, глаза блестят. Потом, когда я шёл по улице Фурманова домой, я уже не боялся Отелло. Да, мы всю смолотую пшеницу просеяли, и получился дзавар и грубая мука, муку мы снова бросили в жёрнов и снова смололи. Потом смололи поджаренную Нанарик пшеницу, но чтобы Грайр не позарился на вкусный похиндз, Нанар отогнала его и сама повисла на ручке жёрнова. И получился мелкий дзавар, получилась довольно приличная мука и ещё остался похиндз — чтобы лакомиться иногда. Тесто для хлеба было почти как из настоящей муки, дзавар насыпали в один мешок, похиндз в другой, да-а-а... а бессовестный Грайр сумел-таки утянуть пригоршню похиндза — по вине мамы.

— Всё из-за тебя, — заплакала Нанар, — всё из-за тебя!

Молча усмехнувшись, матушка пожелала ей про себя светлых безоблачных дней и хорошего парня, славного муженька, а для Грайра — взмолилась, попросила у господ бога должность руководителя хором в тёплых просторных городских палатах, а меня представила у доски, в белой скромной рубашке, объясняющим урок ученикам, — и мир весь был таким чистым, и голоса такими ясными, и счастье так звенело, счастья было через край, счастья было так много, что мать самой себе отвела место на зелёном кладбище под молчаливыми камнями, и

¹ Похиндз — молотая жареная пшеница.

её сердце востепенулось и зашло от радости и печали.

— Грайру за уроки, Нанар в угол, Геворг — в корыто, быстро!

— Какое корыто?

— Геворг купаться будет!

— Воду я буду лить!

— Ты девочка, Геворг мальчик, встань в углу и отвернись к стене!

— Я вчера мылся!

— А спину тебе кто тёр, голову кто намыливал, ноги кто скрёб? Ах, ослепнуть мне!

— Кто? Асмик, — прочёл в книжке Грайр. Я направился к нему, он закрыл уши руками и стал читать, очень внимательно читать урок. Но я шёл к нему, чтобы досказать «Отелло». Он был венецианским полководцем, очень знаменитым, всех побеждал.

— И Суворова тоже?

— Провалиться твоему Суворову, провалиться ему сквозь землю, ты ещё не в корыте?! Ну-ка быстро!

— Если захочу, я тоже смогу пьесу написать.

— Что же не напишешь?

— В общежитии холодно.

— Летом, когда приедешь домой, напишешь. Напишешь?

— Вода остыла, быстро! — она запихала меня в корыто, и вдруг я увидел, что я голый и держусь за трусы, не даю их стянуть, она вниз их тянет, я — вверх. Она, смеясь, шлёпнула меня по руке, я обиделся, хотел заплакать, и вдруг горячая вода залепила мне рот, обожгла голову. Я закашлялся, и вдруг мыло ослепило меня и забило в рот. Сквозь мыльную пену я разглядел, как хмыкал и тарасился на меня, довольный, Грайр и стояла в углу, послушно отвернувшись, Нанарик. Я был голый, мои руки скрывали внизу нечто условное, но вода снова ошпарила мне голову, и руки взлетели вверх защитить голову — горячо-о-о! Я захлебнулся водой, снова мыло залепило глаза, и холод неожиданно обжёт мне плечо. Холодно-о-о!.. Я услышал шлепок мокрой руки и смех Грайра, потом тёплая — не горячая и не холодная — вода мягко обволокла меня сверху донизу, обласкала, погладила и утешила. Сильные пальцы ухватили мой нос: — Сморкайся!.. Ещё раз!.. — И мохнатое полотенце крепко обняло меня, крепко обняло... и... — Чтоб твоего Отелло черти унесли!

Сквозь дрему я слышал: Нанар чем-то острым царапает мне плечо, чей-то небритый подбородок поцеловал меня в лоб, в пятке моей заиграла старая знакомая боль, а может, пятка просто зачесалась. Я прыгнул с поезда и упал в мягкую вату. Это наш дом. Мы возьмём с Грайром санки, пойдём в лес, принесём рассыпающийся от сухости валежник, санки соскользнут с обледенелой тропинки, холодными трехами мы упрёмся, чтобы удержать санки и удержаться самими. Санки прыгнут, скатятся с камня. Продрогшие, поёживаясь от холода, мы зададим коровам сена и воды и побежим к печке. На печку нашлёпаем ломтики картошки, сверху посыплем их солью и сядем возле печки читать «Жана Кристофа». Если заболеем, кто-то, сокрушённо охая, поцелует нам лоб — это из другого конца села пришла сестра отца, сквозь дрему, сквозь бред вы различите её встревоженную улыбку и гостинец — одно-единственное яблоко — и бред покажется вам яблочным ароматом.

— Не поеду в Кировакан!

— Маленький, такой ещё маленький, девяти не исполнилось.

- Холодно, у всех пальто есть, кроме меня! Не нужен мне ваш хлеб!
- Изобью сейчас, как собаку!
- Ничего не изобьёшь, а ваш хлеб ешьте сами! На здоровье!
- Ты знаешь, Саак должен твоему отцу, вернёт долг, купим тебе пальто.
- В мае?!
- Что же нам, пойти убить того человека?
- Мне что, убивайте.
- Ты мой умный сынок Геворг, ты моя отрада, моя надежда, моё будущее, ты помощник отцу, ты должен стать первым человеком в Кировакане.
- Не стану.
- Станешь и скажешь — моя мать была права.
- Кто тебя просил купать меня?!

Вечером мы съели отварной картошки и выпили чаю с лепёшками. Отец выучил Нанарик считать до шести — раз, два, три, четыре, пять, шесть. Грайр, несмотря на то что ходил в школу, ходил в школу, ходил в школу, каждый день ходил в школу, считать ещё не умел, а от картошки и сладкого чая нас всех немножко подташнивало. На подоконнике остывали, чтобы потом быть сложенными и связанными в мешке, десять свежих хлебов. А в городе я должен был получить четырнадцать рублей — стипендию. Четырнадцать рублей.

— «Отелло» ты уже видел, зачем тебе снова ехать в Кировакан?

— Не болтай глупостей.

— Да ведь, папа, такой холод, один, с тяжёлым мешком, столько хлеба...

Нанарик улыбалась, потом её вырвало. Я должен был получить четырнадцать рублей стипендии, проснуться в шесть утра, встать в очередь, купить десять штук белых хлебов. И в субботу вечером принести их Нанарик. Отец пошёл поглядеть на коров.

— Когда я купала тебя, сестра твоя подлила в тесто воды, подсыпала щепотку муки и снова долго месила, твоя сестра, для тебя.

Сидя в постели, она улыбалась мне, плотно сжав губы, щёчки красные... Отец вернулся из хлева — что он принёс, что он принёс, что принёс? — этой глубокой зимой для Нанарик одно белое гладенькое яичко принёс. Кто его снёс, кто снёс, кто снёс?

— Я!

— Глупый Грайр!

— Золотое пё-рышко...

— Кто его съест, кто съест, кто съест?..

— Намажем... намажем... намажем, — заикаясь, пролепетала Нанарик, — намажем на хлеб — получится гата... Геворгу...

Мать тайком утёрла слёзы.

— Не жить ей на свете, не жить, до того она хорошая, что не имеет права жить.

Потом семейство легло спать — Грайр пристроил задницу на подушке, голове — между ног, Нанарик упиралась коленом Геворгу в грудь и улыбалась во сне, запястье Геворга было под головой сестрёнки, другую руку он подложил под свою голову. Он дышал во всю мощь своих чистых розовых лёгких и за каждые десять минут вырастал, вытягивался на целых десять сантиметров, Грайр во сне обманул всех, будто он лисицу поймал, большую, с целого волка, а может, это волк? Отец вышагивал по мягким зелёным полям; печка потрескивала, остывая в темноте; мама лежала с открытыми глазами и видела этот холодный Ки-

ровакан, облитый луной, видела пропитанное мёдом жёлтое лето, белую нарядную рубашку на Геворге, полное вымя козы и краснеющий помидор на грядке.

— Когда Саак вернёт долг — пошлите мне, для Грайра куплю ушанку, для Нанарик пальто.

— Нанар дома сидит всё время, Грайр после обеда в школу ходит, не нужны им ни ушанка, ни пальто.

— Летняя стипендия за три месяца сорок два рубля составляет, слышишь?

— Слышу, не отставай, а сколько стоит пальто на тебя?

— Один раз пошёл, чтобы посмотреть, магазин закрыт был.

— Ты как это ноги ставишь?

— Не пойму, то ли чешется нога, то ли болит.

— Ничего, не голова ведь — нога.

— В марте мне приехать на каникулы домой?

— Смотри сам, как тебе сподручней будет.

— А если все разъедутся? Что мне там одному делать?

— Ты — не все, ты — Геворг, ты должен запомнить это.

— Летом, когда приеду, наберём малины, отнесём в Дилижан продавать.

— Подыщи лучше какое-нибудь лёгкое дело себе в Кироваване, пристройся куда-нибудь сторожем.

— Летом?

— Отстаёшь очень. Болит, видно, нога.

— Не знаю, чешется или болит. Если в деньгах дело, летом на малине больше заработаем.

— Брось думать про село, оторвись от села, хватит.

— Но ведь летом...

Когда я оглянулся с Кизилового холма — он стоял на коленях перед часовней Сурб-Саркиса. Я оглянулся, дойдя до поворота, — он всё ещё стоял так перед часовней. Я остановился на холме Подснежников, будто бы чтобы поправить мешок за спиной, я поглядел через плечо назад — он стоял возле часовни посреди белых снегов и махал мне рукой: иди, мол, не останавливайся, иди, иди. В холодном безмолвии я словно слышал его тоненький, как песенка прялки, голос:

— Иди, иди, иди...

...В Айгетаке я сел передохнуть — в пятке стало покалывать, я подумал, что она занемела, разулся, потёр ногу снегом. И тогда все покалывания объединились, превратились в клубок иголок, но потом боль смягчилась и округлилась, словно варёное яблоко. Пятка была отморожена, боль раздулась и меленькими волнами ударила в голень, об косточки, а потом поползла выше, выше — я взял пригоршню снега и столько тёр эту проклятую пятку, что боль наконец поприутихла. Я надел шерстяной носок, надел трех, завязал ремешки на трехе, и, когда встал и поднял глаза, — на снегу сидел какой-то приبلудный пёс, глядел на меня неотрывно. Басар? — дружелюбно, с чрезмерным даже дружелюбием спросил я, но он не откликнулся, потому что был волк. Он отошёл немного, но это не было бегством, он отступил ровно на столько, чтобы я мог понять — мы с ним враги. Что тебе от меня надо, стерва?! — закричал я, но он весь раскорячился и не сводил с меня глаз. Тебя ещё не хватало, мать твою!.. — напружив спину, растопырив пальцы, этот ребёнок двинулся — с каждым шагом делаясь сильным и взрослея — этот ребёнок двинулся на волка. Волк забрал хвост между ног и ощерился — испугался? Нанар улыбалась во сне, на тахте, усталый, прикорнул отец, а японцы отняли у деда Симона его коленный сустав и вставили

в колено своему генералу... зелёные глаза этого ребёнка встретились с бессмысленным волчьим взглядом, и этот ребёнок пошёл, чтобы задушить его. Этот ребёнок, с пересохшим горлом, шептал себе ободряющие слова. Волк отвёл от него глаза, опустил голову и ногами поднял снежную пыль кругом. Он наивно так захотел обмануть ребёнка — чтобы потом прыгнуть на него, но ребёнок приближался к нему, медленно и твёрдо, как деревяшка, — и волк забыл, что он волк и, заскулив, отскочил, отпрянул от него. Ребёнок теперь стоял на истоптанном, изрытом снегу — там, где раньше волк стоял, ребёнок выпрямился и вырос разом — сейчас он был крестьянином, деревенским мужчиной двадцати — двадцати пяти лет. Ну-ну, подходи давай, подходи! — насмешливо сказал он. И волк попятился и подпрыгнул, ещё попятился и ещё подпрыгнул, снова поднял снежную пыль хвостом и ногами и снова заскулил. И отскочил. Потом прыгнул вперёд. Покрутился на месте. Ещё немножко отодвинулся. И вдруг что-то похожее на продуманный план промелькнуло в его поведении, и ребёнку приоткрылся край неведомого ужаса. Это был волк, а может быть, это была гиена, а может, сама смерть. В ребёнке всё стало мертветь, потихоньку, поражённые ударом, онемели нервы. Ребёнок почувствовал, что он будет уничтожен прежде, чем волк нападёт на него. — Оте-ецц! — но он почувствовал, что голос его уже мёртв. Приближаясь и удаляясь, волк всё ещё плясал так: отпрыгивал, кружился в прыжке, чуть-чуть придвигался и на манер преследуемого делал два прыжка — убегал вроде бы. И ребёнок увидел, что он встаёт — с лозой по снежному полю проходила мать. На белом снегу показался ещё кто-то, кто-то очень близкий, родной, из их семьи. Он приблизился к этому родному существу и увидел, что приблизился к своему мешку. — Мешок-джан, — сказал он. А волк всё ещё приплясывал, удаляясь-приближаясь, приближаясь-удаляясь. Ребёнок рассказал, пожаловался мешку, что волк хотел обмануть его. Обмануть его, как обычно обманывают волки ослов.

- А после занятий ты всегда смываешься в это своё общежитие.
- Смываюсь, да. А что мне здесь делать?
- Господи... с людьми знакомиться, говорить, общаться.
- У меня работа срочная, я занят.
- Что сейчас пишешь?
- Один старик из нашей деревни после смерти жены пятнадцать дней ничего не ел и умер следом за ней.
- Ну и что?
- А то, что верность, что животная любовь друг к другу, что человек — бог старого села.
- Вот потому и говорю, что с людьми не общаешься. Сидишь взаперти и пишешь о всяких существующих и несуществующих стариках старого села.
- Что хочу, то и пишу. И потом, стипендии мало, на одну стипендию не проживёшь.
- Не так-то уж много нужно на чашку кофе.
- Здесь одни только слова, слова, слова, слова.
- И слова, и фильмы, и знакомства — и ничего в этом нет плохого.
- Не люблю.
- Смотри, законсервируешься так.
- Хотел бы, но не получится, не бойся.
- Удивительно, почему бы ты этого хотел, как можно вообще этого хотеть?
- А так. Хочу сохранить мою жалконькую индивидуальность.
- Это похоже на высокомерие, тебе не кажется?
- Если я не желаю вмешиваться в чужие дела, выходит, я высокомерен?

— Но на обсуждении у Полонского ты больше всех петушился, или я ошибаюсь?
— Знаешь что, говори поменьше, слова, они как мыши... — я забыл по-русски слово «грызть».

— Слова как мыши — что?

— Я тебя люблю, а ты всё говоришь, говоришь.

— Не вижу, чтоб ты любил меня.

— Показать?

С рюмкой возле губ она покачала головой — нет.

— Вот и вся твоя смелость.

— Как ты можешь говорить про мою смелость, что ты знаешь про меня?

— Ты похожа на мою жену. Немножко.

— Правда?

— То ли фигурой... а может, разрез глаз? И у обеих ноги не длинные — коротковаты...

Она улыбнулась, но отхлебнула коньяк.

— Это твоё старое впечатление, — сказала она, — в этой одежде не видно, не понять.

А Дом кино и вправду ужасен: и откуда они только берутся, эти длинноногие, свежие, высокоинтеллектуальные девушки... Послевоенное беспечное поколение. Куда нам с ним тягаться?

Я подумал, но не сумел найти в русском слова «молочно-белый».

— Не люблю их, — сказал я.

— Освальд тоже так говорит. А мне они нравятся.

— Кто такой Освальд?

— Мой муж.

— Почему он их не любит?

— Не знаю. Говорит — не люблю. А ты почему не любишь их?

— Не знаю. Не люблю. Каждая в отдельности — куда ни шло, но вместе — ужасно.

— Лем говорит про это — сразу тысяча Моцартов

— Кто такой Лем?

— Не читал его? «Тысячи Моцартов одновременно — ужасно», — говорит Лем, и сам становится тысяча первым. Ешь, пожалуйста, а то ты страшно отощал. Когда из Еревана приехал, красивым был, а сейчас смотреть страшно.

— Выпьем за Лема.

— Тебе уже нехорошо.

— Прошлой осенью поехали в Гошаванк с друзьями, не представляешь, сколько тутовой водки выпили.

— Тута — это то дерево, которому Христос сказал «засохни»?

— Да.

Синий гранит Гарни среди ясного осеннего дня, шуршащие орехи и впереди — горы на горах; с поверженного телеграфного столба спрыгнула коза; исполненные достоинства орешины; разграбленные детьми и птицами виноградные лозы и две-три кисти чудом уцелевшего чёрного винограда на них; связка красного перца на двери — время жило в ладу с этой вечностью, согласно и тепло. Я медленно пригубил коньяк. Она тоже его пригубила, потом отхлебнула кофе.

— Значит, что ты мне обещала?

— Я тебе обещала... Я обещала тебе бутылку «Русской» водки.

— На целине, за то, что я им должен был сложить печь, русские женщины обещали мне жареного гуся и водку, со всем прочим в придачу.

— Сложил печку?

— Сложил и вспоминаю то время с любовью и грустью.

Чья-то небритая мягкая щека коснулась моего уха.

— Здравствуй, Эльдар.

— Здравствуйте, мадам. Что вам нужно от моего несчастного брата, из-за вас он не спит, мысленно изменяет жене и пишет по ночам рассказы о верности. — Он обнял меня за плечо: — Мой хороший, мой бесценный. — И тише: — Мой телёнок. — Он поднял меня с места, отвёл в угол зала и, насмешливо и любовно посмеиваясь, посчитал на пальцах: — Телёночка нашего окрутила — раз; муж, молодой крепкий парень, размахнётся — костей не соберёшь — два; английскую шкуру пожалеет снять с себя — три; ты потеряешь себя, потеряешь голову, а она будет говорить в это время «Ингмар Бергман, Ингмар Бергман», то есть она сноб — четыре; дай мне двадцать рублей — пять.

— Пьяный уже?

— Не пьяный.

— Где твоя стипендия?

— Долги раздал, осталось пятнадцать рублей.

— Пятнадцать рублей. На четыре дня.

— Шампанское пили, человек десять набралось.

— Полонский ведь должен был угощать.

— Полонский сидит на зарплате, а Грузия богатая страна, Грузия очень богатая страна.

— Чёрт с ними, у каждого по тысяче рублей в кармане, пусть сами пьют и сами расплачиваются.

— Мой милый Геворг, разве ты не знаешь, что тысяча — круглая сумма, тысячу нельзя разменивать.

— Опять будем бутылки сдавать, Эльдар.

— Может быть, напечатают шарж на Закариадзе в журнале.

Он полетел сломя голову к ребятам, я медленно пошёл обратно. Вот этот, некрасивый и бесполоый, но на экране делается красавцем, и девушки по всему Союзу влюблены в него; а вот эта играет роли доярок, уж такая она там вся доярка — и душою, и повадками, и речью, но здесь она уже не доярка, увольте, здесь она жрица любви; а вот эти девчушки из соседнего учреждения — они пришли сюда и за свои обеденные два рубля обедают и находятся на Монмартре одновременно; у этой разрез глаз такой, словно она всё время ждёт какой-то вести, хорошей или дурной, а на экране мы видим прекрасные полные тревоги глаза; не пойти ли мне поругаться с Арменом Варламовым и стукнуть его разочек за эту похабную бороду, отпущенную по случаю годовщины геноцида армян — тебя ещё, сопляк, не хватало... этот давно уже стал символом русского воина, почти таким же символом, как памятник Неизвестному солдату, а сейчас вот гудит басом, жирным, как «киевская» котлета: «Ненавижу полукровок, всякую помесь, ненавижу, когда смешивают кровь...» — но у него самого монгольский разрез глаз, а короткие толстые брови его — совсем татарские. Я вдруг понял, что стою возле их стола, но было уже поздно.

— Что смотришь, юноша, на меня, что, молодой человек, не нравлюсь я тебе у себя дома?

— В своём доме я бы вам такого вопроса не задавал.

— Ах, извините, в своём доме он такого вопроса не стал бы задавать! А где, с позволения сказать, твой дом, мышка-норушка?

— Мой дом затерялся среди миллиардов рублей, полученных за бездарные роли, ясно?

— Биль-ярдов. Всё ясно, молодой человек.

— А вы по-армянски и полсловечка не выговорите, это тоже вам ясно?

— Что случилось, что случилось? — меня отталкивал Эльдар.

— Вот герой выискался, из армян, говорит, сам. Один на биль-ярд.

— Брат мой, брат мой, ничего...

Виктор Игнатъев и Эльдар побыли с минуту возле нашего стола. Виктор сказал, грустно оглядывая меня и отходя:

— Что ты связываешься с калекой? С калекой связываться нельзя. А вы, свиньи, оказывается, пили самый лучший в мире коньяк.

Виктора привела и усадила за наш стол Ева.

— Потому что, — она вздохнула, — назревала драка. Его разбитую башку смазали бы йодом, а вас обоих исключили бы. И сорвалась бы Витина поездка в Японию, наверняка бы сорвалась.

— Ну и пусть.

— Как это пусть?

— А так. Подумаешь, что в Японии такого?

— Ладно, не злись.

— Ему дровосеком надо было быть — он стал артистом, не хватит этого — сидит тут и разглагольствует. Скотина.

— Я согласна, я совершенно согласна с тобой.

— С чем ты согласна, не пойму?

— Человек был знаменитостью, потом...

— Какой ещё человек?

— Этот, черносотенец. Был знаменитым, потом пьедестал из-под него выдернули, а он без пьедестала уже не может — что делать? — он становится на пьедестал русского патриотизма. И вот — человек ненавидит полукровок. Ничего не скажешь — патриот, а патриотизм хорошая штука... Толстого я понимаю, толстовцев — нет. Человек ведь неповторим. Ты должен быть собой, только собой, а не толстовцем. Слушай, формулировка моя собственная: ничтожные людишки берут на вооружение великие идеи великих людей, чтобы приобщиться и хоть немножко возвеличиться. В их тени. Ну как? — подперев щеку рукой, спросила она.

— Тысячу раз слышал.

— Знаешь, — сказала она, — точные формулировки всегда кажутся знакомыми.

И вроде бы я это тоже где-то слышал, вроде бы даже помнил того, кто так говорил. Подперев щеку рукой, Ева смотрела на меня — да ведь это же Асмик сидит передо мной.

Она захотела взять сигарету, я прикрыл рукой коробку, и она мысленно дала мне это право — разрешать ей или не разрешать курить. Было тихо, мы молчали, мы чувствовали в себе коньяк, и коньяк нам нравился. С коньяком вместе нравилась мне и она. Аспирант-киновед Ева Озерова. И вроде бы я ей тоже нравился. За соседним столиком, внимательно выслушивая друг друга, энергично беседовали родившиеся после войны ребята. Я понял, что они смотрели недавно и обсуждают фильм «Нюрнбергский процесс». Очень может быть, что, не доверившись режиссёру-постановщику, они уже успели побывать в библиотеке и сами ознакомились с материалами процесса. Мне нравилось их лишённое предрассудков хладнокровие, с которым они ставили и разрешали вопросы. В своём последнем слове Кейтель сказал: мне стыдно, что я принадлежу к немецкой нации. Что-то похожее сказал Зайдель. Это клеймо позора на нашем лбу, клеймо позора на лбу наших детей и наших внуков. А Рудольф Гесс сказал: я счастлив сознанием того, что выполнил свой долг члена национал-социалистской партии и что был верным последователем моего фюрера, я ни в чём не раскаиваюсь, если бы я начинал свою деятельность снова — я поступил бы точно так же. И даже если бы я знал, что конец мой — на костре, я всё равно вёл бы себя точно так же. Последние слова Кейтеля и Зайделя содержат в себе надежду на прощение и не лишены элемента провинциального актёрства, а слово Рудольфа Гесса один из парней счёл нужным повторить, отредактировав перевод:

— Сознание того, что я выполнил свой долг члена национал-социалистской партии и был верным последователем моего фюрера, делает меня счастливым даже теперь, когда так называемый международный военный трибунал присудил меня к пожизненному заключению. Я не сожалею ни об одном из моих поступков. Если бы я начал свою деятельность заново, я бы сделал всё, что делал, будучи национал-социалистом и помощником фюрера, и, если бы даже я наперёд знал, что дело моё обречено и что меня бросят в костёр, я всё равно поступил бы так же, как поступал, будучи помощником фюрера. Я закончил.

Родившиеся после войны ребята молчали, словно это они сами вершили Нюрнбергский процесс, словно сами слушали речи обвиняемых преступников, потом они похвалили Гесса с лёгкой улыбкой:

— Вот это мужик.

Ева потянулась за сигаретой:

— Позволь мне всё-таки.

— Кури, если хочешь, твоё дело.

— Да, — с какой-то грустью и снисхождением сказала Ева, — добрый старый наивный реализм с добрыми старыми наивными словами: «Поскольку память человеческая коротка, Нюрнбергский наш процесс явится предупреждением и беспристрастной летописью... а также и поисками истины... для будущих историков и политиков»... И сие называется кинематограф...

— Кто смотрит за твоим ребёнком, Ева?

— А что? Он на продлёнке, а вечером у моей мамы.

— Твоего ребёнка кто рожал?

— Ладно-ладно. «Мы хотим знать, есть у Антониони тёща или нет». Тебе не идёт быть эксцентричным, и, кстати, причиной твоего поражения в споре с Юнгвальдом была твоя ложная эксцентричность.

— Что лучше, Ева, экзистенциализм или ребёнок? Экзистенциализм не плачет и грудь не просит и не истребляет человеческую жизнь.

— Что ж ты бросил своих детей и приехал в Москву за этим самым экзистенциализмом?
А?

Усевшись прямо против неё, я сказал ей:

— Я — мужчина.

Ева не ответила мне сразу. Ева подумала и из десяти ответов выбрала самый красивый:

— Бог знает, что ты там делаешь в этом жутком общежитии.

— Живу себе.

— Которая твоя комната?

— Сто шестьдесят седьмая.

— Пошли уже.

— Больше не будем пить?

— Нет, уйдём отсюда.

— Я ещё могу пить. Есть какая-то черта, если до неё дотянуть — дальше можно пить сколько угодно и не пьянеть.

Она улыбнулась, совсем как Асмик.

— Да-да, ты герой у нас, ты не пьянеешь. — Она подкрашивала губы серовато-малиновой перламутровой помадой. Её рука была красива, красивы были её чуть раскосые глаза. И гладкий высокий лоб. И волосы цвета конопли. У армянок такого лба не может быть. Такой лоб может быть только у русской женщины. Но сейчас мне особенно нравилась её рука. Она обвела губы чёрным карандашом и понравилась себе в зеркальце. — Рисунок губ чуть-чуть подправим... вот так... теперь всё хорошо, — и сунула мне в карман трёшку, которую я оставлял официанту на чай. И то ли знакомая тревога, то ли радость на секунду сжала мне

сердце. Асмик очень любит маслины: «маслины кончились, а в магазинах нету», — и как дурочка смотрит мне в лицо. Нет, скорее это была тревога. Нет, Асмик губы так не подкрашивает. Нет, «полукровка» убрался, «полукровки» в ресторане нет.

— У тебя деньги какие-нибудь остались?

— Сколько тебе нужно?

— Я для тебя спрашиваю.

— Если хочешь... Нет, сколько тебе нужно, скажи?

— Да для тебя же спрашиваю. Бог знает, как вы там в этом кошмарном общежитии живёте.

Она мне по плечо, нет, чуточку выше — наверное, до подбородка доходит. На ней плотная замшевая юбка, широкий кожаный пояс, замшевый пиджак, коричневые сапожки. И то, как бьются при ходьбе её волосы цвета конопля, мне знакомо, мне родное. Громоздких женщин невозможно любить, потому что... И мне захотелось в эту минуту, очень захотелось взять её за руку, только за руку, крепко-крепко сжать её руку...

— Знаешь что, Ева... — Я должен был многое сказать ей сейчас, сказать очень решительно, чтобы это было почти как к стенке прижать, но её лицо в эту минуту скорчилось в гримасе, во взгляде появилось что-то отталкивающее. — Я не хотел бы влюбиться ещё раз.

— В кого ты собираешься влюбиться?

— В тебя.

— Очень хорошо, только кто же тебе это позволит?

— Я сам себе позволю и тебя заставлю.

— Не ври, это скучно.

— Мне кажется, я не вру.

— Тогда скажи мне, вот сейчас ты влюблён?

— Извини, пожалуйста.

— Не обижайся, прошу тебя. Просто я знаю, что среди столько фильмов, актрис, девушек, ресторана и кафе — находясь среди всего этого, невозможно говорить правду — что бы ты ни сказал сейчас, будет неправдой, не обижайся. А в другом смысле, я не готова к этому, и, мне кажется, ты тоже не готов.

— Прошу прощения.

— Но ты не обижайся.

— Я не обижаюсь.

— Как-нибудь я приду в это ваше общежитие посмотреть, как вы там живёте.

— Ага. И мужа с собой прихвати, не забудь.

— Но ведь ты напрасно обижаешься, Геворг. Ну, разрешаю тебе, поцелуй меня. Целуй, скорее только, чтоб никто не видел.

— Ни в коем случае.

— Придешь в восемь на Бергмана?

Из лесу понатащили сюда берёзовых стволов и веток, приволокли несколько пней, и зал превратили в аллею, на электрическую лампу набросили красную тряпицу — получился очаг. Спрятанный в каком-то углу этого новоявленного леса магнитофон доносит до нас старые песни про родину и про врага. И это лучше, чем находиться в настоящем лесу, потому что здесь нет паутины и мошкары. А вот фото Манолиса Глезоса, и это тоже лучше, чем если бы перед нами стоял живой Манолис — потому что это и Манолис и в то же время отсутствие фашизма. А вот и я, и это тоже хорошо, потому что меня как будто нет. Двое влюблённых сейчас начнут целоваться в этом декоративном березняке — вот это уже противно, потому что мужчина лыс, и ни верится, чтобы он околдовал девушку... Надо быть полководцем, отдать свой талант родине, и пусть другие возьмут на себя маленькие заботы касательно чистоты твоих ботинок и твоей кухни...

— Привет, старина.

— Здравствуй, старик.

Эти ковры удобны, и мягкий снег за окном — тоже, удобны мраморные ступени, удобна эта сухая ласка обуви. Удобны Паустовский, скандинавская печаль и английская королева Елизавета.

На влюбленных в березняке смотреть невозможно, потому что у девушки толстые, как у школьницы, колени, а мужчина лыс, и тут не может быть речи о любви, и это уродливо. Поимей совесть, поимей совесть и признайся себе, что девушка очень недурна, но это уже другое поколение, и девушки этого поколения должны принадлежать юношам своего поколения, и это единственная правда, потому что все остальные случаи пахнут тайным воровством или отдают наглым грабежом.

— Как дела, Геворг?

— Спасибо.

— Я очень доволен твоим сценарием, чтоб ты знал. И не я один.

— Спасибо, очень приятно.

— Подробнее поговорим в понедельник. Будь здоров. А Вайсберг обязан придираться, это входит в его обязанности, и пусть это тебя не волнует.

— Спасибо.

— В понедельник в двенадцать я буду здесь. Посидим поговорим, с Вайсбергом вместе. Ну всё, я пошёл.

— До свидания.

Удобен этот мирный неоновый свет, этот телефон, который за мягкое пощёлкивание двухкопеечной переносит тебя на другой конец кучерявого города Москвы, в чистую и тёплую квартиру, такую же чистую и тёплую, как этот Дом кино, «Старик, ты хочешь посмотреть Бергмана?». Этот туалет сверкает белизной, как постель в гостинице в самый первый день... И как начинающуюся влюблённость — почти так же приятно тебе сознавать крепкое здоровье собственных почек... удобна тёплая вода, пахучее мыло, бледные твои руки, неоновый свет, полотенце. Неоновый свет, полотенце, зеркало в стене и несколько морщинок на лбу, обозначающих возраст. И хорошо, что тебе не сорок лет и не двадцать пять, а ровно столько, сколько тебе есть — тридцать.

— Эй, ты, — я подмигнул себе и щёлкнул себя в зеркале по носу. — Нет, ты хорош, ничего не скажешь...

— Пошли в бильярд сыграем, — улыбнулся себе я.

— С кем играем? — Мягкая полутьма зала спокойно приняла меня в свои объятия. За столиками вдоль стены, склонившись над шахматной доской, раздумывали очередной ход шахматисты, в тишине зала плавали не сходящиеся друг с другом ниточки их мыслей. На чистых, как футбольное поле, бильярдных столах мерцали пирамиды белых шаров, полосатый шар молча поджидал чуть поодаль, он должен был сейчас покатиться и удариться о пирамиду — учтиво, холодно, спокойно. Подперев кием подбородок, наполовину в тени, кто-то томился в ожидании партнёра. Армейский строй честных киев предлагал свои услуги деликатно, с тайной преданностью тебе и подразумеваемой любовью. Ни одна коса ни разу ещё не ждала косаря вот так — с готовностью, как крепкая нагая девушка. Так подставляется полное вымя козы — козлёнку, так предлагались пожилым сенаторам юные рабыни — в римских банях. Этот короткий. У этого кожа на конце отошла. В этом... в этом свинца на два грамма больше положенного. Этот слишком скользкий, будет елозить в руке. Отобрав себе кий из шеренги и обласкав сморщенную кожу мелом, он, то есть я, мельком посмотрел на шахматную доску: чёрные жертвовали коня, намечался мат или что-то вроде этого, и т. д. Каждый из сенаторов был гениальным полководцем, изошрённым политиком и суровым законодателем, а тело каждого из этих сенаторов тёрли, мяли, били, обкатывали

водой, гладили, массировали, взбадривали, умащивали благовониями сотни мойщиков-рабов, а сотни свеженьких рабынь дарили этому сенатору и его стареющему телу ликование своих упругих юных тел, и его тело поздно старело, а его ум политика оставался гибким, всегда гибким, как змея.

— Ну что, сразимся, старина? — сказал он, то есть я, с той дрожью восторга и той любовью к партнёру, которая у него появлялась только при виде бильярдного стола. — Играем до начала Бергмана, старина, проигравший, то есть вы, закрываете счёт. — И только теперь он взглянул партнёру в лицо, и ему стало немножко не по себе, потому что партнёр был тот, «полукровка», с кем он сцепился недавно в ресторане.

— Научился бы держать кий, — усмехнулся «полукровка».

— Прекрасный совет. Благодарю. Уступить вам двадцать очков?

— Вот тебе четырнадцатый. Молчи и бей.

— Бейте сами по своему четырнадцатому.

— Нет, четырнадцатый твой.

— Я не смог с вами пить — очевидно, не должен и играть.

— Бей по четырнадцатому. Ты бьёшь по восьмому, чтобы разозлить меня, это нечестно.

— Я воспитан на ваших картинах, разве я могу кого-нибудь злить нарочно?

— Начинай игру и бери себе четырнадцатого.

Моя пятка бешено зачесалась. И как можно так говорить — не люблю толстых женщин, не люблю стройных, девочек школьного возраста не люблю — как можно классифицировать женщин по размерам, жизнь сама по себе уже такое ликование. Крепко, до боли упёршись пяткой в пол, он с треском отправил четырнадцатого в лузу — и отбросил шар обратно — шар снова ударился о полосатого и — хочешь не хочешь — повис тяжестью в сетке. Подталкиваемый третьим, оказался в сетке и восьмой, а сам третий медленно покатился к центру поля, а полосатый остановился, прижатый к краю. Восьмой был забит блестяще, четырнадцатый показался мне близким родственником.

Мой партнёр направил полосатого в общую кучу. Полосатый с десятым вместе бок о бок встали в углу. Десятый можно было забить в два приёма. Его бледная рука, его семидесятишестикилограммовое ухоженное тело, десятый вошёл в лузу единственно возможным образом, полосатый встал там, где ему полагалось. Возвышаясь во весь свой рост, одерживал победу во всех общественных бильярдных Владимир Маяковский, всех побивал и выходил из бильярдной растерянный и перепачканный мелом. Скошенным ударом шестой сейчас покатится в среднюю лузу. Скошенные удары предмет нашей гордости — но какая-то тревога, какая-то тревога набухла в Геворге Мнацаканяне, беспокоила. Шестой вошёл в лузу, «полукровка», между нами говоря, неплохой человек. Тринадцатый как будто бы самый удобный, но, так и быть, пускай ему достанется. И почему это он полукровка? — все мы в конце концов полукровка. Он отнёс десятого и шестого в склад. Там уже были четырнадцатый и восьмой. Четырнадцатый. 14 рублей 20 копеек. «Полукровка» забил тринадцатый точно и грубовато, удар был короткий. От удара прыгнул в лузу первый, прыгнул, но тут же выскочил.

— Засчитывается.

— Не договаривались.

— Ничего, будем считать, что договаривались.

Пятнадцатый был расположен лучше первого, но «полукровка» промахнулся. Бить сейчас по пятнадцатому было полным абсурдом, но Геворг выбрал именно пятнадцатого, и пятнадцатый встал так, что стоило до него дотронуться только — и дело было в шляпе, но «полукровка» опять промахнулся. Пятнадцатый теперь встал неудобно, а полосатый откатился в центр. Геворг взял под прицел одну треть пятнадцатого, очень тщательно применился; — браво, — похвалил партнёр, но то, что Геворг забил шар, было чистой случайно-

стью. Ему показалось, что ему хочется курить, зажигалки в карманах не было, сегодня он пришёл на занятия в связанном Асмик свитере, не в пиджаке, и значит — он потерял подарок Грайра, но он держал зажигалку в руке — запах бензина портит вкус сигареты, надо пользоваться спичками. Небрежно и лихо разбежался по полю третий — вошёл в лузу. — С тобой можно на спор играть, — сказал партнёр, это была похвала, но что-то, смахивающее на собачий вой, нарастало в нём, и было тревожно от этого. За бильярдными столами проводили дни Наполеоны, а ты, я думаю, не Наполеон. Чтобы забить двенадцатый, надо... задом... упереться в стол... задом же прижать кий... вывернуть, сколько можно, шею и приспособить кий к левому... к большому пальцу левой руки... Дым обжёг мне глаза. Двенадцатый не был забит, а возле стены стояла Лия Озерова.

От удара «полукровка» двенадцатый выскочил за борт, упал на пол, потом был водворён и установлен в центре, возле черты. Великолепно. Не Лия Озерова, а Ева Озерова.

— Значит, вы ненавидите полукровок, — он нашёл удобное место. — Честь имею доложить, что я... — вот самое удобное место, — сам... — он выпрямился, — не полукровка... — шар слабо покотился, встал безвольно у края, подумал и капнул в сетку. — Я чистый армянин, есть такая нация на земле.

— Очень рад, что есть ещё такая нация, молодой человек.

— Я сообщу про вашу радость этой нации, она будет чрезвычайно польщена. У меня семьдесят, начнём сначала?

— Нет, потерпите немножко, наверху бог есть, с божьей помощью мы...

— Бог, конечно, есть, особенно когда нам приходится туго... — Он растерялся: — Энвер или Талаат? Кто-то из них был полукровкой: да каким! — капли турецкой крови по жилам не текло, но, чтобы очистить турецкую кровь и чтобы увеличить турецкую землю, он очистил страну — от армян. Человек ненавидит подобного себе, что ли. Если он ненавидит подобного... себе, свой вид...

«Полукровка» ударил с ювелирной точностью, и пятый встал прямо над лузой, во всяком случае мы несколько мгновений ждали — упадёт или нет? И «полукровка» посмотрел на меня враждебно.

— Я не стану бить, не волнуйтесь.

Если человек ненавидит себе подобного... зелёный стол, пирамида шаров, полосатый, готовый рассеять эту пирамиду, эта белизна шаров и эта зелень сукна напоминают овечий загон и тигра, который должен метнуться в прыжке и разогнать отару, а потом по одной уничтожить всех овец. «Надуманно», — сказал я себе. — Старо, литература сравнений — ложная литература. Хорошо Шекспиру, хорошо Ованесу Туманяну, хорошо всем тем, кто уже что-то сделал и уже умер. Может, они и не много сделали, но хоть мертвы, хоть не мучаются сейчас. Хорошо Гоголю, Толстому, Аветику Исаакяну. Эх, был бы ты косарем, косил бы сено для других людей и для коров, не знал бы букв. Быть косарем и мечтать о бильярде.

— Вы в шахматы играете, молодой человек?

— Виноват.

Полосатый, не задев седьмого, прошёл рядом с пятым, ударился о борт — штраф? — медленно вернулся ко второму. Не дошёл. Штраф. И я потерял пять очков. У меня осталось шестьдесят пять. Я увидел усмешку партнёра. Сейчас он забудет второго, то есть второй забудется сам собой, потом он немножко постарается и забудет пятого. Если человек ненавидит себе подобного — значит, патриотизм — поза. Значит, он и свой народ ненавидит, и брата своего, значит, ненавидит. Значит, ненавидит родителей. Значит, ненавидит самого себя. И, значит, есть ненависть к самому себе и существует самоненавистничество. И любовь к другому. Дальше? Ну хорошо, а для чего люди рожают детей, для чего любят своих детей? В детях они видят самих себя. Любят своего брата, своих родителей, свой народ... Значит,

существует самовлюблённость и ненависть к другим, не своим... Э, братец... Человек должен был быть косарем — вот тебе твоя коса, вот поле.

Я снова проштрафился на пять очков. «Полукровка» меня утешил:

— Ничего, бывает, всё бывает, молодой человек.

— Хочу и отдаю свои очки! — взорвался я. — А вам и отдавать нечего.

«Полукровка» приладилась, прицелился, долго целился — и та-ак промахнулся, и та-ак возненавидел меня — люто. Что ж, я завидую тебе, твоему пылу. Я забил шар в лузу, но «полукровка» решительно замотал головой — не считается. И вытащил шар, поставил его в центре поля, очень удобно для себя — и ловко забил его.

— Не считается, — сказал я, достал шар и тоже поставил в центр поля.

«Полукровка» не обратил на это никакого внимания, лёг всей тушей на стол и собирался забить двенадцатого.

— Сдаюсь, вы выиграли. — Я оставил кий на столе, дал рубль маркеру и пошёл к выходу — от стены отделилась и с печальной улыбкой приблизилась ко мне Ева Озерова.

— Давно ты тут?

— Когда ты забил четырнадцатый.

— Энвер был полукровкой, Ева, и яростным туркофобом, как понять это, Ева?

— Энвер?

— Энвер-паша, генералиссимус.

— Да?

— Перерезал два миллиона армян, а было армян — четыре миллиона всего.

— Кем он был, говоришь?

— Военным министром Турции.

— Турция разве воевала с нами?

— Это было в 1915 году. Великая резня армян началась в 1915 году...

— Да?

— Он уничтожил два миллиона армян, а армян всего было четыре миллиона. В Армении тогда осталось 700 тысяч армян.

— Это много или мало?

— Это много — мало.

— Как получилось у тебя, да? Много-мало.

— Не знаю, не умею с женщинами беседовать.

— Ну почему, меня вполне устраивает.

— Благодарю. Значит, уничтожил два миллиона армян, а сам был полукровкой, помесь арнаута и ещё чего-то.

— Кто?

— Говорят тебе, военный министр Турции. Энвер.

— Такое чувство, будто аспирантский минимум по истории сдала на пятёрку не я, а кто-то другой.

Волк хотел, чтобы я его, будто бы струсившего, преследовал, преследовал — до какого-нибудь оврага или леса, а я повернулся, чтобы поднять свой мешок с дзаваром-похиндзом-хлебом. Волк стоял и обдумывал ситуацию, но эта странная его добыча, не оставляя ему времени на размышление, удалялась. Волк безвольно поплёлся за ним, то есть за мною, надеясь по пути сообразить, как ему быть дальше. Он останавливался — с ним вместе останавливался волк, он ускорял шаги — волк начинал трусить быстрее. Он обернулся и сказал: что тебе от меня нужно, падаль... — волк встал и оглянулся по сторонам в замешательстве, не понимая, что ему говорят. Он поправил мешок и зашагал, уже не обращая внимания на волка, и волк пошёл за ним, скорее как попутчик, за компанию.

Возле холмов он снова поправил мешок и сказал: давай, давай, как раз дсеховские собаки соскучились по тебе, — но увидел, что волк загляделся на прыгнувшую в снегу полевую мышь. У поворота они оказались совсем близко друг к дружке, волк весь напрягся — вот-вот уже должен был прыгнуть, но в это время с шумом пронёсся реактивный самолёт и послышалось собачье тьяканье — впереди помаргивало огнями село. Волк не повернул обратно, он подумал с секунду и зашагал рядом. Но впереди было село, утопающее в собачьем лае, мягко погружённое в него, как в густой тёплый войлок, впереди помаргивали огоньки — и этот мальчик с усмешкой пригласил его в село:

— Ну что же ты, идём...

И их тропинки стали медленно расходиться, его тропинка повела в село, а тропинка этого дурака будто бы захотела обогнуть собачий лай, но как только вошла в лес — этот дурак перестал скользить бесшумно, он перешёл на рысцу и помчался что было духу к Айгетаку, где, по его глупому мнению, всё ещё сидел в снегах и растирал отмороженную ногу мальчик.

До Дсеха волк, а после Дсеха воспоминание о нём не дали мне почувствовать боль в ноге. Станционный зал был залит светом и тепло натоплен. Группа военных отпускала шуточки в адрес степанаванской красавицы; положив голову мужу на колени, спала жена капитана, не жена — слон; кто-то отломил ножку от курицы и сунул её мне в руку, кто-то очень похожий на моего отца, двухлетний его сынишка посыпал соли на свой кусок мяса, бросил мясо на землю, потом посыпал соли на хлеб отца и, рассыпая соль, сполз со скамьи — очутился передо мной; тёплым, ласковым взглядом обвела меня чья-то мать, скрестив руки под большими грудями, она посмотрела на меня с грустью, и тут взорвалась боль — с мясом во рту, я катался по скамье, я умирал... Но подошёл поезд.

— Сейчас уши тебе оторву, понял? Отрежу, — спокойно сказал проводник почтового вагона. — Можешь отрезать, если они лишние, а если они не лишние — зачем их отрезать? — Нет, я вижу, язык тебе надо отрезать, не уши, больно длинный у тебя язык. — Да зачем резать-то? — Ты знаешь, куда ты забрался? В почтовый вагон. Знаешь, что это запрещено? — Специально забрался, чтобы украсть твою почту, сяду дома, буду читать, несколько мешков сразу. — Нет, видно, придётся всё-таки отрезать тебе язык. — Как же я буду на экзаменах отвечать? — Учишься? — В педагогическом. — Учителем будешь, значит? Откуда сам? — Из нашего села. — Ловок ты на ответы, а что в мешке везёшь? — Буйвола, хочешь отдам тебе половину? — Как остановлю сейчас поезд, как спущу тебя сейчас в поле. — Останавливай, спускай. Он то ли ударил, то ли погладил меня: — Болтун ты, вот что... Что в мешке, говоришь, везёшь? — Да на что тебе? — Если бы в настоящий вагон сел — сколько бы проводнику дал? — Нисколько. — Что это, твоего отца телега? — Вот именно, телега моего отца. — Что в мешке? — Хлеб. Хлеб, но для себя везу, не для тебя. — А как спущу тебя с поезда? — А как я тебя спущу? — Давай-давай прыгай, а не то я тебе помогу. — Попробуй-ка сам прыгни. — Он извёл меня, пока мы доехали до Кировакана.

Хлеб снова был солёный и как песок. Нанарик, чтобы сделать лучше, подлила воды в тесто, подсыпала соли. Я хотел было разозлиться, но вспомнил с тоской её щёчки, когда она улыбалась с закрытым ртом. И даже когда мне подводило живот от голода, хлеб этот невозможно было есть. А может быть, мне не так уж и подводило живот от голода, потому что я то и дело отсыпал себе и жевал похиндз. Ленинаканцы прикончили свой лаваш, растратили свои рубли и, склонившись над книжками, второй день уже бросали косые взгляды на мой

мешок, но хлеб был солёный и было стыдно его предлагать. В дверях показалась красивая головка Асмик — она пришла спросить, где находится Апеннинский полуостров, и посмотреть на меня, полюбоваться. Но у меня не было времени, и я не знал, где находится этот чёртов полуостров, я внимательно созерцал записи лекций. Очень надо! — Асмик обиделась и ушла, её уши стали красными от обиды, она изо всех сил хлопнула дверью, и от этого крепко перехваченная у самого основания белой лентой толстая коса закачалась и обкрутилась вокруг шеи, но хлеб был — ох, хлеб был невозможно солёный. От холодной воды у меня заболело горло. Мать Асмик принесла мне горячего чаю, но мне не нужен был их чай... Я готовился к экзаменам, какого дьявола они лезли ко мне. Преподаватель литературы Мамиконян, сказали, собирается навестить меня, я оделся, запер свой шкаф на замок и ушёл из этого дома. Башни санатория «Арев» качались на ветру под воронье карканье, в снегу показался и пропал то ли большой апельсин, то ли яблоко, собачий лай был далёк, как воспоминание, но возле меня действительно крутилась какая-то собака — я вошёл в дом. Хоромы дяди Седрака были чистые и просторные, в тёплой кухне поднимался аромат горячего обеда, но его невестка была всегда сердита, я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась мне. На какой улице наше общежитие — на Школьной или же на Строителей? Господи...

Ночью хозяева взяли меня к себе. Отец Асмик приложил мокрую тряпку к моему лбу, а мать суетилась, разогрела обед. Отец Асмик, когда учился в Ереване, вот точно так же заболел однажды, его вылечила хозяйская дочка, а я вот нагрубил Асмик, как нехорошо, Асмик не дала бы мне заболеть, Асмик почти что врач готовый. — Значит, ел солёную рыбу, запивал холодной водой? Что же ты так, а? Ну ничего, ничего... Она силой разомкнула мне рот и влила туда обед. Ты мне как мой ребёнок, сейчас побью тебя, ешь! — Она заставила меня проглотить слёзы, горячий обед, гнойные пробки, обиду. Утром она ушла на дежурство, а я встал и смотался в свою комнату, лёг в свою постель.

— Я тебе чаю принесла. С лимоном.

— Никто не просил у тебя лимона.

— Хочешь без лимона?

— И без лимона никто не просит.

— Подумаешь!

— Уходи отсюда!

— Не уйду!

— Говорят тебе, убирайся!

Отец Асмик вернулся с работы. Эй, зять, эй, больной зять, не с кем выпить, слышишь, иди выпьем с тобой по стаканчику. И чтобы я не стеснялся, чтобы я со спокойным сердцем сел с ними обедать, он взял из моего шкафа один хлеб. Боже мой, этот путь из нашей комнаты на их половину и этот мой хлеб на их столе, и этот... Он медленно, не торопясь выпил водку, протянул руку, отломил край хлеба, понюхал его и стал есть. И подмигнул мне — выпей. Сейчас тебе одну историю расскажу. Пей же. Очень хорошая пшеница и хлеб — очень хороший. В блокаду в Ленинграде рою, рою, рою снег и на что натыкаюсь, как ты думаешь? На порошок горчицы. Я развёл его в воде и выпил. Смог бы ты так сделать? — Его жена попробовала моего хлеба и сказала:

— Ослепнуть твоей матери... Да если бы у меня был сын...

— Помолчи, — сказал ей муж. — Не твоего ума дело, очень хороший хлеб.

- Ты давно здесь?
- Когда ты забил четырнадцатый.
- Значит, так, она художница...
- Кто?

— Погоди, не перебивай.

— Пошли выпьем кофе?

— Сейчас пойдём... Она художница — может быть, очень талантливая, кругом осень и запах масляной краски. Муж её хороший парень, предположим, инженер. Муж кормит её бутербродами с колбасой, варит для неё кофе, но он инженер, то есть человек другой профессии. А она крепкая такая девушка, может работать как вол. Все друзья её художники, художники хороший народ, Ева, они мне нравятся. Есть у тебя знакомые художники?

— Я кончила художественное училище.

— Прекрасно. Представь, что это ты сама. Ну вот. Она мажет, мажет, мажет — не нравится. Соскабливает всё. Немытая, нечёсаная, голодная — рисует снова. Муж считает, что картина и без того хороша. А? — задумчиво говорит муж. Готовая картина, — говорит муж. И просит: пойдём подышим воздухом, хочешь в ресторан пойдём? — Не мешай, — говорит она и мажет, мажет, мажет... Самое главное хорошо получилось — ну, предположим, лежащая женщина... покой... на стене должен быть прыгающий тигр, или же, скажем, дерево за окном, или же этюд «Распятие» на стене, или узор ковра — лань, птица, фрукты и смертельное желание покоя или даже смерти. И вот эта художница, мажет, мажет... В это время приходит один из её друзей, художник: «Ты чем это тут занята, девка... А-а, хорошим делом занята... а ну-ка сними это чёрное пятно отсюда, и окно, не лучше будет закрыть окно? — закрой, посмотрим что получится, а это что на стене?.. не знаю, тигр мне не нравится, а тебе? Христос? Не знаю...» Муж встаёт, уходит из дому, а эти два сумасшедшие закрашивают, один цвет пробуют, другой, пачкаются в краске, делают без сил. Муж возвращается — картина готова или почти готова, а эти двое лежат на тахте и не понимают растерянности и ярости мужа. Они смотрят на него из какого-то другого мира. Кто он, что ему нужно, что случилось, в чём дело...

— А дальше?

— Всё. Конец. Они не понимают, почему он кричит, на кого кричит...

— Ты думаешь, это хорошо?..

— Мне нравится. Наверное, я плохо рассказал, что-то потерялось в пересказе.

— Не знаю, — сказала она. — Тебя это волнует?

— Мне нравилось, напрасно я тебе рассказал. Мне понравилось, что ты пришла в бильярдную, и я вспомнил и рассказал тебе.

— Но для чего ты это должен был написать, против чего, за что, какие задачи ты перед собой ставишь? Что ты предлагаешь? — Она положила сумку на стол, откинулась в кресле, закинула ногу на ногу и подождала, пока я зажгу ей сигарету, закурила и, откинув голову, закрыла глаза. — Твоя задача?

И весь этот день показался мне вдруг таким пустым — и бильярд, и эти бесконечные разговоры, и эта осетрина и коньяк, и этот Антониони, и хладнокровная рассудочность тех ребят, и эти художники — таким мне всё это вдруг показалось пустым, безжизненным и ненужным, и сам я так себе вдруг сделался противен. С косой в руке я косил, за гектар мне платили четырнадцать рублей, лёгкие мои разрывались, немой Мехак наступал на пятки — сейчас срежет мне пятку — потом останавливался и смеялся своим булькающим смехом, что припугнул горожанина. Но когда они видели, что я уже подышаю, что ещё немножко — и я просто протяну ноги, они отправляли меня за гору, чтобы я принёс воды из родника, — это был мой отдых. А отдых всех был — когда садились обедать. Солнце мягко припекало, а верзила Спандар под булькающий смех немого Мехака чертил в воздухе крутые бёдра,

грудь, — и это означало, что мы, наевшись, забыли встать и наточить косы, чтобы косить, косить, косить, косить, без конца косить траву.

— Ты этих своих художницу, художника и её мужа, ты любишь их? — спросила она, и гладкая её шея была кругла, гладкое колено заголено.

— Никого я не люблю. Что я такое, чтобы любить или ненавидеть, я буквоед, бумагоед, ты остаёшься здесь?

— А ты уходишь? Знаешь что, ты можешь любить их или не любить, это всё равно, в конце концов настоящие художники не обнаруживают своей любви или ненависти, но наличие задачи необходимо, я уже не говорю о сверхзадаче. Ну что ты хочешь сказать — художнице не нужно иметь мужа-инженера, художник должен вовремя прийти на помощь своему коллеге, художнику не нужна семья, семья не должна мешать творчеству — это, что ли? Даже неудобно. Ну осень, допустим даже ереванская осень, ну и что? Борясь с материалом во имя искусства, художник и художница уподобляются друг другу? Ну и пусть уподобляются, что тут такого?.. Какая же это задача...

— И всё-таки я напишу это, Ева, и это будет хороший рассказ.

— Пиши, твоё дело, но так ты писателем не станешь. То есть, может быть, писателем ты и станешь, но не современным, не наших дней. Пиши.

В раздевалке мы застали Вайсберга. Закутываясь в тулуп, натягивая меховую шапку-ушанку, он милостиво улыбнулся мне:

— Подумал над моими словами, Мнацаканян?

— Подумал, Леонид Михайлович. И вот что придумал.

— Ну-ка.

— Хорошее название для вашего следующего фильма.

— Ну-ка, ну-ка.

— «Стрельба раздавалась из эсеровского сейфа».

Он засмеялся самым искренним смехом.

— Хорошо, — похвалил он и опять засмеялся. — А что? Может, и в самом деле сделать такой фильм? Негодяй, ах негодяй! Хорошее название, правда, Ева? Грех не воспользоваться им. Стрельба из эсеровского сейфа, ни-и-ничего-о. А армянин с прошлых курсов пил лучше. Геворг, не работай по ночам, это плохо действует на здоровье. — Он кончил застёгиваться. — А я вот тоже кое-что нашёл для тебя — обмен идеями, так сказать: только что закончившая медицинский институт свеженькая, пухленькая Анаит отправилась в горы к пастухам. Работать. Армяне ведь любят таких, сдобненьких? Любовь или любовный эпизод, что больше устраивает твоё национальное самолюбие, любовь или любовный эпизод между Анаит и одним из пастухов.

— Откуда взялась эта Анаит?

— Она дочь одного из пастухов, или ещё лучше — горожаночка, городская красотка с повышенным чувством национального самосознания. И мы с тобой, таким образом, избежим всяких придирок. Против любви никто ничего не скажет. Плюс — горожанка сама вызвалась работать в селе. Это нам даже зачтётся, в хорошем смысле. Значит, так: училась в медицинском институте, появляется в самом начале фильма, работает среди пастухов. Любовь, ревность, обнажённое женское тело, нож мелькает в воздухе, примирение. Так и для села будет хорошо, и для зрителя, остальное — как в твоём сценарии, без твоей заострённости конфликта, разумеется. Писем из дому давно не было? Как детишки, материальные затруднения имеются?

— Спасибо, Леонид Михайлович, дома всё в порядке, дети здоровы. Дайте мне время подумать, не хочу сразу соглашаться.

— Пожалуйста. Ты мой последний революционно-народный. Воспитавай его как следует, Ева. Отдаю на твоё материнское попечение.

Мне не понравились эти его намёки.

— Да, — сказал я, — я сельский бунтарь, и только сельский бунтарь, я не бумажный червь — я крестьянин, какое счастье.

— А со второго часа Полонского ты, сельский бунтарь, сбежал, это тоже, безусловно, счастье. Но у нас не институт, у нас предприятие: за отлучку в рабочее время полагается штраф. Рубль штрафа, тебе это известно.

— Я не сбежал, Леонид Михайлович, я уединился и раздумывал над вашими словами.

— Мы с тобой такие хитрые, Мнацаканян, хитрее всех. Ева, поработай над его языком. — Он подмигнул мне, давая понять, что прекрасно знает, как женщины работают над языком кавказцев. И сказал нам обоим: — Ева умная девочка, подумайте вместе, что можно сделать. Я имею в виду сценарий, конечно, только сценарий. — Он снова подмигнул мне и удалился.

Боже, боже! Когда после свадьбы их заталкивали в комнату, когда за ними закрывали дверь и прислушивались к шорохам за этой дверью, эта скотина зять, как он мог приблизиться к этой овце-невесте, как мог он потом выйти из этой комнаты — когда все смотрели, глаз не сводили с двери? И какое им было дело до того, была невеста девственницей или нет и зять настоящий мужчина или же слабак, а зять, почему он не брал топор в руки, почему не гнал всех в шею, размахивая этим топором, и невесту тоже?

— Рассказать тебе ещё один рассказ?

— Расскажи.

Как неожиданная близость, как волна опьянения, как улыбка, подаренная мальчишке из детдома — в моих руках на секунду занежилась её шубка, шубка вобрала её в себя, как постель, я почувствовал вкус крови жертвенного ягнёнка и тело этой женщины, лёгкое и крепкое и вылепленное... вылепленное... но мне до безумия понравился образ жертвенного ягнёнка... гранитный храм, южная осень, виноград давят, смуглые юноши, лёгкие, вытянутые в струнку кони и твёрдое лезвие ножа. В следующее мгновение шубка снова была тулупом из овчины, а эта женщина аспиранткой Озеровой, я надевал своё грубое пальто и лелеял в памяти сочетание слов «тёплый вкус крови жертвенного ягнёнка».

— Привет, старина!

— Здорово.

— На Андроникова билет есть?

— А про что он будет говорить?

— «Кто был всё же князь Звездич из «Маскарада»?

— Нету билета.

— Достать тебе?

— Князь Звездич — я, благодарю. У древних армян, Ева, был языческий храм богини Анаит, там девушки отдавались юношам, в храме, представляешь?

— Что-то такое я читала.

— В книге Энгельса про это написано. Осеннее солнце, виноград, нож, лошадь стоит, смуглые парни...

— Задача, — сказала она.

— Задача? Сейчас. — Она была хороша и была рядом. Мы оба были умники-разумники, я поднял воротник пальто, сейчас я должен был решить для себя сверхзадачу, и надо не забыть и послать Асмик телеграмму, да здравствует цивилизация, снявшая с меня трехи и обувшая... всё это так, но куда совершеннее, куда ухоженней и талантливей вот этот вот Юнгвальд-Зусев, художник и поэт, актёр, прозаик, уверенный в завтрашнем дне постановщик, под чьим красивым лбом мысли отталкивают друг дружку, и такие гениальные мысли толкнутся под его красивым лбом, что он не выдержал их напора и устроился с пишущей машинкой прямо здесь, в раздевалке, и вулкан его мыслей так неожидан, а мысли ра-

достно стали извергаться с такой неожиданностью и поспешностью, что у него, у бедняги, не хватило даже времени раздеться, сдать пальто вахтёрше, он даже не зажжёт сигарету, чтобы успеть передать бумаге хотя бы ничтожную часть этой лавины — с пальто на плечах, с незажжённой сигаретой во рту, рядом сидит девушка: пальто не падает с плеч, сигарета не дымит и девушка не раскачивает длинной ногой — чтобы не мешать ему. Я остановился, но только потом, когда мы были на улице под снегом, я сообразил, что в раздевалке, остановившись, я выругался: — Сука! Сука и сукин сын! — Я остановился, выругался и прошёл, отчеканивая с каждым шагом: такой красивый... такой мыслящий... такой талантливый... пальто такое хорошее... такой Юнгвальд, почти что Ингмар... почти что Достоевский... Эй, Зусев, из тебя всё равно ничего не получится... не обижайся, но из тебя ничего не получится. С сигаретой на губе, он снова склонился над машинкой. В зеркале мы шли навстречу себе, в глубине раздевалки оставался, делался прошлым эпизод с Зусевым и начинался новый час истребления свежей энергии.

— Который час? — спросила она.

— Пять.

— Три часа ещё есть.

— До чего?

— До Бергмана.

— Пойдёшь?

— Непременно.

— Может случиться, что не пойдёшь?

— Нет, пойду точно. А ты что будешь делать сейчас?

— Ничего, надо в Ереван телеграмму отправить.

Уютная тёплая зима была, снег этой зимой создан был для того, чтобы опускаться на наши ресницы, лёд — для того, чтобы мы взяли друг друга под руку, чистильщики, дворники — для того, чтобы расчистить для нас дорожки в снегу, а наши рты — чтобы говорить, говорить, говорить, без конца говорить. Вот упал, поскользнувшись на льду, пожилой человек, старик. Бутылка с молоком его разбилась, апельсин покатился под машину. Старик с трудом поднялся: сухое колено и твёрдый лёд столкнулись неудачно. Столько машин прошло, а апельсин оставался целым. Я сумел пробежать под носом у исторгающего дым и пар самосвала, я толкнул носком этот апельсин, поднял его и подал старику. А молочная бутылка разбилась. И было утешительно думать, что мы не старые, что бутылка молока для нас не имеет цены, что зелёные огоньки такси отдаются нам с быстротой и почти безотказно, что перед входом в метро продаются свежие пирожки, среди этой зимы. Можно сказать себе, что мы уже проголодались; кроме того, в пирожках есть что-то народное, когда ешь пирожок на улице, какая-то народная лёгкость спускается на тебя, пирожок смотрит на тебя и поглощается с какой-то простодушной сердечностью. Мы зашли на почту, чтобы отправить телеграмму, а потом выйти и съесть пирожок с беззаботностью свободного, ничем не занятого человека.

— Телеграмма — кому?

Перед тем как ответить, я посмотрел в её глаза: жене, моей жене, — я захотел уловить в её глазах ревность или печаль, мне очень захотелось, чтобы здесь влюблена была в меня она, а там в Ереване — Асмик... Я взял бланк, достал ручку и обдумал текст телеграммы: «У меня всё в порядке пришли сто рублей целую».

— Сколько надо сделать ошибок, чтобы ты мне «отлично» поставила?

— Дай, я напишу.

И я продиктовал:

— «Асмик Мнацаканян. У меня всё в порядке...»

Она жевала жвачку. Со жвачкой во рту она переспросила — Асмик?.. — и подождала. И её рот был красив. Я взял её за руку и написал её рукой: Асмик. Я продиктовал:

— «Мнацаканян. У меня всё в порядке пришли сто рублей». — Когда я держал её за руку и в следующее мгновение тоже, мне казалось, что она отдаётся мне, и это было до отвратительности приятно.

— «Асмик Мнацаканян. У меня всё в порядке пришли сто рублей целую Геворг». Телеграмма мне не понравилась. Уродливая была телеграмма.

— Всё?

— Не слишком ли сухо?

— «Асмик Мнацаканян. У меня всё в порядке пришли сто рублей целую Геворг». Телеграмма как телеграмма.

— Конечно. И всё же давай что-нибудь прибавим. Дай напишу. Или сама напиши.

— Что написать?

— «Рассказ идёт хорошо через пятнадцать дней пришлю прочтёшь поцелуй детей».

— Что ещё за рассказ? — со жвачкой во рту спросила она.

Мы сдали телеграмму:

«Асмик Мнацаканян рассказ идёт хорошо через две недели пришлю тебе у меня всё порядке пришли сто рублей целую тебя поцелуй детей Геворг Мнацаканян».

Мы заплатили за телеграмму, подняли воротники и вышли на улицу.

— Что ещё за рассказ такой?

Я рассказал ей в двух словах, и она жевала жвачку и смотрела на меня, и её глаза были красивы, и взгляд полон внимания. Я взял её под руку.

— Может быть, тебе понравится это, слушай. У одного старика умерла жена. Совершенно здоровый старик поклялся на кладбище при народе, поклялся жене, как самый настоящий верующий поклялся, что не оставит её одну в этой холодной одинокой стране, что придёт к ней через несколько дней и пусть она потерпит эти несколько дней, пусть потерпит и простит его за опоздание. И старик не стал есть хлеб и людям отвечал, что «уж на что вол, когда его товарищ умирает, вол грустит, смотрит по сторонам и...».

Я не знал по-русски слова «мычать», и она не помогла мне, не подсказала, я вынужден был изобразить, как мычит вол. Её взгляд наполнился какой-то живой теплотой, бесшумно жующие её губы действовали возбуждающе...

— Что же, мы хуже вола какого-нибудь, выходит? Старик истощился за несколько дней, лёг и умер, слышишь — лёг и умер... У него был красивый сад, он кружил среди яблонь, подсолнухов, ульев и ничего не ел, будто бы был обижен на домашних, будто бы обижен — чтобы они не заставляли его есть... Чтобы не заставляли есть...

Моя рука приятно согревалась под её рукой, наши головы были очень близко, её волосы иногда касались моего подбородка, в её взгляде была любовь — и любовь, и какая-то насмешливая, смешанная с иронией теплота.

— Кто такая Асмик Мнацаканян? — спросила она.

— Кто же ещё, жена моя... Хорошая девушка... мать моих детей... не очень развитая, но очень хорошая мать. Рассказ про старика глупость, да, Ева?..

Переминаясь с ноги на ногу, мы ели пирожки с мясом, купленные тут же, на улице. После коньяка, осетрины и ресторанных роскошеств мы ели эти пирожки с каким-то снисхождением, как бы прощая этим пирожкам то, что они — пирожки.

— Ты когда-нибудь играл в футбол?

— Немножко. А что?

— Вспомнила, как ты апельсин из-под колёс увёл. Да, что я хотела тебе сказать: твой художник, художница и её муж — хорошие люди, их можно любить. — Она вытерла уголки губ. — Но задача, найди задачу и разреши её посредством этих людей и ереванской осени.

Я задохнулся, потому что переел. Моё сердце остановилось. Я не ответил ей, у меня кружилась голова.

— Людям искусства стало труднее, положение их значительно затруднилось, — сказала она, — если бы на тему художница — муж — осень, если бы на эту тему написал рассказ Бунин, это был бы хороший рассказ. Современное искусство не может уже этим удовлетвориться. Содержание времён меняется — должно измениться и содержание искусства. У нас критикуют форму, но напрасно, поскольку, принимая новое содержание новых времён, невозможно отрицать форму, ведь форма, — оживлённо сказала она, — средство выражения содержания: новое содержание требует новой формы. Форма — это заявка на новое содержание. Те, кто отрицают форму, выставляют себя поборниками содержания, но по существу они противоречат себе, поскольку форма — оболочка содержания, но это не означает, — вздохнула она, — это не значит, что форма сама по себе не самостоятельное явление, пора уже заговорить о форме формы. Звучит как будто бы смешно, я понимаю, но можно говорить даже о форме формы, потому что форма независимо от содержания имеет своё содержание. Можно снять фильм по содержанию совершенно социалистический, но при этом взять такую форму, чтобы получился фильм антисоциалистический. Шолохов на сельскую тему но но ведь слушай, это к тебе относится, село это не тот перекрёсток, где сходятся линии двадцатого века. На сельскую тему невозможно делать литературу двадцатого века. Твой старик — это наивно. Ты Селинджера читал рассказы? Слушай, ты, наверное, проглядел это, иначе ты не стал бы писать о каком-то старике, который не ест хлеба. Рассказ называется «И эти зелёные глаза». ...Молодая женщина проводит ночь у старика, её муж и старик разговаривают по телефону, весь рассказ состоит из этого разговора, молодой человек спрашивает у старика о своей жене, но он знает, что его жена у старика, а старик знает, что муж знает, что его жена у него, а муж знает, что старик знает, что он знает, что его жена у старика, и потому именно этот старик сердится и говорит этой женщине, что было бы хорошо, если бы она не ёрзала и спокойно сидела на месте. Женщина нагнулась, чтобы поднять с полу сигару старика. Вот тебе двадцатый век, утончённый, хитроумный и одновременно грубо-откровенный. Телефонный разговор, казалось бы, только внешняя оболочка, но какое колоссальное содержание у этой оболочки: во-первых, рассказ весь из диалога — такова форма, и самостоятельное содержание этой формы, в свою очередь и получается форма в форме, то есть форма формы, так можно найти форму формы, формы, формы...

Навстречу нам шло такси.

— Пусть сгинет форма формы, формы, формы.

— Пусть. Идём пить кофе.

— Где твой дом?

— Мы дома кофе не пьём. Мне кажется, будет хорошо, если ты оставишь в покое этих художников и этого деда, хотя в истории о художниках есть что-то симпатичное.

— Я еду в общежитие.

— На Бергмана не пойдёшь?

— Ни в коем случае. Так где ты, значит, живёшь?

— Отвези меня лучше в Дом кино.

Я смог выдавить из себя ещё какие-то слова и сделать какие-то движения, но сделал это я, насилуя себя. Я положил руку на её колено и крепко сжал это колено. Безжизненность капронового чулка была неприятна, но я не отдернул руку, я ещё крепче сжал её колено.

— Слушай, — сказал я, — ещё одна история. Последняя. — Она стала слушать меня

самым вежливым образом — с самым вежливым вниманием и с самым вежливым недоверием. И она не оттолкнула мою руку. — Значит, так. Следователь и обвиняемый. Следователь и обвиняемый: следователь — женщина, надела военную форму, смотрит холодно и спокойно, женщины в ней нет. Красавица, а женщины нет в ней. Обвиняемый — мужчина, в своей профессии гигант. Он потом перевёлся в Москву и стал академиком. Женщина-следователь — подполковник. Она говорит ему, что он был связан с враждебными нам и так далее. Мужчина усмехается и садится к ней поближе. Женщина говорит, что он... а мужчина садится ещё ближе. Жарко, вентилятор несколько не помогает. Следователь говорит... мужчина кладёт руку на её руку. Женщина говорит, что их группа имела задание взорвать... мужчина берёт её за волосы, достает из её рта папиросу и целует её, целует долгим и крепким поцелуем, не дав ей сказать слова. В комнате делается тихо, открывается дверь — люди заглядывают, чтобы посмотреть, что случилось, а случилось то, что давно уже должно было случиться с этой женщиной, то, что, ослабевая, гасло в ней — эта женщина-следователь снова делается женщиной.

Водитель улыбнулся мне через плечо, а она отвела мою руку и сказала мне:

— Самая обычная вульгарная история. В ней нет глубины. Тебе кажется, что это сопрягается с экзистенциализмом, но это обычная вульгарная история.

— Вот потому ты и искусствовед, а я, пожалуй что, стану писателем. И вовсе это не вульгарная история, это трогательная история о засыхающем материнстве и просыпающемся материнстве, если хочешь — даже очень трогательная. Что касается двадцатого века, то плевал я на твой двадцатый век. Ни один писатель никогда не понимал, что такое век — а все искусствоведы и теоретики потом по произведениям писателя судили о том, какой это был век и какой была литература этого века. Съела?

— Идём на Бергмана, что ты будешь один в общежитии делать?

— Лягу спать.

— Ах ты ленивый, — она посмотрела на меня с лаской.

— Не обижайся. Хочешь, поедем вместе в общежитие, будем пить турецкий кофе и беседовать о форме формы, формы, формы.

— Ах ты глупый, — засмеялась она одним только ртом: от смеха образуются морщинки, а она ещё не потеряла надежды сниматься в кино. — Одним словом, я вместе с Вайсбергом не принимаю твой сценарий. По совершенно другим соображениям, но не принимаю.

— До свидания. Меня это несколько не огорчает.

— Дай поцелую тебя. Не грусти. До свидания.

Недолго, очень недолго я всё же смотрел ей вслед, и её шубка, её ноги, её походка — всё это было близкое, родное мне. Они с мужем еле сводят концы с концами, наверное, — аспирантская стипендия и зарплата молодого чиновника. Живут, наверное, в коммунальной квартире, в одной комнате — в коридоре стучаются о чужие вещи, на кухне булькают, варятся и раздражают чужие обеды. Одеваются, наверное, из последних сил. Если что-нибудь случится с шубой — натянет, наверное, лёгкое осеннее пальтецо. Когда у женщины всего-навсего одно парадное платье...

— Хорошая баба, — сказал таксист.

Потом сказал:

— Если деньги были потрачены, напрасно упустил. — И вздохнул: — Да-а, жизнь. А история про следователя, — прокашлявшись, спросил он, — взаправдашняя или сами, так сказать, придумали?..

— Нет, было на самом деле.

— А сами вы грузин или...

— Я армянин.

— А, извините, этот обвиняемый не грузин был, а женщина не русская?

— Почему, армяне оба.
— А говорят, будто армянки строгие, близко не подпускают.
— Не подпускают, а откуда же тогда дети?..
— А ты что, собираешься написать этот рассказ?
— Не знаю, посмотрим.
— Если не написал ещё, не пиши, не стоит, по-моему, напрасная затея.
— Почему?
— Показательного ничего нет, чтобы пример взять, не напечатают. Я вот, послушай, тебе расскажу...

Лифта не было, я нажал кнопку и подождал. Мне было лень подниматься пешком — ах ты ленивый. С мягким поскрипыванием спускался лифт, я ждал, и где-то — то ли близко от меня, то ли во мне самом — разгорался невидимый огонёк. Совсем так, как когда я играю в жмурки со своей дочкой, и она из своего очень тайного укрытия — из-за спины матери — смотрит на меня с открытым ртом, не дыша. Лифт спускался, вахтёрша читала газету, огромные часы на стене... столик с письмами. Из ста писем само собой отделилось письмо Асмик. «Наша собачка, господи, до чего хороша наша собачка, ведь ты даже не знаешь, до чего хороша эта наша собачка». Я распечатаю письмо в своей комнате, запрусь изнутри — и распечатаю. Лифт всё ещё спускался, исправно поскрипывая, а столик с письмами продолжал шептать мне, что у него что-то припрятано для меня. Я сказал себе, что это чувство навеяно мне письмом Асмик и телепатические сигналы стола сейчас прекратятся. Рубик на две недели поехал в Египет, Грайр писем не пишет, машинальные напоминания киностудии о том, что... телепатических свойств не имеют. Мирбабаев, Маклярский, Джон Окуба, Гурамишвили, Эльманович, Сака — давно я не видел Сака, наверное, опять уехал к своей Леди, — Иванов, Иванов, Иванов, Васюков, Саакян, Герман, Бондаренко, Макаров, «Моему сыну Виктору Макарову»: «вместе с твоей родной матерью мы тебе, Витя, желаем...». Алёша Алексеев, Строкопытов, Белокуров, Безручко Толя, Безручко Анатолий. Мнацаканян Г.А. Это я. «А.» то есть Акоп, то есть Акопович. Шаги неверные, он устал, устал до смерти, но спать ляжет, когда кончит дело, а дело конца не имеет, ну и что? — от дела ещё никто не умирал. Никто не умирал. Всегда — неделю небритый, с короткой улыбкой — и ты, покрываясь потом, понимаешь, что и это твоё обещание — одни только пустые слова. Мнацаканян Г.А. Ты себя узнал с трудом, потому что был спрятан за почерком работника почты. Почерк этот извещает о посылке.

ГОРОД МОСКВА И-345 УЛИЦА
УСПЕНСКОГО 150/11 КОМНАТА 167
МНАЦАКАНЯНУ ГЕВОРГУ АК.

АРМЯНСК. ССР ГОРОД КИРОВАКАН
СЕЛО ЦМАКУТ АКОП МНАЦАКАНЯН

Он слюнявил химический карандаш и, подумав немного, снова слюнявил карандаш и писал. На языке у него ещё сохранились точки от химического карандаша. Я приподнял крышку — в лицо мне ударил яблочный аромат, я отпустил крышку. Адрес написал, взял ящик под мышку и неверными шагами направился в село Овит, на почту, не забыть бы ещё взять в овитовской больнице справку, что в октябре месяце с 5-го по 27-е он лежал в овитовской больнице с радикулитом...

— Оу, ананас, — просиял в улыбке Джон Окуба. В Евиной одежде, с Евиными волосами, чуть повыше Евы — с нами в лифте поднималась девушка. Рука негра была на её плече. Девушка равнодушно покосилась на меня.

- Да, ананас, — сказал я.
- Запах! А-ро-мат! Хороши, — засмеялся негр.
- Хочешь?
- Хочу.
- Очень хочешь?
- Хочу.
- А я не дам.
- Ты очень любезен, — засмеялся он.

Один гектар покоса стоит четырнадцать рублей двадцать копеек. Если ночью не выпала роса, мы скашивали по три тысячи триста метров в день. Если же роса выпала — делали четыре тысячи метров. Обед нам подвозили, а потом его стоимость с нас вычитали. Оставалось два рубля семьдесят копеек в день. Два-три раза нам привезли мясо, мясо было вкусным, а про бульон я даже не говорю, бульон был неслыханно, сказочно вкусный, но потом за это мясо с нас содрали по городской цене. Лучше всего было косить натошак, хотя что ж тут хорошего. Никто у тебя мяса не просит, сказали мы заведующему складом, хлеб и сыр — всё, что нам нужно. И тогда бы нам в день оставалось по три рубля пятьдесят копеек на душу, то есть сто пять рублей чистоганом за всю работу. И тогда мы придумали хитрую штуку — косить по ночам, в самое росное время. А днём спать. Так больше получится. В безвременной сонной вечности мы косили, вон Млечный Путь, Большая Медведица, Весы. И как в сказке раздавались наши голоса, наш смех, и как в сказке благоухал наш хлеб, и как будто бы не ты — кто-то другой размахивал косой, потел и обсыхал. Голоса в ночи были глухие, и мой младший дядя Овик останавливался возле меня, смотрел выжидательно и укоризненно: вуэй... поточи косу... дай я сам тебе сделаю — и точил мне косу. Ама, ама, ама — смеялся за моей спиной и протестовал немой Мехак — дескать, мы тоже люди, мы тоже косари, наша коса тоже плохо режет, и вот уже его коса визжала, накрепко прижатая к точильному камню.

Бедная тварь... — жалел его мой дядя. Ву-у-у, совсем как взаврававшийся бык, кричал верзила Спандар с другого конца покоса. Чё-о-о-рт — оборачивался к нему я. Я косил книзу — вместе с медленным моим восхождением покачивались в небе огромная луна и вереница звёзд, удивительно невесомым было их покачивание в молочном лунном свете. С рассветом вместе наша любовь превращалась в сено — для скотины наших заказчиков, в четырнадцать рублей двадцать копеек, в резиновый хлеб и сухой сыр. Ву-эй, — каждый раз удивлялся на рассвете мой младший дядя Овик, — ты всё ещё наш Спандар? Потом прискакал на лошади председатель нашего села: чтобы послезавтра были в наших горах, наша трава поспела. Мы получили наши сто рублей, сложили, спрятали их в карман, закинули на плечо косу и топор, взяли точильный брусок, подхватили наши стёганые ватники и пошли гуськом по нашим горным тропинкам, спускаясь и поднимаясь, спускаясь, поднимаясь...

Армянск. ССР город Кировакан
село Цмакут Акоп Мнацаканян.

Я отодрал крышку. Яблочный аромат медленно обволок мне лицо, поднялся, повис с потолка, потом заполнил все углы и щели, и моя комната на улице Успенского стала нашим деревенским домом. Я взял со стола стакан Миколы Тарана и захотел спрятать его где-нибудь, я хотел было вышвырнуть из окна, но засунул за батарею парового отопления. Я вытащил из крышки ящика четыре гвоздика и поставил на стол эту крышку, обтёсанную отцом, с написанным на ней адресом — я прислонил эту крышку к стене. Потом я не знал, достать из ящика все яблоки или же оставить их там. Под нашим солнечным карнизом так и носятся ласточки в октябре, и источает аромат яблоня. Яблоня выделяется от всего прочего растительного мира своим ароматом. Аромат её заполняет пространство между листьями, пови-

сает с ветвей, спускается, мягко ложится на грядки с укропом, плутает в зарослях лоби. Собака открывает один глаз и трижды принюхивается и снова закрывает глаз и сладко храпит сквозь дрему — мол, как хорошо, я сплю в тени яблони. Вон наш забор, вон заросли лоби, вон два дубка, вон цветёт картофель — и все они живут в аромате яблони. И вдруг — то ли от собачьего лая, то ли от короткого дуновения ветра аромат выпархивает из сада на рыжую дорогу. Умолкают ласточки. На рыжей дороге вдали останавливаются пастух и его волкодав. Пастух только что спустился с гор; прищурив глаза, он хочет прокричать через это солнце нам — волкодав его, задрав морду, принюхивается к этому солнцу, а только что спустившийся с гор пастух кричит, обратив лицо к нашему дому: Ако-о-оп... Акоп, скажи своей яблоне, пусть подберёт подол, а то ночь ведь на свете есть, пастухи есть, целый год не выдавшие фруктов, воровство есть... Не ври, говорит мой отец, не ври, то есть запах яблони не доходит до нижней дороги, просто ты помнишь, что у меня хорошая яблоня есть, ты останавливаешься и выдумываешь, будто тебя аромат остановил. Клянусь тобой, божится пастух, хочешь, иди стань на моё место, сам увидишь. Бездельник... — смеётся мой отец, и слово его замирает на половине, потому что пастух далеко и не стоит кричать, надрывать глотку. Иди, иди к нам, машет ему рукой мой отец и ворчит под нос: деревенщина...

Они говорят, что яблоня моя ровесница. Я этого не помню. Будто бы мне три года было, когда отец привил эту яблоню. Вечером пришёл с поля, сел в сумерках на землю возле яблоньки, достал из кармана мокрую тряпицу и кликнул меня глухим голосом: Гев... принеси пилу, иди сюда... я принёс ему пилу, он поцеловал меня и посадил на колено. Мы вместе надрезали молоденькое дикое деревцо, он сказал мне: молодец, и я крепко поверил, что сам надрезал дерево, потом он вытащил из мокрой тряпицы саженцы для прививки. И он ловко так заткнул в надрезы на стволе четыре крошечных черенка.

Он говорит, яблоня стареет, корни, мол, уже не держат. Говорит, чтобы она не требовала питания от корней, он спилил лишние ветки... он пришёл, стал среди сумерек возле дерева и постаревшим голосом сказал, повернувшись к дому, где клокотал на бухаре чайник: Геворг... принеси пилу... — а потом в сумерках сам пошёл, достал пилу и неверными шагами вернулся, спилил половину ветвей. И поволок их к хворостяной изгороди.

Я убрал со стола кофеварку и кофейную чашку, и на столе остались яблоки и ящик изпод них. Аромат их заполнил все уголки комнаты. Говорят, птицы могут летать потому, что косточки в их крыльях пористые, наполняются лёгким воздухом, они наполняются лёгким воздухом, и птицы в восторге хотят лететь.

Гранаты?

Гранаты. Четыре штуки. В нашем селе гранаты не растут. В Сибири они есть, в Ленинграде есть, везде есть: кавказский торгаш, подхватив ящички, едет в Магадан и говорит там: это гранат, сто рублей штука, с другого конца земли вёз. В стране, где растёт гранат, ещё живут два-три садовода, у которых гранат и Магадан никак не связываются в сознании. Я закрываю глаза и вижу: в Касахе, стране гранатов, старый азербайджанец подвёл к своему дому осла. Прямо к дверям. И поставил его лицом к деревне армян, к Цмакуту. Потом приволок, взвалил на осла две бесхитростные корзины и сказал ослу: стой смирно, жди, и осёл, похлопав глазами, стал ждать. Азербайджанец из Касаха принёс и стал складывать в корзину из ивовых прутьев бесхитростные гранаты: две в эту корзину — две в ту, четыре в эту, четыре в ту, шесть в эту — шесть в ту, не мешай, сказал он ослу, не сбивай со счёта. Восемь в эту — восемь в ту, десять в эту — десять в ту. Жена его крикнула на внука: тише, дед считает, собьётся со счёта. Двенадцать штук с этой стороны — двенадцать с той. Сто штук с этой стороны — сто штук с той. 100 — 100. Тошшш, — сказал он ослу, — Цмакут помнишь где? И пустился в путь под мягким осенним солнцем, когда желтеют, поспевают на крышах хлева тыквы и собаки внимают солнцу, а самый красный на свете — гребень петуха, но связка

перца тоже красная. И вот уже азербайджанец из Касаха кричит в селе Цмакут: кому гранат, сладкий гранат... меняю на картофель, гранат... — и все смотрят — за изгородью нет никого — потому что одного цвета и изгородь, и осёл, и корзина, и азербайджанец. Только одна очень красная точка горит-пламенеет — вон там, и если это не гребень петуха, значит, это гранат в руках азербайджанца.

Пара белых шерстяных носков.

Эта женщина не может поверить, что государство тоже может связать что-то такое, что будет греть так же тепло и будет таким же красивым. Государство, по её мнению, вяжет или тёплые грубые носки, или тонкие холодные. И не забота государства — уход за её ненаглядным сыном. Эта женщина не хочет никому перепоручать заботу о своём сыне. Геворг забудет укутать шею, горло у Геворга заболит в этой холодной стране. От работы с землёй, с дровами, с самогонным аппаратом пальцы её огрубели. Пальцы её сделались неловкими, не сгибаются хорошо, спицы то и дело выскальзывают из них. Она покупает в магазине носки и даёт их надевать отцу, а для меня вяжет сама. И за эти пятнадцать лет, полных самых разных забот, она не забыла размер моей ноги.

Головка сыру.

Мол, что? Головка овечьего сыру. Но зачем, для чего? Якобы живущий в Москве Анастас Микоян не забыл ещё вкуса похлёбки из авелука, и якобы его родичи из деревни присылают ему мешок авелука.

«Слушай, муж, не стыдно, как думаешь, будет послать ребёнку головку сыру?» — «А что тут стыдного?» — «Не знаю, Москва всё-таки, товарищи, окружение, что скажут...» — «Что он, лучше Микояна, что ли, твой сын, неси сыр, не морочь голову».

«В твоём многолюдном городе Москве ты откроешь эту посылку — не обижайся, что она такая нескладная, потому что матери твоей нет здесь, и всё это я сложил кое-как сам и очень торопился, потому что Валод едет на машине в Овит, хочу послать с ним по той причине, что сам не могу оставить скотину без присмотра, а мать твоя поехала к своим, а также болеет немного, вот уже месяц в районной больнице лежит и вестей от неё нету, а я не могу оставить скотину и поехать к ней. За хозяйством и колхозной скотиной кое-как присматриваем с Гикором на пару, пока твоя мать вернётся. Эти носки мать связала в больнице и прислала для тебя. Не вздумай связываться со всякими пьяницами, стыдно, если ты в твоём возрасте ввяжешься в какую-нибудь драку или историю. Наши ни пенсия, ни зарплата ещё не пришли, хотел послать для тебя немного денег, деньги все отдавай на еду. Уже зовут, кончаю письмо, не застуди себя. Акоп. Когда пришлю деньги, купи мне шапку с ушами, уши у меня очень мёрзнут. Будь здоров. С руководством своим будь хорош».

Он идёт спотыкаясь, неверными шагами, под мышкой у него охапка сена, если увидят — из-за охапки никто ругаться не станет, а вязанку тащить уже трудно, а лошадь осенью потерялась в горах, верней — украли её, кто-нибудь из Касаха или Иджевана увёл. Иджеванцы. Отец пообещал односельчанам решить вопрос пастбищ, Геворг пообещал помочь ему в этом — но ведь неудобно, чтобы Грайр и Геворг занимались такими делами, для их имени нехорошо.

— Спи, спи, — сказал я себе, — когда поедешь в село, купишь ему хорошие часы и ушанку купишь. — Я закутался в одеяло и повернулся к стене. — Закрой глаза, дыши спокойно, ровно, ещё ровнее... всё очень хорошо, спи.

Но письменный стол, белая бумага на нём и полная чернил авторучка звали меня, и стул приманивал своей холодностью.

— Спи, потом встанешь, напьёшься кофе и поработаешь на славу, как косарь... «Если у пчёл есть язык и они могут говорить друг с другом и обсуждать свои дела... к голому склону

Синей горы прилепился можжевельный куст и зовёт за собой...» Пропади ты пропадом, не хочу тебя! — я отшвырнул одеяло, выпрыгнул из постели и сел к письменному столу. — Форма формы формы формы... коньяк восемь рублей + говядья вырезка с грибами пять рублей + осетрина три рубля + ржаной хлеб 0,10 рублей + сигареты «Вильсон» три рубля + такси 1,50 рублей +...

В дверь постучались. В комнату заглянуло улыбающееся лицо Тимура Мирбабаева.

— Ну что, Хэм, работаешь, Хэм? Как пахнет у тебя.

— Работаю, Гасан Задэ Гаджи Мурад Тепак Итиоглы.

— Американец Хэм работал в брюках. — Он вошёл в комнату, ухоженный, приглаженный, причёсанный. — А ты, значит, предпочитаешь голышом. Смотрите-ка, армянский Хэм натюрморт себе поставил: яблоки и сыр и дощечка с адресом, ты что не бросишь литературу, не займёшься живописью, Хэм, армянская литература здорово бы выиграла, не думаешь?

— Не трогай, прошу тебя.

— Неужели армянский народ всё ещё производит сыр, я думал армянский народ производит одних только писателей.

— Возьми яблоко и уходи.

— Ты что же, не идёшь на Бергмана?

Я вытолкнул его, запер за ним дверь и забрался в постель.

— А что, Ева Озерова ничего бабёнка? — сказал он уже из-за двери.

— Иди ты к такой-то матери вместе с Озеровой! Надоели! — И я сказал себе: жизнь состоит из полных и пустых дней, ты можешь разрешить себе несколько пустых дней, спи. Бай-бай, скотина, бай-бай...

Из колыбели выглянула беззубая, как мякина, улыбка моего сына, а моя дочь вышла на цыпочках из комнаты. Чтобы братик заснул, братик вырастет, станет большим братиком, вместе будете в прятки играть — от гладильного стола с улыбкой закрепила этот семейный союз Асмик, в жаркой кухне клокотал чайник, и я вспомнил, что от моего сына пахнет молоком.

Во всяком случае... во всяком случае, как получается хлеб? — собирают колосок к колоску, в каждом колоске двадцать зёрнышек — два грамма, колосок обмолачивают, зерно сушат на солнце, потом мелют его на мельнице, получается мука, из муки делают тесто, приносят дрова, чтобы разжечь печь. И всю жизнь ругаются, собачатся с лесником... Я проснулся в этой зелёной комнате, в общежитии, в Москве. Плечо у меня замёрзло, а ноги были словно в тёплой вате. «Что это, что это? — нос горячий, задница холодная, если узнаешь — поеду вместо тебя в Кировакан». Я проснулся, потому что в дверь стучали.

— Войдите.

Дверь снаружи толкнули, она не открылась.

Он ворвался в комнату злой как собака, спросил:

— Ты что, спал? — И пошёл и сел с размаху на стул возле письменного стола. Я надел брюки и мягкие домашние шлёпанцы. Он взял ручку и зацарапал по бумаге. Потом спросил как бы между прочим:

— Куда ты эту потаскушку дел?

— Какую потаскушку?

— Потаскушку. Еву Озерову.

— Какая же она потаскушка? Женщина как женщина, живёт себе.

— Ты привел её сюда?

— Нет, Эльдар, не приводил.

— Молодец, — сказал он.

Он весь сосредоточился на одном из листков и, прежде чем засмеяться, поглядел на

— Какой ещё хромоножки?

— Вот мои ноли, я ставлю их, потому что моя девушка сегодня была хромой. Надя, не говори ничего своей подруге, даже наоборот, потому что на самом деле я доволен. Я не понимаю, почему Геворг Мнацаканов поставил Еве Озеровой отметку ноль. Я и свои нули ставлю только исключительно во имя дружбы, потому что пустых дней нету. Я своим днём доволен.

— Геворг поставил Еве Озеровой отметку ноль потому, наверное, что не привёл её в общежитие, верно, Геворг? — Он, Виктор Макаров, был согласен, что день был пустой и равнялся нулю, он взял ручку, попросил сигарету, поставил свой ряд нулей и похвалил яблоки на столе. — Я так и не понял, каким образом Казахстан оказался в западном Азербайджане. Можно я возьму себе один гранат? — Он пожелал всем спокойной ночи, зевнул, потянулся и ушёл.

— Дай мне, пожалуйста, бумагу и ручку, — сказала мне с постели смуглая женщина.

— Вы ещё не знакомы, познакомься с Надей, Геворг.

— А почему вы Геворга не привели с собой?

Её влажная холодная ладонь не понравилась мне, её смуглая мягкость была отталкивающая, и что ноги так открыты...

— Потому что Геворг верен своей жене в Ереване и Еве Озеровой — в Москве.

— Слушай, Геворг, — сказал Максуд, — Вайсберг нашёл тему для нас с тобой. «Боюсь, что сценарий Мнацаканяна идеологически неприемлем, гроша ломаного не стоит, а талант терять жалко. Вы вот что, возьмите вдвоём и напишите про армяно-азербайджанские распри, попытайтесь осмеять причину этих распрей и всей этой галиматьи, которая воспринимается, понимаешь, вами как дорогая сердцу история — пусть зритель в зале умрёт, пусть он выйдет из зала заново родившимся, понимаешь ли». Что скажешь?

— А ты ему что сказал?

— Что поговорю с тобой.

— Я согласен, — сказал я. — Рациям, аль вер, — сказал я по-азербайджански.

Он растерянно посмотрел на Эльдара, на Виктора, потом на меня.

— «Я согласен», а дальше...

— Он говорит — я согласен, вот тебе моя рука, — перевёл Эльдар с усмешкой.

— Да, я согласен.

— Слушай, — его смех был жалобный и очень красивый, — пишу по-русски, физиономия — не поймёшь, то ли грузинская, то ли еврейская, и нашу историю совсем не знаю, только то, что в апреле двадцатого года Красная Армия вошла в Баку: «сан турк сан? сан гявур сан».

— Кто вам дал право, дорогие господа, с лёгкой руки Вайсберга смеяться над болью народа?

— Если бы речь шла об армяно-грузинских войнах, ты разве не согласился бы со мной работать, Эльдар?

— Изумительно, просто великолепно — сидеть в крошечном закавказском тондыре и играть в Италию-Францию.

Смуглокожая незнакомая женщина глубоко вздохнула. Она поставила свой ряд нулей, поставила второй ряд и оставила третий наполовине. Она попросила спичку, размазала нечаянной слезой краску на ресницах и улыбнулась:

— Ну как, проходят газы у твоего малыша?

— А вам откуда про это известно?

— Ребята рассказывали про письмо твоей жены.

— Ну газы и газы.

— Мои все друзья в Баку — армяне.

— Ты в Эрманикенде родился?
— Почему?
— А я больше про тебя думала, что армянин, Эльдар.
— Я, господа, чистокровный грузин.
— Макаров сегодня гнусно себя повёл.
— На Полонском или ещё что-то потом случилось?
— Макаров своё дело знает. Вставайте, пойдём ко мне, у меня две бутылки вина есть, идём, Геворг.
— Ни в коем случае, я работать буду.
— Значит, сюда принесу, яблоки есть, сыр есть, гранаты есть. Я буду закусывать шерстяным носком. Мне что-то есть захотелось, у тебя хлеба с луком не найдётся, Геворг?
— Это не носки, это гулпа, гулпа не для того, чтобы ими закусывать, уходите, я должен работать.
— Правда, Витя, принеси вино сюда, — сказала смуглая женщина.
— Лёгкое вино, пойдёмте выпьем, — поднялся Эльдар. И потянул меня за руку. — Мы сегодня с тобой ещё не пили.
— А башня всё поднимается, — обернулся от окна Виктор Игнатьев. — Вино... удивительное слово, вино...
— Идёмте, но я пить не буду.
— Слушай, Геворг, как будет вино по-армянски?
— Кажется — гини.
— Да, гини. Ги-ни, гини.
— Гини, ги-ни, — сказал он и прислушался, — красивое слово. Ги-ни. И ваши буквы тоже какие-то торжественные и праздничные. Вашими буквами можно изобразить «Всадники истоптали зелёные поля», вашими буквами нельзя написать «Объединённое командование требует безоговорочной капитуляции» или какую-нибудь подобную глупость. Не люблю русский шрифт. Какое имеет отношение Достоевский к русскому шрифту?..
Все двинулись к дверям. Незнакомая женщина спустила ногу с ноги и протянула мне руку. Её влажная, мягкая ладонь и широкое колено были до противного приятны. Я пошёл, чтобы закрыть форточку, и заставил себя сказать — тьфу! В дверях стоял Максуд и ждал меня.
— Кто эта женщина?
— А ты правда Еву не приводил?
— Вот тебе на-а-а...
— Что? — засмеялся он.
— Вот тебе на-а-а... а хоть и привёл, тебе что, ему что, какое всем вам до этого дело... Он засмеялся и сказал, и это было его извинением:
— Да, это главный минус нервного двадцатого века.
— С каждым днём толстеешь, а говоришь о нервном двадцатом веке, вот тебе на-а-а...
— Толстею, потому что бросил бокс.
— Значит, не хочешь вместе сценарий писать?
— О любви — пожалуйста. О спорте.
— На пантурецкой карте на территории Армении написано «АЗЕР».
— Откуда ты всё это знаешь?
— Про всё это я узнал с великой радостью, у меня прямо разрывается сердце от этой радости.
— Мои товарищи по боксу в Баку все были армяне И ни на минуту не дали мне почувствовать свою национальность — про разницу. Перчатка — перчатка, бой — бой, на что мне какая-то пантурецкая карта?

- Об этом поговорим после.
- Не нужно. Ни сейчас, ни после.

Смуглая женщина стояла облокотившись о подоконник. У её ног сидел Виктор — так сидят обычно узбеки на ковре, но Виктор сидел на полу. У нас были две бутылки красного вина. На кончике сломанного стула примостился Эльдар. Максуд полуприсел на тумбочку. Со стаканом в руке я прислонился к двери. Это был мирный славный союз моих друзей. Вот этот вот этому помог избавиться от неприятной болезни, этот для того раздобыл, бог знает какими правдами-неправдами, тёплый шарф, в течение часа они собрали мне денег на билет, на апельсины, ананас и печенье и проводили меня в аэропорт, чтобы я слетал, повидал своих детей, этих двоих избили на футболе... Сейчас три часа ночи. Население земного шара 4 миллиарда. Столько боли и столько слабости, столько родин и столько желаний... Онасис подарил жене бриллиант в сорок каратов. Что такое карат? Грамм? Мой дядька Хорен спросил как-то: четыреста грамм — это сколько? Жена Онасиса нацепит этот бриллиант себе на пузо и будет на свете, таким образом, одно пузо, один бриллиант и вой голодающих китайцев, не сводящих глаз с этого бриллианта и с этого пуза. И слава богу, благодарение господу, что сохранились ещё на свете день и ночь, солнце и дождь, зелёное и красное, мужчина и женщина, родная земля и ностальгия. Миллионные орды голодных китайцев потянутся к пузу Онасисовой жены опять-таки через Закавказье. И исчезнет, будет растоптана красивая память о родине.

- Выпьем, господа, и скажем себе, что завтра воскресенье.

Чтобы Халил-паша не услышал дыхания Цмакута, старики и мальчики разрушили все дома — мол, одни развалины только, не село. Собакам завязали морды, чтобы не лаяли. Зерно всё закопали. Скотину всю — коров, овец, кур отвели, спрятали в лесу, в самых глухих, глубоких балках. Для грудных младенцев подвязали к ветвям люльки. И выглянули из укрытия: небо было по-осеннему ясное и чистое, село — сплошь в развалинах, но посевы — на ближних склонах — зеленели вовсю. И они так и не придумали, как им быть с этими посевами, как спрятать их. Молодые мужчины Цмакута вышли из разрушенного села, прошли на один день пути и выстрелили из кустов по армии неприятеля, мол, вот мы где, а больше, мол, нигде людей нету. Войско Халила-паши свернуло с тропинки, ведущей в Цмакут, направило пушку на кусты, и пушка зашвырнула туда с десятком снарядов, потом один из всадников паши промчался и обезглавил раненых. Но было что-то подозрительное во всём этом — и они похлопали глазами и прислушались к голосам — зелень на склонах гор была оч-чень подозрительна. На рассвете взорвалось ку-к-ка-ре-к-ку-у-у!.. доброе утро! — жизнерадостно прогорланил цмакутский петух — доброе утро всем! Мой дед Симон крадущимися шагами пошёл-пошёл и — я тебе сейчас такое кукареку покажу — ухватил за хвост и повалился на петуха. И затаив дыхание среди полной тишины — подождал. Он почувствовал, что грудь ему заливают какая-то тёплая грязь. Но встал только, когда турки удалились от разрушенного села. Когда рассвело, он поднялся и с отвращением оглядел себя: петух под ним раздавился. Старики в селе долго ещё потом улыбаясь говорили нам: ваш дед Симон целый месяц с растопыренными пальцами ходил и руки всё за спину отводил.

Резко прозвучали в коридоре чьи-то шаги, быстро приблизились — пустой коридор прямо загремел от них — потом решительно прошли мимо. Смуглая женщина сползла с подоконника, и был некрасивым её прыжок с широко расставленными коленями. Покусывая губы, она прислушалась.

— Вряд ли это он, — сидя на полу по-турецки, поднял голову к ней Виктор Игнатъев. — Напрасно ты ему позвонила.

Женщина пожала плечами. Эльдар глотками пил вино, Максуд подмигнул мне. Эльдар, приблизив стакан к губам, то ли собирался засвистеть, то ли нет, он смотрел на вино в стакане, потом отвёл взгляд от стакана, как-то не видя, посмотрел на меня, на Максуда, на

Виктора, на толстые колени нашей гостьи. Потом он встал.

Пронзительные шаги в коридоре снова ожили, стали приближаться.

— Ну так как, твой ребёнок всё ещё страдает газами? — сказала эта женщина.

— Мой?

Она рассеянно кивнула — да.

— Ну газы и газы. — «О моём чистейшем, светлейшем ребёнке эта дешёвка...» Ударив меня по спине и по затылку, кто-то швырнул меня к стене: голова моя ударилась о стену, в глазах потемнело, где-то близко — словно в чужом теле, не моём, — остро вспыхнула на мгновение и погасла боль, очень грязный пол приблизился, возник почти у самого лица и пропал, сейчас по лицу ударят ботинком, я ухватился за перекладину кровати и понял, что держусь, не упаду, но тут какая-то тяжесть со всего размаху опустилась на мой лоб — железо, сейчас мой мозг вывалится на очень грязный пол, быть отцом детей и быть растоптанным под ногами как последний щенок. стакан, который я держал в руках, разбился. Кто-то ударил женщину по лицу и сказал: вставай. Не ножом ударил. Этот пиджак я где-то видел. Он пнул ногой Виктора и сказал: поднимайся. стакан был разбит, я ударился лбом об дверь. Он снова ударил женщину, и женщина тихо попросила: не надо, Саша, не надо, милый. Он ударил её, и она не закрывала лицо, не отворачивалась.

— Эй, эй, эй, так нельзя. — Эльдар встал между ними и оттолкнул его. Нет. Нет, это не был муж Евы. Я сжимал в руке осколки стакана. Лицо моё было залито вином и грудь тоже, на глаз мне скатилась капля вина, где-то близко поблёскивала, как улыбка, золотая оправа Максудовых очков. Он подмигнул мне, и было непонятно, чего это он, собственно, размигался тут. Влюбиться в Еву Озерову и чтоб тебя измордовали как школьника.

Максуд обнял меня.

— Что ты смеёшься, отпусти. Отпусти, я ничего не сделаю,пусти меня.

Я медленно приближался к нему, и то, что Максуд, готовый схватить меня, следовал за мной по пятам, вызвало во мне внезапное и сильное желание ударить. Рука моя полоснула по воздуху, осколок стакана ударился обо что-то и посыпался где-то стеклянной пылью, я еле достал ногой до спины этого пришельца. Он обернулся ко мне и сказал:

— А ты тут ещё кто?

— Я — это я, ты лучше скажи — кто ты. Максуд, оставь меня.

— Я тебя не знаю.

— Максуд,пусти,пусти,я скажу ему,кто я такой.

— Саша, милый, не надо, Саша!..

Он меня как следует стукнул со словами: ты подонок, вот ты кто. Но, кажется, я тоже сумел так изловчиться и ударить его ногой, но тут снова затесался между нами Максуд, потом в моей руке оказался сломанный стул, мне хотелось плакать, ещё немножко — и я уже собирался опустить этот стул на них — на обоих сразу. Эльдар отнял у меня стул. И зашептал на ухо: брат мой, брат мой, он успел поцеловать меня то ли в щёку, то ли в глаз и отобрал у меня стул. И вдруг стало очевидно, что на одну глупость нанизывалась вторая. Он усадил меня на этот стул и прошептал: спасибо.

— Ничего, — сказал я, — ничего. Всё хорошо.

Моя рука была вся в крови, стена была мокрая от вина, на моей постели валялись осколки от стакана, а смуглая женщина молча обливалась слезами возле подоконника. Виктора Игнатъева в комнате не было, Виктора Игнатъева нигде не было. Максуд старался быть серьёзным, но улыбался, и меня это очень обижало. Я почти ненавидел его.

— Тот, что вот здесь сидел, — был Виктор Игнатъев?

Эльдар медленно поднял голову:

— Ну и что?

— Ты спрятал его.

Эльдар стал разливать вино.

— Ваш друг Виктор Игнатьев сбежал.

— Да?

— Поэт!.. Пошёл писать поэму о храбрости!

Максуд улыбался, сидя на тумбочке, Эльдар весь побледнел и сказал этому парню, который всё ходил по комнате — руки в карманах, Эльдар сказал ему:

— Вина с нами не выпьешь?

— Куда смылся ваш товарищ?

— Сейчас скажу, пойдёшь убей его.

Максуд вытащил из кармана платок, сказал мне: перевяжи руку, потом улыбаясь подошёл, сам разжал мне ладонь. Ладонь была в крови, так что и порезов не видеть было. Он счистил кровь и перевязал мне руку, но я был на него обижен. Я даже не смотрел на него.

— Идём домой, Надя.

С застывшим взглядом женщина устала в землю.

— Твоего писателя нет, сбежал твой писатель, Надя, идём домой.

Женщина повела плечом и не сдвинулась с места.

— Позовите. Убить не убью, поговорим просто, как мужчина с женщиной.

— А вина не выпьешь?

— Вино я и сам могу купить, спасибо. Идём домой, Надя.

Женщина глядела в пол, она что-то прошептала, никто не расслышал что.

Он встал против женщины и сказал:

— Идём домой, Наденька. Надюша, пошли домой.

— Саша... Я не пойду в твой дом.

— А что же ты позвонила мне?

Женщина пожала плечами.

— Твой поэт сбежал, Надя, одевайся, пойдём домой.

— Мы танцевали, у меня было хорошее настроение, и я позвонила.

— Что я тебе, ребёнок, что ли?

— Прости меня, я не буду больше звонить.

— Значит, твои поэты получили стипендию, вы танцевали, тебе было хорошо и ты вспомнила про меня?

— Да.

— И позвонила?

— Да.

— Чтобы сказать, что счастлива без меня?

Женщина подняла голову и растерянно посмотрела на него. Он нарочно так говорил, нарочно искажал смысл этого звонка, чтобы был повод снова ударить её.

— А? Что счастлива без меня?

Женщина не мигая смотрела на него, потом сказала:

— Да.

Он её ударил и беспечными шагами гуляющего по парку человека пошёл к двери. Он ударил её как специалист, со знанием дела, наотмашь. Теперь лицо Максуда слегка искажилось. Эльдар поднёс стакан к глазам, разглядывал что-то там несуществующее и беззвучно свистел. Проходя рядом со мной, этот парень сказал:

— Ты тоже пишешь поэмы? — Он замедлил шаги возле меня и сказал: — Напиши, что лётчик Локтев стукнул меня по лбу.

— Я ударился об дверь, — сказал я. — Это не ты ударил, ты меня не можешь стукнуть, ты можешь бить только женщин. — Но он, не обращая внимания на меня, снова встал против своей жены и играл носком ботинка.

— А? — сказал он ей. — Что, счастлива без меня?

Женщина посмотрела на него презираще и сказала: да. И он снова ударил её: даже по ночам? Руки его были в карманах кожаного пиджака, и он всё время играл носком ноги. Женщина не мигая смотрела на него. Я встал, чтобы уйти, возле двери я снова услышал звук пощёчины. Я оглянулся, он шагами гуляющего по парку человека направлялся к двери. Поравнявшись со мной, он как бы дружески подмигнул мне, так же дружески, коротко, ударил меня по локтю и с фальшивой улыбкой попросил:

— Ты, молодой человек, хороший парень, как мне кажется, пойдёшь приведи сюда Виктора Игнатъева. Буду очень благодарен. — И я увидел, что не могу сердиться на него и совсем не хочу с ним драться.

— Сегодня не выйдет, — сказал я, — договоримся, может быть, придёшь завтра.

— Сейчас, — бросил он через плечо, направившись к жене.

— Фу! — Я вернулся, сел на сломанный стул и сказал: — Виктор Игнатъев — это я.

А он опустился на колени перед этой женщиной, он бросил мне через плечо с деланным удивлением: — Неужели? — И, стоя на коленях, взмолился: — Надя, Надюша, Наденька, прошу тебя, идём домой.

Женщина шевельнула губами, сказала неслышно:

— Не пойду.

— Надя, прошу тебя.

Женщина покачала головой и прошептала: нет.

— Ой, — будто бы отчаявшись, он уронил голову на грудь, побыл так немножко и поднялся-вскочил. И, встав перед женой, ударил наотмашь одной рукой, потом другой. Вроде бы начиналась озверелая, не на шутку потасовка. Я пошёл, встал перед ним. Максуд подошёл, встал между нами. Эльдар Гурамишвили весь сжался и разглядывал вино в стакане: Эльдар когда-то два месяца сидел в тюрьме или был отстранён от работы, не знаю точно, — в его кавказской жизни есть какая-то тайна, случай, линия — кривая, как старая тифлисская улочка; то ли радуясь, то ли усмехаясь, он говорит иногда, что как хорошо, что его друг — я, что мы такие друзья, пишем сценарии, пьём молоко, смотрим картины. Этот, в пиджаке, собирался снова ударить.

— Слушай, — хватая его за рукав, сказал я, — выметайся отсюда на улицу. Хватит.

— Значит, Виктор Игнатъев — ты, — сказал он мне и ударил жену. Я оттащил его — он был крепкий, как футбольный мяч. — Надя, идём домой. — И снова ударил. Не меня — её.

Женщина грустно усмехнулась и прошептала:

— До чего ты мерзок.

— Верно, Надюша, всё так, — он поднял глаза, и в глазах его стояли слёзы. И, всхлипнув, он снова ударил. Я встал между ними. Он посмотрел на меня невидящими глазами, и в этих глазах были слёзы. Я хотел попросить его, чтобы он перестал, он оттолкнул меня, я упал спиной на очень мягкую грудь или живот этой женщины. Максуд выволакивал меня из этой свалки, я не давался, и вот тут-то он двинул меня как следует по подбородку. И ногой — по лодыжке.

Потом он рвался к двери, Эльдар удерживал его, а Максуд улыбался. Женщины не было.

Эльдар запер дверь, спрятал ключ в карман и сказал ему:

— Выпьём по стаканчику.

— Открой дверь, прошу тебя.

— Не ломай казённую дверь, Саша.

— Отдай ключ, умоляю.

— Хочешь, приведу Виктора, выпьем все вместе?

Вдруг Максуд захохотал. Я посмотрел на него, он смеялся — уставившись на меня.

Я разозлился:

— Что ты всё время смеёшься?!

— Саша, — сказал он смеясь, — ты должен выпить с нашим Геворгом.

— Отдайте ключ, ребята. — Он плакал.

Максуд подвёл его к столу, дал ему в руки стакан и сказал:

— Конченное дело, Саша, напрасно ты глупости вытворяешь. Выпейте вот с Геворгом, я тоже выпью. — И он снова улыбался, этот Максуд.

— Ты над кем издеваешься, а? Подонок.

— Над тобой, но не издеваюсь, смеюсь.

— Над чем тут смеяться?

— Схлопотал целых три раза.

— А ты ему помогал. Дай я тебе скручу руки, а он пусть бьёт — посмотрим, что будет.

— Я не помогал ему. — И Максуд снова сказал этому, в пиджаке, Саше: — Выпей с Геворгом.

Тот плакал:

— Что вам надо?

— Ты избил Геворга, ты должен выпить с ним.

И этот, Саша, медленно повернул ко мне лицо, его маленькие синие глаза были мокры, закрыл их, крепко сжав губы, встряхнул головой и прошептал, открывая глаза:

— Ну ладно.

— Геворг, — улыбнулся мне Максуд.

Эльдара взорвало:

— Оставь в покое Геворга, слышишь! Или хочешь, чтобы он избил этого бедного молодого человека. Улыбается себе и улыбается, не его избил, не его жена сбежала с другим, сидит себе и радуется.

Максуд снова улыбнулся, ничего, мол, ничего, говори, свои люди.

— Геворг ты, земляк? — сказал мне этот парень. — Я стукнул тебя?

— Ничего, — сказал я, — ничего, так вышло, бывает.

— Ну да.

Мы выпили, опорожнили эти грубые стаканы. И со стаканами в руках подождали чего-то, что ещё должно было случиться. Какой-то знакомый-незнакомый привкус прилип к губам, я хотел его стереть языком — не получилось. И это было неприятно.

— Пойду, — сказал он. — Прошу извинить меня.

И когда я ставил стакан на стол, я заметил, что рука моя обёрнута платком. Мой стакан разбился и изрезал мне руку. Край другого стакана, того, что был в моей руке, был запачкан, но не в вине и не в крови, это была губная краска, помада. Это был стакан так называемой Нади, и помада была её. Когда меня толкнули, я ударился спиной о её огромные груди или живот. Её влажная мягкая рука была неприятна.

Мы вышли все из комнаты Виктора Игнатьева. В коридоре, из нескольких точек сразу, раздавался стук пишущих машинок. Было слышно, как поэты переходят к новой строчке — тахк! Из комнаты вышла, прикрыла за собой дверь, выпрямилась и пошла, стала спускаться по лестнице, не дожидаясь лифта и игнорируя нас, высокая и здоровая приятельница Джона Окубы. Высокий, как сухая резина, негр сейчас валяется на постели и не может собрать себя. Мы все на секунду сделались жалкими и застеснялись друг друга. Я поёжился.

— Мой чернявенький, — сказал мне в лифте Максуд, — простудишься, мой южанин, иди домой, мы сейчас вернёмся.

Было четыре часа ночи. У вахтёрши забирала спой паспорт высокая, очень здоровая девушка, её замшевая куртка... она положила паспорт в сумку, продела руки в перчатках в рукава шубы и подождала, чтобы мы распахнули перед ней дверь. Это был молчаливый

приказ. С секунду никто из нас не двигался, потом мы все вместе схватились за дверь. Она вышла. Я резко отдернул руку и засунул глубоко в карман. Воспоминание о Еве Озеровой кольнуло моё сердце, и было предательством расстилаться так по-рабски перед какой-то удовлетворённой женщиной... Мы вышли, холодный пар мгновенно окутал меня с ног до головы, как будто я был голый, и показалось даже, что этот холод — только он — и удерживает мою одежду, со всех сторон подпирая её.

— Интересно, Игнатъев в пальто ушёл или так? — Они шли впереди меня, я не понял, кто это сказал. Я вернулся, вошёл в здание. По короткому взгляду дежурной вахтёрши я понял, что она думает о нас — она думает о нас с точностью и краткостью газетных сводок, она думает, что напрасно государство переводит на нас хлеб и что зарплата её и сидение тут — тоже вещи непонятные. В эту минуту эта женщина совершенно твёрдо уже знала, что в юности Александр Сергеевич Пушкин был испорченным молодым человеком, и стихи его, наверное, полнейшая глупость, и в школе их всех обманывали. Столик для писем был пуст. Лифт был заперт. Я по привычке оглянулся на дежурную, а она только этого и ждала, чтобы нагрубить. Но она сказала совсем не то, что хотела, она сказала:

— Четыре часа ночи, дайте бедному лифту отдохнуть.

Я поднялся на свой этаж, унося с собой слово, которое она не произнесла, — дармоед. По всему коридору стоял перестук машинок. Поэты нанизывали строчку, нанизывали другую, вот так:

Нанизывали строчку — тахк!
Нанизывали другую строчку — тахк!
Нанизывали следующую строчку — тахк!
Ещё строчку — тахк!
И —
ещё, последнюю...

Моя дверь была заперта. Ключа с собой у меня не было. Это была моя комната, 167-я. Ключа моего у меня с собой не было. В комнате Виктора Игнатъева, на столе — на письменном столе — в шкафу — на подоконнике — на постели — на стуле — на полу — нигде ключа не было. Под кроватью было грязно, я не хотел бы, чтобы мой ключ был там. Я вернулся, встал против своей 167-й комнаты. В моих карманах... в карманах ключа не было... в моих карманах... в кармане пальто было только письмо Асмик, в этом письме — расплывчатая улыбка моего сына, его хныканье, якобы узнавание матери и сестры будто бы — тоже, «боже мой, до чего хороша эта собачка». Я толкнул дверь. Она была закрыта. Я потряс её. 167. Закрыта. Надо заставить себя и пошарить под кроватью Виктора Игнатъева, среди мусора. Надо попросить у бодрствующих поэтов из 160-й, 161-й, 162-й, 163-й, 164-й, 165-й, 166-й, 168-й, надо взять у них ключи и попробовать открыть.

Нанизывали строчку стихотворения — тахк!
Нанизывали вторую — тахк!
Нанизывали третью строчку — тахк!
Ни к чёрту негодны:

Шекспир,
Толстой — тахк-тахк!

Один только я...
Тысяча-тысяча строк — тахк, тахк, тахк...

Я стукнул ногой по своей двери.

— Кто там? — сказали изнутри. В замочную скважину ничего не было видно — внутри было темно и тихо, из тёмной тёплой комнаты, через замочную скважину вытекал какой-то

очень родной запах: яблоки, присланные отцом, гранаты казахского азербайджанца, грубые пальцы моей матери.

— Ч-чёрт! Открой дверь!..

— Кто это? — спросил женский голос.

— Здесь я, а там — кто?

— Ты кто?

— Я — это я! Откройте дверь сию минуту!

— Ты — кто?

— А ты, интересно, кто? — наверное, она там с мужчиной, заговаривает мне зубы, тянет, чтобы выгадать время, чтобы успеть одеться. Я стукнул ногой по этой 167-й двери. Ключ вошёл с той стороны в замок, повернулся, но дверь не открылась, ключ ещё раз повернулся в замке — дверь не открылась.

— Не открывается.

— Не моё дело, открывайте как хотите.

Я надавил на дверь плечом, и дверь подалась, в полутьме я налетел на чьё-то большое и мягкое тело и нос мой уткнулся в женское лицо. Я зажгёт свет — это была смуглая женщина, она снова запирает изнутри дверь. И было стыдно.

— Хоть бы свет зажгла, — сказал я.

— Что он сейчас делает?

— Откуда я знаю? Про кого ты?

— Ну, Саша.

— Саша — твой муж?

— Был.

— Саша ушёл.

— Совсем ушёл?

— Не знаю. Ушёл.

— Ты видел, как он уходил?

— Видел.

— Очень он был грустный?

— А тебе что?

— Бедняга он, бедный парень.

— Да, — сказал я, — столько бил, что руки у этого бедняги заболели. — Я посмотрел — она опиралась на стол с яблоками и глядела в землю, вдавив подбородок в пальцы и что-то шепча, наверное, «бедный парень». Высокие сапожки плотно обхватывали её пузатые икры.

— Если пойдёшь, догонишь, в такой час машин не бывает, ждёт, наверное, на улице.

От того, что она облокотилась на стул, платье её задралось, обнажило толстую ляжку. Одна толстая ляжка примыкала к другой толстой ляжке, и вместе эти две ляжки составляли площадь необыкновенно широкую. И вдруг совершенно иной смысл обрели просьбы этого Саши, уговаривающего её вернуться домой. Глядя на эти ляжки, я понял и его жажду избивения. Я пошёл закрыть форточку. Было неприятно видеть на её ногах застёжки от пояса. Я закрыл форточку, прислонился к окну и проворчал:

— Сейчас машины не найти. Ты не сможешь сейчас уехать.

За моей спиной было молчание, облокотившись на стол, она прошептала, а потом сказала, я её расслышал:

— Как пахнет хорошо, чем это пахнет так?

Уткнувшись в оконное стекло, — яблоки, — прошептал я, — отец прислал из дому.

— Съешь яблоко, — сказал я ей.

— Сколько у тебя детей? — задумчиво спросила она.

— Двое, — машинально ответил я. — Двое, — повторил я машинально, — мальчик и девочка.

Она грустила, зажав подбородок между пальцами, а эта ширина ляжек как будто не ей принадлежала. Она вздохнула. Было стыдно смотреть ей в глаза, и был понятен её вздох и вся эта дневная и ночная грязь... Она вздохнула и откинулась от стола:

— Пойду. — Гора яблок развалилась и рассыпалась по полу.

— Ты... что это?! — Но в следующее мгновение я уже ползал по полу, и моей ярости как не бывало. — Ничего, сейчас всё соберу. — Я ползал на коленях, подбирая яблоки. Она наклонилась и тоже подбирала с земли по яблоку, колени её были широкие и блестели, я всё собирал яблоки, ползал так на коленях, я подобрал наконец все яблоки, дополз до ножки стола, яблоки еле помещались у меня в охапке, она, наклонившись, подобрала ещё одно последнее яблоко, она смотрела на пол, на яблоки, на яблоки у меня в руках, и то, что она не глядела на меня, а я видел только её щеку, её косу, её плечо, её спину, её колено, и мне не было стыдно, — всё это делало возможным и даже вроде бы естественным вот сейчас прямо взять и напасть на неё. И это нападение было бы не на человека, а на тело.

Буркнув какую-то глупость, что-то вроде «на тебе в подарок», Геворг Акопович Мнацаканян все присланные своим отцом Акопом яблоки, те яблоки, чей аромат, свисая с веток, опускается на грядки укропа и лоби, и живут в этом аромате под солнцем укроп, лоби и два дубка, а возле дверей, окутанный этим ароматом, стоит мой отец и отделявает рубанком дерево, — Геворг Мнацаканян высыпал эти яблоки этой женщине в подол и снова рассыпал их по полу — на, мол, тебе в подарок — и, опустив голову, чтобы не видеть глаз этой женщины, он обнял это тело, прижал это тело к себе и повалился с ним вместе на пол. — Ты что это делаешь?! — и потому что голос этой женщины был встревоженный, он уткнулся лицом в её тело, чтобы не видеть её глаз. Женщина оттолкнула его голову, он льстиво взмолился: дорогая! — Отпусти меня! — А он в это время обещал подарить ей Ереван, Тегеран, Арабстан и бог знает что ещё. Женщина прислушалась к себе, встрепенулась и сказала жалобно: отпусти же меня! А он тут же с каким-то непонятным восторгом наврал, что давно влюблён в неё, и драку затеял из-за неё, потому что влюблён, и, раздирая на ней платье, наврал ещё чего-то с три короба. — Дай хоть разденусь, — сказала в сердцах женщина. — Ничего, ничего, — зашептал он. Затрещала ножка стола, со стола с шумом посыпались яблоки, и женщина, безучастная, подчинилась. Лицо её скорчилось в гримасе, она молча плакала. И было оскорбительно, что женщина остаётся безучастной. За дверью слышались чьи-то голоса. Да, слышались голоса, и в дверь постучали, и даже толкнули её. И они на полу замерли неподвижно.

В дверь стучали.

— Что такое?

— Извините, — голос был женский, — гостей нету? Светает уже, пора гостям домой.

— Гости есть, тысяча голых женщин, дайте время, чтобы оделись.

— Извините, Надя, Надежда Мансурова пришла в сто семьдесят пятую, а в сто семьдесят пятой никого нет.

— А я при чём, мне что докладываете, дайте спать.

— Извините, у вас горел свет...

Было тихо, лицо этой Нади исказилось, а виски сделались горячими от слёз, чужие шаги удалились. Было такое чувство, будто удаляются пустые ботинки. Дежурная была немолодая женщина, она боялась коменданта. Комендант в общежитии был начальник тюрьмы в прошлом.

Этот грязный пол. Эти рассыпавшиеся по полу яблоки. И треснувший гранат на полу, и эти резинки от пояса на чулках. И грубость пуговиц. И металлические застёжки на мягком человеческом теле и высокие сапоги на ногах. И покосившаяся ножка стола. И то, что уда-

рила по голове костяшками пальцев, отталкивая, это изнасилование одежды. Озерова Ева, в бильярдной, стояла прислонившись к стене. И то, как они с отцом зарезали козу для шашлыка, содрали шкуру, разделали всю и отдирали сердце и почки — в потрохах что-то зашевелилось, и это был козлёночек в чреве. И жуткое безобразное предупреждающее блеяние козы под занесённым ножом. А хулиганье налетало на беженок, налетало, раздевало, сопровождающий старый солдат отворачивался, а хулиганье заставляло голых женщин нагнуться, и своими грязными ногтями хулиганье доставало, случалось, обручальное кольцо или золотую монету. И то, что про это поставлены в известность чиновники и таможенные служащие. И работники таможни смотрят на красавиц с грязной ухмылкой.

Он привалился к письменному столу, уронил голову на стол. И прошептал: чего ты ещё ждёшь, встань и убирайся отсюда, — и он не понял, кому он это говорит, себе или женщине. Позже он понял, что говорил всё это по-армянски. Он прошептал снова «чего ты ждёшь»... и увидел, что говорит по-армянски. А перед его глазами очень близко, до невидного близко на белой бумаге появлялись и исчезали, снова появлялись и снова исчезали какие-то непонятные словосочетания: «К голому склону Сине́й горы прилепился можжевельниковый куст и зовёт за собой лес, что в балке...» Он поднял голову и посмотрел на окно, на листки бумаги, на гвоздь в стене, на потолок, на пальто, на дверь. Его взгляд коснулся и обошёл женские сапожки. За крышами в холодной мгле поднималась с воем и мёртвой твёрдостью телевизионная башня. Женщина сидела на его постели, уронив руки на колени, она шевелила пальцами рук и смотрела на эти пальцы. Общая крыша города уходила, уходила вдаль до светлеющей дальней мглы. Несколько окон в ближних зданиях излучали красноватый влажный свет. Значит, окна запотевшие были. Миллион мужчин и женщин, мужей и жён, стариков и старух, провинциальных гостей и местных красавиц, этаж на этаже, третий этаж, четвёртый этаж, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый этажи, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, коробка на коробке, и древесная вошка, извечная борьба древесной вошки с масляной краской. На столе в раздевалке сидела девушка, красивые длинные ноги этой девушки... а она надевала свою шубку в это время и поднимала воротник этой шубки, а я надевал своё твёрдое пальто, она обратила ко мне взгляд, и взгляд этот был как нож, но она в одно мгновение совладала с собой и улыбнулась через силу, потому что не дала себе права так смотреть на меня. И вот эта теперь, на моей постели... Может быть, они подруги, может быть, знакомые, как я скажу ей, господи боже мой, как я смогу сказать ей: «Здравствуй, Ева...»

Я сказал что-то, и услышал сказанное мной много времени спустя, и повторил:

— А башня всё растёт.

Отвернувшись к стене, она ответила что-то и замолчала. И сказала — и я увидел по профилю, что она улыбается:

— А яблоки всё же надо собрать.

— А башня всё растёт.

Я начал подбирать яблоки. И было трудно наклоняться каждый раз за каждым яблоком. Но это было хоть какое-никакое занятие и предлог смотреть всё время на пол, на стол, на яблоки. Она толкнула ко мне ногой яблоко, и я смог поднять голову и посмотреть на неё. Она смотрела на меня, скрестив руки под грудью и улыбаясь.

Она зевнула, поёжилась и прошептала отчуждённо:

— Холодно.

И в эту минуту я сумел сказать.

— Прости меня. Прости меня, пожалуйста, Надя.

Она отвела взгляд и зевнула, или сделала вид, что зевает.

— Я сейчас выйду, а ты раздевайся, ложись в моей постели.

— А ты?

— Я днём спал.

Она посмотрела на меня и подождала, и я понял, что она ждёт, чтобы я вышел из комнаты, я пошёл к двери и сказал:

— Бельё чистое, вчера менял.

— Ничего, — сказала она, — я посплю немного, да? — Но были деланными и улыбка её и то, как она просила.

Стрелка электрических часов при моём взгляде прыгнула и задрожала. Вода в душе, наверное, уже горячая. Коридор пуст из конца в конец. Какая-то одна машинка в одной комнате стучала с большими перерывами — или тот, кто стучал на ней, был усталый, или же писал прямо на машинку. Что-то хорошее, во всяком случае, я сделал. Дал возможность этой девушке спокойно раздеться и забраться в постель. Сейчас она ляжет, устроится поудобнее, я возьму полотенце и твёрдый обмылок, спущусь в душ и долго буду мыться, с паром и веником. Завтра, ничего, завтра снова поменяю бельё. Неприятно не влажная её ладонь, не чёрная от краски слеза, и даже не насилие, которое произошло, а отсутствие любви. Будь любовь — красивыми были бы и то, и другое, и третье. И даже это насилие над одеждой. Любви в тебе мало, вот оно что. Ты себя не обманывай — бельё меняли вчера и поменяют снова через восемь дней только. Целую неделю, содрогаясь, корёжась от отвращения, ты будешь спать в этой постели. Ничего, ляжешь одетый, натянешь на себя пальто. А сейчас ступай в душ и вымойся как следует. В душевой сейчас холодно, цементный пол холоден, и кафельные стены холодно поблёскивают, ничего, потом ты пойдёшь, ляжешь в своей постели и подумаешь... Но твоя постель занята, ты пойдёшь, ляжешь в постель Виктора Игнатьева. Под кроватью — грязь, на постели осколки, комната вся пропахла вином. Возьми мыло и жёсткое полотенце...

И даже под одеялом было видно, какие у неё крутые бёдра, талия прямо проваливалась, — задержав дыхание, я стоял и раздумывал, где может быть моё жёсткое полотенце. Её одежда лежала на стуле, может быть, моё полотенце осталось под этим платьем? Она, закутавшись по горло в одеяло, удивлённо моргала глазами.

— Что ты делаешь? — глухо спросила она.

— Я? Полотенце потерялось, иду мыться.

— Полотенце у тебя в руках. — Ничего не выражающими глазами она с минуту смотрела на меня, потом зевнула и вытянулась под одеялом.

Полотенце и в самом деле было в моих руках.

— Извиняюсь, — сказал я.

— Ты не потушишь свет?

— С удовольствием.

Я пошёл, чтобы потушить свет, а потом, может быть, так же машинально выйти, чтобы, может быть, спуститься и, может быть, помыться. Она ничего не говорила.

— Запереть тебя? — спросил я. В темноте она молчала и моргала глазами, я ждал её ответа. И тут в дверь тихонечко постучались, почти что поцарапались. И потому что по всем признакам я был невинен, я свою постель предоставил избитой женщине, а сам с полотенцем в руках иду принять свой утренний душ, а может быть, чтобы обелить себя в собственных глазах, я сказал с весёлой бодростью:

— Кто здесь, входите, пожалуйста. — И с полотенцем в руках сам распахнул дверь.

Это был не тот, кого звали Саша. Это был Эльдар Гурамишвили. Он держал в руках листок бумаги.

— Ты не спал, идёшь мыться. Сейчас вместе пойдём, смотри, что я для тебя нарисовал. — Он вошёл в комнату, зажгёт свет и пошёл, сел у письменного стола. — Иди сюда, — коварно и радостно гогоча, он подзывал меня, как вдруг увидел то, что было в постели. Он посмотрел на меня, посмотрел на постель и спросил без слов — что это, или — кто это?

— Тише, — сказал я, — спит. Я пришёл, она спала. Пришёл, смотрю, спит в моей постели. — Он пожал плечами и сказал губами: чёрт знает что.

— Пришёл, смотрю — спит, не мог же я сказать — вставай, уходи.

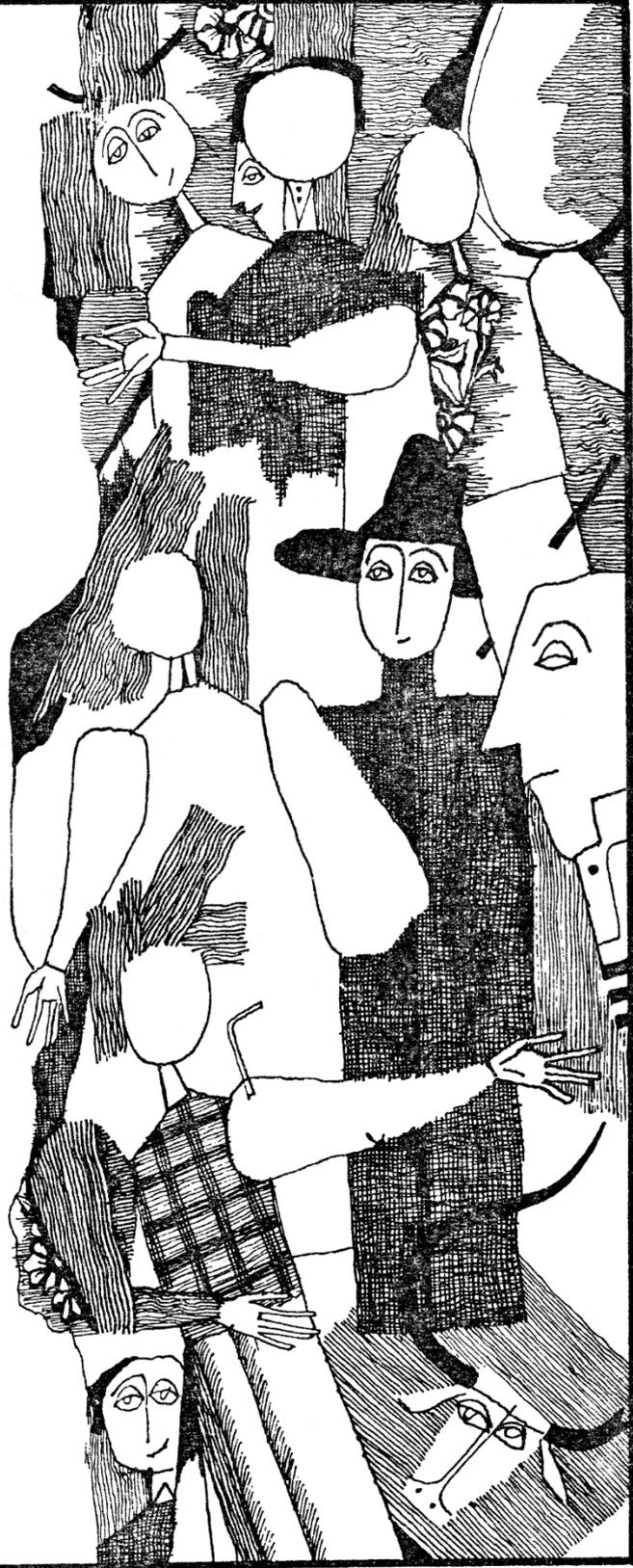
— Ничего, — сказал он, — протяни как-нибудь до конца занятий. Камац-камац, — сказал он по-армянски и подозвал меня рукой. — Смотри. Для тебя нарисовал. Нравится тебе?

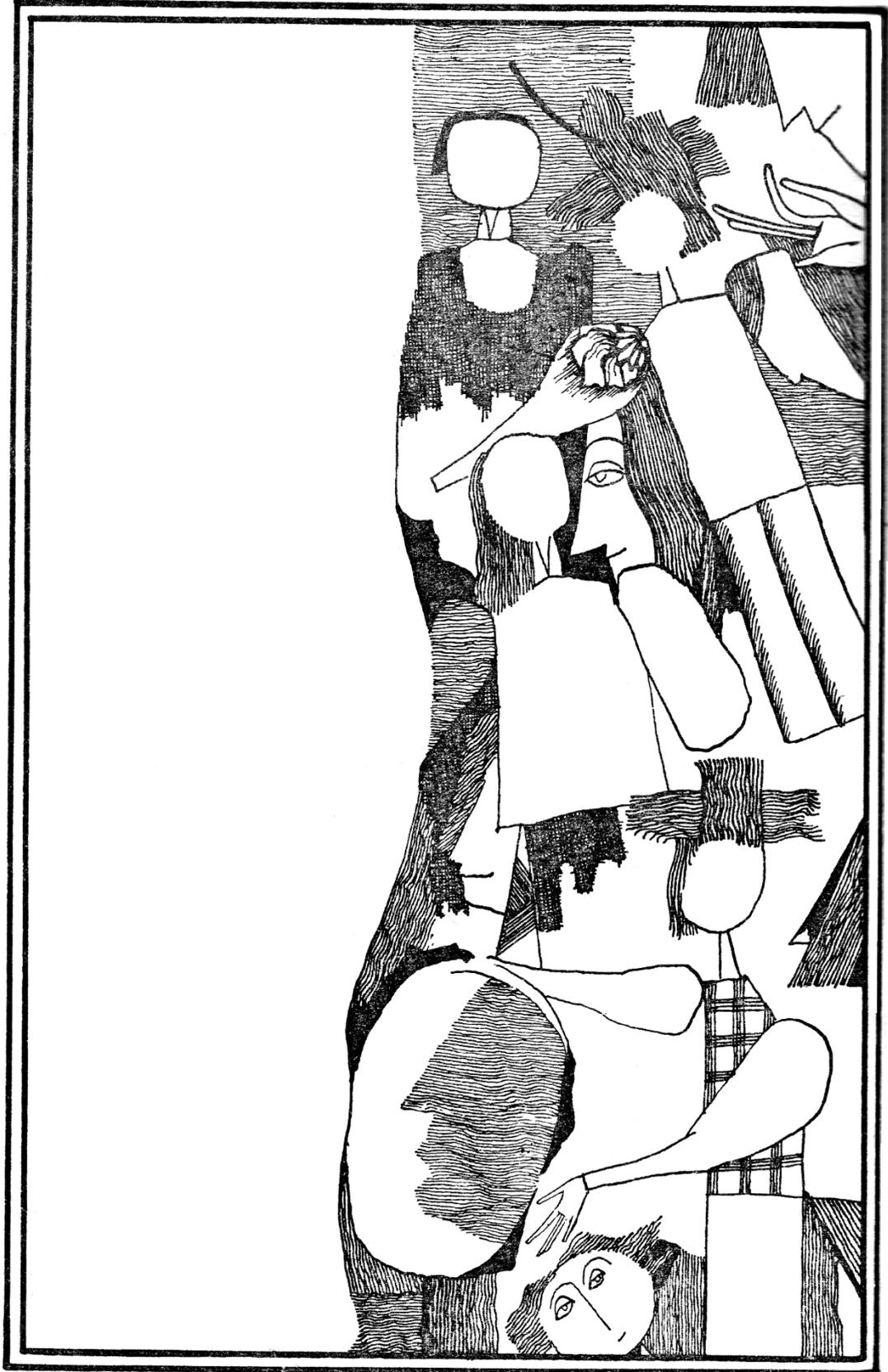
— Нравится.

— Смотри. Значит, так. Это река Риони. В Западной Грузии течёт, по-старому — Пасис. Это, значит, старый Пасис. А Грузия очень большая, знаешь, есть Западная Грузия и Восточная Грузия, Южная Грузия и Северная Грузия. Значит, это река Риони. Самая быстрая река во всём мире. Вот так идёт, вот так уходит. Её невозможно перейти ни на лодке, ни через мост, ни на самолёте, ни на канатной дороге. Такая она быстрая. Это вот туристы, по профсоюзной путёвке исходили всю страну и Армению тоже, а теперь пришли сюда и очень хотят перейти на тот берег, но это невозможно, ни на лодке, ни на парашюте. А я, значит, на том берегу, это мой дом, я сам его построил, и место сам выбрал, про это место, Геворг, только я один знаю. В самом деле — такое место есть, как только появятся деньги... Дом я построил из булыжника, из реки достал, вот так, видишь, камень к камню. В доме всего одна комната, одна дверь, три окна — на восток, на запад и на юг. Вот дверь, дверь открыта. Жарко. Я сижу у крыльца. Это мой забор. Я сам прибил все гвоздики. А это — кукуруза, я посадил кукурузу. Кукуруза выросла, уже желтеет. Куда ведёт эта тропинка между кукурузами? Ведёт к уборной, а это другая маленькая уборная, вот в этом углу, я сам построил её для детей. Детей сейчас нет дома, дети ушли купаться на речку. Жарко, жара так и стоит в воздухе, верно? А это — собачья конура. Собаку звать Пери, это Пери, смотрит на туристов круглыми глазами. Это — яблоня. Разве это дети, это не дети, это чёртовы отродья, не дают яблокам налиться, все ветки изломали, а яблоки съели зелёными, осталось одно только незрелое яблочко, сморщенное. В погребе, значит, вино есть, тихо кипит в карасе...

MEIAMOP

ECCE





...Со всей любовью вновь посетил бы Советский Союз, но занят, страшно загружен делами. Наши романисты — суцая находка для французских издателей. Как только кончу свою последнюю вещь, — прощаясь, сказал прогрессивный турецкий писатель (он — один из активных участников антиамериканского турецкого движения), — приступлю к давно задуманному — книге о национально-освободительной войне, которую вёл мой народ в двадцатые годы.

В двадцатые годы его национально-освободительная армия уничтожила в Шираке двести тысяч армян. Он — сын миллионера, представитель сильной державы, отсталость Турции в этом быстром двадцатом веке — вопрос, который не сегодня завтра решится. Их тридцать три миллиона, и они растут, пятьдесят миллионов их, — что скажет этот Нефзад Устюн о дикости своей национально-освободительной армии? Он скажет, «уничтожили двести тысяч захватчиков»? — нас, армян, было всего про всё один миллион — что же, выходит, двести тысяч было солдат? Он скажет, «не мы их, они нас уничтожали». Скажет, «а вообще-то хорошо сделали, что уничтожили». Вот ты, а вот твоя совесть, Нефзад Устюн, твоя совесть и ты. Никто другой ничего тебе не докажет.

Азнив Окиоберидзе (в девичестве Хачтовмасын) ищет отца — Амазаспа, мать Арусяк, братьев — Андраника, Проша, Анушавана, Манука, Арутюна, Амбарцума, Гарнука¹ (настоящего имени Гарнука Азнив не помнит, домочадцы называли его Гарнук), сестёр — Арпен, Мариам, Шушан Хачтовмасынов, родившихся в 1895 — 1913 гг., в Западной Армении, в городе Битлисе, дядьёв по отцу — Аршака, Саргиса, Хачатура, их детей — Ашота, Арташеса, Артавазда, Акопа, Галуста, Шушан, Гургена, Сурена, Ахавни, Воски, Тухманука Хачтовмасынов, родившихся там же. Пропали без вести в 1915 году. Азнив спас польский офицер. По слухам, родные Азнив живы и проживают в Аргентине, Австралии и, может быть, в России. Дом Азнив находился за церковью, между домом и церковью был сад, в саду был колодец. Сведения посылать по адресу: Армянская ССР, Ереван, ул. Алавердяна, 37, редакция газеты «Айреники Дзайн»².

УКАЗ

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ МАТЬ-ГЕРОИНЯ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Присвоить почётное звание «Мать-героиня» с награждением медалью «Мать-героиня» следующим матерям, вырастивших и воспитавших десять детей:

1. Абдуллаевой Франгиз Султан-кызы — домашней хозяйке, посёлок Дастакерт Сисянского района;
2. Арабян Лусик Амоевне — рабочей совхоза, Арагацкий район;

¹ Гарнук — ягнёночек.

² «Голос родины».

3. Сеидовой Эльмире Мамед-кызы — домашней хозяйке, село Ширазлы, Араратский район;

11. Рзаевой Гюльнаре Искандер-кызы, доярке, село Амагу, Ехегнадзорский район.

«Для обсуждения ряда вопросов, связанных с нестабильными явлениями, происходящими в галактиках, из четырнадцати стран в Ереван прибыли 70 крупнейших астрофизиков, в их числе — директор Лейденской обсерватории, почётный член Академии наук СССР — профессор Ян Оорт (Голландия), супруги Бербежди, знаменитые исследователи внешних галактик, профессор Цвекин и профессор Миньковский из США, вице-президент Международной ассоциации радиосвязи доктор Лекьон (Франция), академик Зельдович (СССР), профессор Фузимето (Япония), профессор Ухтель (ГДР), профессор Серсик (Аргентина) и другие.

Симпозиум открыл академик Виктор Амбарцумян. Приветствуя участников международного симпозиума, а также гостей, он подчеркнул крайнюю актуальность дальнейшего изучения природы нестабильных явлений, конечной целью которого является расшифровка структуры пока ещё мало исследованных дальних галактик.

Завтра участники симпозиума посетят Бюраканскую обсерваторию, раскопки Мецамора, а также Эчмиадзин и Звартноц».

«Археологические экспедиции, организованные музеем при республиканской Академии наук, производят обширные раскопки в Цицернакаберде, Шенгавите, Тейшебаине, Эребуни, Мецаморе, Армавире и других районах республики. Повсюду обнаружены богатейшие захоронения утвари и предметов быта. Музей каждый год получает в среднем около трёх тысяч предметов новых экспонатов. Тысячи глиняных сосудов, изделий из бронзы, оружия и разнообразные предметы быта обнаружены при раскопках древнейшего захоронения в Артикуфе. Большой интерес представляет крепость в селе Арич, относящаяся к III тысячелетию до нашей эры. Заслуживает внимания языческое капище огромных размеров, обнаруженное в Мецаморе. В селе Лчашен в гробницах найдены четырёхколёсные повозки... Количество обнаруженных предметов быта так велико, что руководство музея археологии, для того чтобы сохранить их на местах, вынуждено объявить музеями под открытым небом Двин, Гарни, Эребуни. Через год или два музеями станут Мецамор, Арич, Шенгавит, Армавир, Лчашен, Гладзор, Сюник, долина Ахстева, а также территории, освободившиеся от севанских вод и, вполне возможно, новые территории, которые возникнут вследствие обмеления озера Севан. Чтобы подчеркнуть масштабы предпринятого мероприятия, приведу один только факт: находка мецаморских металлообрабатывающих мастерских, как предполагают учёные, указывает путь к разрешению загадки, связанной с захватом хиксосами Египта в XVII веке до нашей эры.

«Кто были эти хиксосы, откуда они шли и где ковали свои железные мечи?.. В деле выявления и сохранения древних поселений нам помогают местные жители, хотя находятся и такие личности, которые...»

Племя смуглых и жилистых людей, что называли себя хиксосами, ворвалось с севера в Ассирию, ринулось через Финикию в долину Нила и одним ударом смела семнадцатую династию фараонов — но вовсе не потому, что последние правители семнадцатой династии не обладали мощностью, а исключительно и только потому, что захватчики орудовали железными мечами и колёса их военных колесниц были обиты железом — как бы быстро ни мчались их кони — их колёса должны были выдержать, поскольку были обиты железом. Они спустились со своих гор с севера, крепко держась за уздцы, поначалу они двигались медленно, сдерживая коней, они ступили в Ассирийскую равнину и разом ринулись и разбили — раскрошили все бронзовые армии и всех идолов от Ассирии до Эфиопии. И сами

сделались фараонами и жрецами, научились посредством огня извлекать — исторгать из камня железный меч, такой могущественный против хрупкой ливийской бронзы, научились различать созвездия среди звёздной путаницы небесной, а сами потом растаяли, испарились среди доброй лени этой жаркой страны, среди горячей печали женщин этого края.

А?.. С севера — на Ассирию — Финикию — Египет. Потом исчезли. (И вода с течением времени убывала. И ковчег опустился на горе Арарат.) В Араратской долине обнаружены плавильни — второе тысячелетие до н. э. В египетском не было неполного звука, если бы египтяне захотели написать слово «айк» — они должны были заменить «й» звуком «и» и написать «аик». То есть не Айк, а Аик. Или же: «Египтос — Ехптос — Хпос». Или же: «Хиксос-хик-хэк-хайк-хай»¹. Мать — (майр-мэр, отец — хайр-хэр, голос — дзайн-дзэн — голос, ох, да заткнись же ты в конце концов и не говори, что армянский царь Тигран был великим полководцем.

Чёрт побери, но Арарат всегда был в Араратской долине, а Араратская долина расположена к северу от Ассирии — правда, хетты тоже были на севере, но эти таинственные хиксосы воевали и с хеттами тоже.

Племя смуглых и жилистых людей, именовавших себя хиксосами, вооружилось в стране Арарат, что на севере, железным клинком из Мецамора, а спицы в военных колесницах выгнуло из арегунийского тиса, обладающего крепостью железа... Племя смуглых, как пшеница, энергичных людей, что добывали железо из камня, обнаружили магические свойства фосфора, а фосфор они обнаружили в костях овец и другого скота и вообще — в костях, в любых костях скотины ли, людей ли...

Племя смуглых нервных людей, что называли себя хай — армянами то есть, а страну свою Хайк, сметая хеттов, спустилось с севера к Ассирии, устремилось и разнесло в пух и прах, растоптало своим железом бронзовые войска и...

Два племени, две ветви этого племени смуглых и нервных людей, что называли себя армянами и греками, вооружились шлемами, копьями, клинками, оделись в металл сами и одели своих коней, потом объединились и стали рыцарем-монолитом — из Марафона, бряцая железом, прибыл рыцарь... С востока, растапывая по пути поля и луга, двигалась отара Акча-коюнлу. Бряцая железом, рыцарь кинулся в отару Акча-коюнлу, в самую гущу, и застрадал и не смог выбраться из мягкой шерсти, и оружие его не звенело, не бряцало в шерсти... И пастух потряс дубинкой и погнал рыцаря с отарой вместе до Марафона, до самых Геркулесовых столбов. И рыцарь забыл уже, что он рыцарь, он уже блеял в отаре Акча-коюнлу.

Все твои сражения проиграны. Ни один полководец, одержавший победу над твоей страной, не был восславлен на своей родине Триумфальной аркой. Маленькие отряды твоих воинов были уничтожены в горах и ущельях. У тебя самого нет ни одной победы. Твои белые флаги не вызвали у противника сердечного уважения, и твои посланцы задохнулись среди смачного ржанья. На твою землю пришли не с тем, чтобы плотной угрозой фаланг изъять твоё оружие равного противника или же чтобы искупить твой великодушный нейтралитет, нет — как попало, вразброд, по-хулигански, хватай женщин, серебряную пряжку, ковры, лошадей, пали поля. Уничтожены были твои планы набрать новые полки. Задушена была в зародыше любая твоя попытка найти выход из положения. Откуда ты должен был извлечь огненный меч легенды — эту часть твоего черепа смяли. Ты — единица разбитой армии. Ты должен сделать то, что делают потерпевшие поражение разбитые армии. Армии, потерпевшие поражение, в знак своего пораженья и во славу победителю возводят стелу.

¹ Армянин.

Племя энергичных людей, называющих себя хиксосами, ковало железо в стране Арарат, что на севере... Не надо, не хвастайся.

Азнив Делбаси ищет своего отца Амазаспа, пропавшего в 1915 году без вести, мать Арусяк, два миллиона братьев и... Не ной.

Через год-другой музеями под открытым небом станут Мецамор, Арич, Шенгавит, территории, освободившиеся от севанских вод, и, по всей вероятности, территории, которые ныне составляют прибрежный пояс севанских вод. Так ведь нашу республику и называют — музей под открытым небом... — Не иронизируй.

— Ладно.

а). И над землёй сорок дней был потоп, и вода поднялась, и ковчег оторвался от земли, б). И вода разбушевалась, и стало её на земле чрезвычайно много, и ковчег носило по воде. в). И вода под всем небосводом покрыла все вершины и поднялась над вершинами ещё на пятнадцать локтей. г). И вода над землёй бушевала сто пятьдесят дней, и молния ударялась о воду, и в свете молнии сверкала одна лишь вода. д). И вода на земле стала медленно спадать. е). И на седьмом месяце, на семнадцатый день седьмого месяца, ковчег опустился на вершину горы Арарат. ё). И Ной подождал ещё семь дней, и среди глубокой ночи земля мерно впитывала в себя воду... С серебряным блеском, как на старой печати, блестели араратские тополя, с опасливостью ночного вора тёк пограничный Аракс, над землёй зависла какая то зелёная ракета, в её безжизненном свете заметался туда-сюда заяц, в тростнике просвистел и притих — притаился маленький ветерок.

Железная дорога дожидалась поезда, молчали эчмиадзинские колокола, размышлениям предался кусок глинобитной стены возле старого виноградного куста, свет полыхал над городом Ереваном, по всей Араратской долине.

Возле Мецаморского холма под покровом тьмы стонали буйволы опытного хозяйства, вода блестела между грядок.

Пониже араратских снегов возле развалившейся часовни вместе с пастушьим костром тлел вой псов-волкодавов, среди двух миллионов призраков, над дремлющей отарой — ам-му-у-у...

Отдыхали паровоз и кувалда возле недотёсанного камня, умирали старые шёпоты в старой золе постоянного двора на зелёной дороге к Ани, выцветала вчерашняя газета с радостным сообщением о том, что опасность переселённости не грозит нашему большому Союзу. Среди глубокой ночи молча думали думу книги, покинутый постоянный двор на старой дороге к Ани, недотёсанный камень мыслил про буквы, крест и виноградную гроздь, старилась глина в крепости Эребуни, в музее истлевало копье, и было невозможно поверить, что в этой стране когда-то ковали копье и держали его в руках — и лысый летописец короткими крепкими пальцами тёр голову и боялся подойти к светлому как хлеб-лаваш письменному столу — идёт отара... идёт отара... идёт отара...

Идёт отара...
Вожак впереди,
Волкодав позади,
Верблюд с одного края,
Туман с другого края,
Всё-всё
Смешивая,
Волнуется
Пониже холмов,
Как чёрный ливень...
Так всегда бывало.

Осёдланного быка
На тупых копытцах
Умыкнули,
Зерно и песню пахаря
Умыкнули...
Топтали тебя
Кочевые племена
Веками, без конца,
Веками, без конца
Идёт отара...¹

Карр-карр — каркающие журавли всё взлетали. Под крылом у журавлей пришла весна к нам во двор... На берегу реки Тхмут вместе со своими товарищами смертью героя пал отважный полководец Вардан Мамиконян. Река Раздан вытекает из озера Севан. Озеро Севан находится в Гегамских горах. Дважды два четыре, дважды три шесть, дважды четыре восемь, дважды пять десять, дважды шесть двенадцать. Дэвы в сказках — при-ду-маны... — вот так, отличником, указательный палец вымазан чернилами. Покачивая большой головой на узких плечах — дескать, иду в школу — майское утро звенит в моих чистых лёгких, концы пионерского галстука бьются о мои плечи... Продолжение сна я знаю, я не хочу досматривать этот сон, улыбаясь во сне, я поворачиваюсь на другой бок и не то вспоминаю, не то вижу это продолжение, и во сне, улыбаясь или же плача, я люблю себя, дорогу к школе, щеночка на дороге, что в один прекрасный день вырос в собаку и набросился...

Куда бежишь ты так торопливо,
Красивая шустрая речка?
Остановись, поиграем под каким-нибудь деревом...
— Нет, мой малыш, мне надо бежать...²

Потом долька солнышка поскользнулась на льдах Арарата, и скатилась в ущелье, и раздробилась, рассыпалась, и Араратская долина наполнилась синим рассветом. С минуту подождал и с энергией тысячи заводов взорвался город Ереван со своим миллионным населением. Поток кончился — оставив в Гегамских горах пригоршню воды.

И сквозь сон я чувствую себя под сенью материнского присутствия и вместе с благоуханием кофе слышу смех моих друзей.

- Поспал и вырос, стал большим парнем.
- В Мецамор едем, вставай.
- Говорите, Арабстан в своё время полонили, да?
- Да уж не иначе.
- А потом куда делись, не помните?
- Помним, встали во главе Коптского войска, пришли и разбили вас, армян.
- А не стосковались по своим-то?
- Стосковались, всплакнули, так, плача, и били вас.
- И какое потом всему этому дали название?
- А такое и дали название — византийский армянин Васил второй убийца армян.

Войны нет, геноцид был пятьдесят лет назад, обстановка благоприятная, над сыном мирно парит ангел людской любви; после доброй ночи — добрый день — материнское присутствие неприметно, как тихий дух, витает в уголке дома, отдав сына до вечера друзьям и Араратской долине.

¹ Сагиян А. (подстрочный пер.).

² Сагиян А. (подстрочный пер.).

Уже перешёл разданский мост и проходил через абрикосовый кудрявый сад возле Вагаршапата, направляясь к горе Масис, — Хачатур Абовян. И кликала — голос её доносился из канакерских солнечных садов, мать звала — Хачер, Хачер! Одно плечо выше другого — уходил через абрикосовый сад Чаренц. Курд спускал с Арагаца овец, гнал в город, на базар, испарялась с персиков роса, размахивая лопатой остановил машину председателя колхоза ночной поливальщик садов. В Двине среди глиняных черепков после нервного сна — Асми-и-ик! — позвала подругу загорелая, в соломенной шляпе, крепкая и страстная умница — девушка, студентка археологического факультета Ереванского университета. Заглушив двигателя, пошёл на посадку суперлайнер, одним крылом косо срезал легенду про ковчег на вершине Арарата, развернулся — пролетел Двин, пролетел Арташат и, касаясь эчмиадзинских куполов, пошёл искать твёрдую кромку бетонной дорожки на этой сумасшедшей земле.

— Внимание, внимание, в аэропорту Западный города Еревана произвёл посадку самолёт СССР-68, следующий рейсом 1968, просьба ко всем до полной остановки двигателей к самолёту не подходить. Внимание, внимание, произвёл посадку... Просьба к встречающим не выходить на лётное поле. Граждане, вышедшие на лётное поле, подвергаются штрафу... Прошу вас, товарищи, не проходите к самолёту, среди прибывших могут оказаться иностранные гости, что подумают, неудобно... Эй, братец, куда это ты направился, если с тобой что случится, я отвечать должна, знаешь, нет?

Поливальщик пошёл навстречу председателю колхоза, они вместе направились к винограднику, и поливальщик показал на землю под старыми лозами:

— Вот. Нашёл. Вернее, не я нашёл, вода размыла.

В карасе всё ещё гудел тяжёлый гул от самолёта. Земля гудела, земля пела как храм — между старыми виноградными посадками расположилась вереница красных узкогорлых тонкостенных кувшинов-карасов. На их расписных узких горлышках подробно, как в научно-исследовательском институте, было изложено, что это карасы Аргишти (ну и имечко, ничего себе), сына Менуа, они «содержали виноградного ви... ви...» ви... виноградарства научно-исследовательский институт. Да ну, конечно же вино, что ещё в карасе может содержаться кроме вина: «Во славу...», и очень чётко, на чистом армянском написано, что этот сад станет музеем и музейной площадью, а председатель колхоза — директором в этом музее станет, а этот поливальщик — сторожем, сядет сторожить серебряное зеркало супруги Аргишти.

— Тьфу!.. — председатель колхоза сел возле карасов. — Послушай, я тебя деревья поливать послал или карасы находить, а?! Слушай, — сказал председатель колхоза в сердцах, — давай отправим тебя лет на десять в Мексику, как раз привезёшь оттуда новый сорт винограда, мир повидаешь, а главное — не станешь болтать направо-налево, нашёл, дескать, в саду музей...

Был же храм в Вагаршапате! Храм не сад — кто столько понимает, сечёт, — тот молоток. Расковыряли основание храма — обнаружили дохристианское капище. Пусть теперь под капищем пороют — спустятся к доязыческому христианству. Ещё дальше пусть спустятся — ещё одно капище обнаружат. А что им, у них и кирка и заступ есть и сами они — учёные. Но где мне после этого сажать мои виноградники — под алтарём да под капищем?

— Ночью виноградники поливал я, понятно? — сказал председатель колхоза, — а ты спал себе дома. Карасы эти тебе приснились, во сне ты их увидел, понял? Да и сон-то уже толком не помнишь. А теперь дай-ка мне свою лопату и ступай отсюда.

Ребята-школьники из села Армавир должны были работать на косилке, собирать урожай помидоров, строить канал... а они сидят среди черенков и выуживают из глины в день по бусине или же осколочек глиняной миски находят, а то и грубую серебряную монету, и получают за это два рубля пятьдесят копеек в день, а в школе по истории Армении полу-

чают кол. Они расселись среди глиняных развалин и с ленивой грустью стесняются поднять глаза, посмотреть на бронзовые ноги студентки, они влюбляются в неё все поголовно и до слёз. Для чего эти раскопки, почему женятся только после двадцати, почему при виде десятилетних девочек не грустно, а при виде взрослых девушек делается грустно до невозможности или же — почему когда преподаватель ест хлеб или, скажем, ребята — некрасиво, а когда девушка жуёт свой хлеб — красиво и печально? Такой же вот кочерыжка широкоплечий, такой же, штанины закатаны, с твёрдыми пятками, — один из них вскочил с земли и, отбивая дробь по сухой земле, помчался что было духу в Вагаршапат — к последнему правителю из рода Аршакуни Врамшапуху сказать ему, дескать, архимандрит... ..дрит несёт письма.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
Ճ Ի Լ Խ Ծ Կ Ն Ղ Ճ
Տ Ս Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
Ռ Ս Վ Տ Ը Յ Ի Փ Ք

— Ну-ка, ну-ка, — нетерпеливо сказал Врамшапух.
— Всё здесь. — Остальное? — Здесь полностью, — Полностью? — Так. — Э, ну так, выходит, не смог ты. — Смог. Вот они. — Это что такое? — Это А, Арарат.
— Да нет же, разве Арарат такой? А ну-ка напиши полностью Арарат.
— ԱՐԱՐԱՏ.
— Э, — обиделся Врамшапух, — божий человек, мы тут тебя год целый ждём, архимандрит-де буквы ищет, буквы творит, и что — это и есть твоя находка? А ну напиши абрикос.
— ԾԻՐԱՆ.
— Кто его знает, может, оно и есть. А это кто?
— Ճ это, не признаёшь?¹
— Похоже. — Врамшапух расхохотался над буквой «Ф»: — Это не «ф» ли?
— ԲԻ ՄԿՄԱՆ ՍՈՐՍՈՐԵԼ ԳՆԱԼ Ի ԲԱՆԱԿԷՆ ՀԱՅՈՑ, ԹՈՂԻՆ ԶԻԻՐԵԱՆՑ ԱՐՔԱՅՆ ԱՐՇԱԿ...
— Что ты написал?
— «Князя покинули своего царя Аршака и отвратили лица от нашего армянского народа».
— Полный, говоришь, алфавит, ничего не пропущено? — спросил Врамшапух.
— Не пропущено.
— А ну-ка напиши своё имя.
— ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՄԱՇՏՈՑ.
— Хороший алфавит, — опечалился Врамшапух, — красивый, сам по себе. Никому ничего не приказывает. Не требует, не обязывает других. Существует независимо, собранно, свои глубокие умозаключения в себе умерщвляет. Это армянский алфавит, и только армянский. О нас и для нас. Правильные буквы.

Та же ватага мальчишек, по пояс голые, брючины закатаны выше колен, молча бредёт по воде против течения к истоку, по берегу их сопровождает ватага их младших братишек, мальчишки, побарахтавшись в воде, бросают на берег рыбу. Черноспинные рыбёшки нанизываются на ивовый прут. Ватага остановилась и смотрит — младшие тоже остановились и хлопают глазами, — пересекая дорогу, по которой пришёл с алфавитом архимандрит Маштоц, в муках переставляя босые, в кандалах ноги, среди божьего этого света — с глазами, ослеплёнными горячей головешкой, согнувшись под тяжестью наручников, впереди всад-

¹ Ճ — звук «тч».

ника, сатрапа Атрпатаканского Вараз-Шапуха к Нерсеху Сасану, за его милостью и гневом шёл Армянский владыка — Армянский владыка — царь Тиран, поскольку «в те времена у царя Тирана была тёмно-гнедая в яблоках лошадь», которую захотел возыметь сатрап Персидского Атрпатакана Вараз-Шапух, но Армянский наш Тиран нашёл другую лошадку той же масти, с такими же яблоками и с почестями преподнес её Вараз-Шапуху, вот, дескать, твоё желание. Да, именно эта лошадка глянулась ему, и Вараз-Шапух возрадовался, и был премного благодарен, и устроил в честь Тирана охоту, и закатил большой пир, и на охоте той восхитился полётом его стрелы, и оковал его руки-ноги железом, и выжег ему глаза горячей головешкой, и после этого погнал его к красным чувячкам Нерсеха Сасана. Первый властитель земель от Бактрии до Палестины и от Йемена до Колхиды погнал Тирана обратно в Вагаршапат: ступай подумай о мирозданье — в назидание араратскому правителю Аршаку и всем грядущим армянским правителям, во славу и мощь своих детей и внуков, коим должна была достаться по наследству трудная участь властителя.

«Свидетельства о его пленении и ослеплении носят большей частью литературный характер и не могут считаться историческим фактом», — но рассказы эти не свидетельствуют ведь о том, что, дескать, у перса Нерсеха была лошадка в яблоках — все на неё заглядывались, и лошадь эту, дескать, захотел возыметь армянский правитель Тиран, Нерсех же Сасан лошадь отдать не захотел, но и отказать побоялся, он нашёл другую такую же лошадь... а Тиран, армянский царь, усмехнулся и отнял у скупого Сасана и лошадь, и свет в очах, и царскую корону, и страну...

Потом голоса детей и женщин затихли во тьме, наверное, они перебрались в Апаран — переждать там жару; запах пшата забивал нос, но, наверное, пребывали ещё на свете и плавали в небесах льды Большого Масиса¹, — и слепой Тиран прислушался к тишине Араратской долины. Потерявшие голову от несчастий и бед, от нескончаемых бедствий, эти армяне замыслили измену против Аршака, выхода из положения стали искать тайком от него, а может, это вдали разговаривают о своём люди, далёкие от престола и государственных дел? Короткий вскрик послышался — незащищённую голую спину пронзил клинок — и в засаде затаила дыхание тишина. Нет, это были мальчишки — выбросили на берег сома-усача.

Что нужно было, чтобы не случилось того, что случилось? С Нахичевана дует знойный ветер, подует — сожжёт поле и луг, а после чёрной тучей налетит саранча. А если прав Нерсех Сасан, поскольку имеется большая угроза закаспийская и против этого необходимо единство нашего общего внутрикаспийского дома? А если единство кончится с потерей нашего слова, права, красного чувячка и гнедой в яблоках лошадки, сохранив нам только жизнь? Моего коня оседлает Вараз-Шапух, потому что я нехорош и недостоин хорошего коня... Чтобы... чтобы не произошло того, что произошло, вот что надо было — надо было, чтобы волк сожрал гнедую эту в яблоках лошадку. Если закаспийский ужас придёт и нависнет над нашим... над нашим — чем? Над нашим правом быть царём — если мы сейчас цари — в чём это выражается? Пусть придут и, сметая всё на пути, дойдут до Византии и Афин, до Рима, если мы не будем собой — пусть это небытие придёт как яд в золотом кубке или пусть привяжут нас к конскому хвосту, нам всё равно.

— Арша-ак...

Хорошо тем, кто что-то совершил и умер; хорошо тем, кто умер, ничего не совершив; хорошо тем, кто мёртв уже живые. Если случится так, что у Аршака будет гнедая в яблоках лошадка и на неё позарится Атрпатаканский сатрап — пусть Аршак подарит ему лошадку — что такое лошадь? Отдай, пропади она пропадом! В конце концов, у Аршака собственная голова на плечах, пусть сам принимает решение. Пример — пастухи разжигают костры про-

¹ Масис — простонародное название горы Арарат.

тив волков и отправляют своих сыновей пастушить. Да, ты только успевай в этой трудной жизни, гляди-считай — кто где устроил засаду, кто где оттачивает клыки, набирайся опыта в трудном деле быть армянским правителем и, отшлифовав его, как алмаз, протяни на ладони сыну: возьми, Аршак. Живи теперь слепым-преслепым тыщу лет и на ощупь узнавай эту убегающую из-под ног, уподобившуюся пустыне страну — можешь?

«И начали уходить один за другим военачальники с войсками от царя армянского, и предали они своего Аршака. Сначала князь Ахцнийский, и князь Ноширийский, и после князь Нихорийский, и Махкертский, и Даснтрийский. И княжество большое Ахцнийское первым восстало против царя своего Аршака, и покинул князь Ахцнийский сторону свою армянскую и пошёл к персидскому владыке Шапуху. И восстали против царя Аршака сильные княжества — Арцахское, и Тморское, и Кордское, и князь Корда пошёл на поклон к царю персидскому...»

То есть у царя армянского Аршака не достало ярости собрать в кулаке все армянские княжества, у человеколюбивого царя Аршака этот самый кулак задрожал, когда надо было снести кое-какие лишние головы, чтобы утвердиться и провести свою волю. И тогда стадо князей посчитало своим луг, на котором оно паслось, посчитало своей собственностью и армию пахарей и косарей, и мощь крови в жилах, и существование зародыша в семени — словом, князья решили, что принадлежат себе, а не Аршаку, и отнесли Шапуху клад, который принадлежал вовсе не Аршаку и не им самим, а будущим поколениям — нам то есть. И армянский царь Аршак остался на поле брани — один под градом стрел.

«И все люди земли армянской восстали против царя армянского, и уговорили, и заставили его идти к царю персидскому Шапуху...»

Словом, армяне своему царю Аршаку сказали, потребовали, обнадёжили, обманули, поторопили, снарядили к Шапуху, дескать, «побеседовать зовёт, пойдди послушай».

«И приказал Шапух принести цепи и заковать Аршака в те цепи — шею и руки и ноги его — и повели его так в Андмишн — чтоб жил он там до своего смертного часа. И приказал затем царь персидский зарезать полководца армянского Васака, содрать с него кожу, и набить соломой, и чучело его отправить в ту же крепость Андмишн... Ну да, царь персов Шапух приказал заковать царя Аршака в цепи — одной цепью связать шею и ноги и руки, после чего бросили Аршака в крепость без окон Андмишн, которую называют ещё Анхуш — Беспамятная, такая она безмолвная и тихая. После чего Шапух дал знак, и был убит армянский полководец Васак из рода дерзких Мамиконянов, а чучело его набили соломой и бросили к Аршаку.

Так кончился Аршак, который был поэтом в душе и — в плотном окружении греков и персов — именовал себя царём армянским, а его отец Тиран остался в Араратской светлой долине, взывая сквозь мрак свой:

— Аршак... где же ты, молчишь почему?

Потом армянские князья сказали персу Враму: да не нужен нам он, не хотим мы никакого такого царя, но если без этого никак нельзя — вон ты царь и есть, если что спросить надо будет, придём к тебе, в городе заодно побываем, девушек-женщин там увидим, а то сидишь век в этих горах под самыми небесами. Армянским князьям надоел свой царь, и с божьей помощью «армянский царь Арташес погряз в безмерном блуде» до такой степени, что все князья переполнились к нему отвращения. И пришли они к патриарху своему Сааку Великому, и выразили недовольство, и призвали его помочь им опорочить Арташеса в глазах персидского царя, и тогда Арташеса их скинут и поставят управлять страной — перса. А патриарх Саак Великий им ответил:

— Ну как же это можно, как можно променять эту мою больную овцу на здорового зверя, чьё здоровье уже великая напасть для нас?

А князья сказали:

— Ты не патриарх нам, значит. — И сказали персидскому царю: — Да разве это обязательно, чтоб царь наш был армянин. Нам перс нужен, царь-перс, чтоб бояться... этот наш Арташ пьянствует, коней загоняет, щиплет наших жён — разве цари такие бывают?

— Добро, — сказал персидский царь. — Наш сын Шапух будет вам царём. Добро. — Так решил армянские дела персидский царь Врам и занялся делами Бактрии.

И потом, когда он занялся делами Бактрии, «отважный и везучий Нерсес Чичраканский собрал армянских князей, и пошли они каждый со своим войском войной на персидскую армию. Их разбили. Разбредясь кто куда, они бесцельно кружили в горах, спасая головушку». Случилось это, значит, в году таком-то. Затем они перерезали и освежевали всех бычков и тёлочек, всех овец и коз и вообще всю живность страны, и, продубив шкуры в горячей золе, подержав на солнце, изготовили горы пергамента, и из козьей шерсти свили верёвку, и, воткнув колышек на самом краю пропасти, спустились на верёвке в неприступную сверху и снизу пещеру — изучать там грамматику греческого языка, его ораторские преимущества по сравнению с гортаннозвучными варварскими языками, а также выяснить, понять, до какой степени ошибочны утверждения евреев относительно человеческого происхождения бога, а заодно и прийти к выводу, что луна сама не светит — светит только солнце, и что расстояние от луны до земли — тысячи, помноженные на множество тысяч локтей, и что реки и моря, как свидетельствуют древние греки...

Благоуханный светлый мир играл на пергаменте, на крошечном, с букву О, пространстве, вон невестка идёт по тропинке, несет хлеб с укропом, реки и моря связаны с луной приливами и отливами, и поскольку в нашей Армении нет морей и рек — с луной там непосредственно связаны реки и моря Африки и Рима, а также Понтийское море, что от нас не так уж далеко, но нам оно ни к чему, поскольку мы о переменчивых земных делах и слышать не хотим.

Этот Христос, этот ставший воспоминанием Тиран нашёл на ясном доньшке души свою долю земных грехов и, ступая босыми ногами, на ощупь искал в душном мраке дорогу к Хорвирапской бездонной яме, и тут об его опалённое солнцем чело ударился конский топот — значит, есть ещё живые на свете, коня вон гонят.

— Ты не Тиран ли? — спросили его.

— Тиран, — ответил.

— Ага, — сказали они.

— А что?

— Да нет, ничего, хороший, говорим, дом нам оставил.

— А вы сами кто будете? — спросил он их.

— Внуки твои.

— Где же вы, что не слышно голосов ваших?

— В аду мы. В Киликии, вот где.

— Ну сколько мог, дитятки, столько и сделал.

— А сколько смог-то?

— Действуйте теперь вы, я хочу, чтобы вы действовали.

— Вернуться и то негде, как действовать-то?

Киликийские деятельные разумники, пустившиеся в путь на поиски Страны жёлтого дьявола, в пустыню, в Каракорум, пошли дарить Хану Великому Моголу лошадку гнедых мастей всю в яблоках, чтобы Великий Могол посмеялся над их круглыми глазами и выжженными солнцем бородами — они ему в ответ попляшут и расскажут, как пляшут обезьяны Чёрной Африки, после чего Великий Могол милостиво не возьмёт и подарит им их Киликию и право спать со своими жёнами, подарит им зерно их полей и отпущенное им для жизни время.

Потом они наполнили тёмную без единого огонька степную ночь усталыми голосами возвращения — они спустились в поле, перевалив Аштаракские горы, пожиная радость близких, постигая горечь награды и освободительный смысл смерти. Во тьме они указали друг другу на село Ошакан, но поленились повернуть коней к могиле Маштоца. А теперь надо было направляться на юг, в Египет, чтобы преподнести Большому Мамлюку гнедую лошадку в яблоках и потешить его рассказами о том, что на севере есть белые медведи, а как они пляшут... но стоит ли идти? Как же вздорожала цена жизни, что надо выпрашивать жизнь как подавание, как кусок хлеба.

Благоуханный и светлый мир тускнел на пергаменте величиною с букву *Ū* — та невестка так и не пришла, погасло и воспоминание о хлебе — исследуя мир, он добрался до оратора Цицерона и теперь изучал слабые места в его речах, а там, у подножья Арарата, в Нахичеване горел овин, а в овине — армянские князья, рядом с овинком на корточках сидел араб-ротный и удивлялся, отчего это человечье мясо горит как солома. Может, потому что человек травоядное? — хотел найти объяснение араб-ротный. Селянин оторвался от этого богом проклятого края и, подхватив шпатовые косточки на семена, старые рукописи, дедов-бабок своих, собак и коз, взгромоздился на телегу, направился в страну Полонию. Под старым солнцем Араратской долины раздувался-зрел арбуз, медленной поступью намаза следовал по дороге отряд турецких конников и географ Хафиз Эвлин Челеби разглядывал и описывал свою страну — дабы знали внуки:

«По свидетельству некоторых историков город Эрзен-Рум (некоторые ошибочно именуют его Арцн) основал Невширван-Адил, на самом же деле город Эрзен-Рум воздвиг Эрзен Бай бин-Сохтар-бин Кюндюз Бай — из падишахов Акча-коюнлы. Его деды пришли сюда из страны Мааны и построили на берегу Ванского моря крепость Ахлат. Вся округность Ванского моря 11 конаков. Длина его от востока до запада 68 миль. В море есть два больших острова, один из которых называется Ахдым-вар, здесь стоят крепость каменной кладки и старая церковь. Глубина моря в центральной части достигает 70 куладжов. Но вернёмся к городу Эрзен-Руму, который, как я уже сказал, построил Эрзен Бай бин-Сохтар-бин Кюндюз Бай. Благодаря воздуху и воде юноши этого города в возрасте от десяти до двадцати лет нежные и хорошего сложения и вызывают восхищение, но после двадцати лет лица их покрываются густой, обильной растительностью. Центральная часть монастыря Ахри-дузи Учкилисэ (Эчмиадзин) построена Невширваном-Адиллом. Мы вышли из Еревана — в караване было 700 человек — и через 5 часов добрались до села Абдаллар — это село персов на 100 дворов. Отсюда мы 4 часа шли на север и дошли до села Абаран. Потом наш караван соединился с войском Большого Сердара и мы двинулись на Мегрелистан. Во время этого победного похода корова продавалась за полкуруша, а овца за пять окче. Бей Ачык-Баши подарил Сердару пять рабов и пять наложниц и мне, презренному, раба и наложницу преподнёс. Добычу мы отвезли в Трапезунд и там с выгодой продали».

В прибрежной пещере Касаха он вспомнил, как народ Моисея, убегая от фараона, вкусил манну небесную, и тем воспоминанием насытился и написал, что немощны те умы, что полагают, будто мир из гор построен: из гор одна только Армения сделана, а населяемая нами большая Земля — одна большая равнина под солнцем, и эта равнина кончается большим морем, и море бесконечно, и определение древних греков не подлежит обсуждению. И на равнине под солнцем пасутся красные стада, военачальники передвигают войска, летят перелётные стаи... Но как это получается, что солнце за одну ночь проходит бесконечность моря и снова поднимается над землёй в том же самом месте? Море, значит, большое, но не бесконечное, иначе солнце зашло бы и больше никогда не вернулось, и ночь должна была длиться вечно, и от холодного ночного дыхания должны были погибнуть

рыбы в реках, птицы в небе, плоды на деревьях, и усохла кровь в пальцах у людей. У моря границы в одну ночь, и море — граница нашей равнины с востока. Как озеро, как река, как вода в миске — точно так же и море — не бездонная пропасть. Если бы мы опорожнили море нашим немощным разумом и нашими слабыми ладонями — под морем осталось бы продолжение нашей равнины — значит, наша равнина идёт к западу, она приходит с востока и, дойдя до нас, соединяется с равниной под нашими ногами — наша равнина круглая, как свидетельствуют греки древ... Как свидетельствую я. Земля бесконечна, как яблоко. И солнце кружится вокруг нашего круглого земного шара. Но что мы для солнца, есть мы или нет, ему всё равно, а для нас солнце необходимость, важно, чтобы оно всегда было для нас чередованием дня-ночи, чтобы нам не перегреться, не сгореть в длинных днях и не переохладиться, не замёрзнуть в бесконечных ночах. Солнце могуче. Мы это мы — благодаря солнцу, и, значит, это мы должны были бы кружиться вокруг него. Но в этом случае на одной половине земного шара был бы вечный день, а на другой половина вечная ночь. И чтобы на земле сменялись поочерёдно день и ночь, чтоб чередовались, земной наш шар не кружится вокруг своего могущественного солнца, Солнце само кружится вокруг Земли, поскольку смысл Вселенной — добро, и добро распорядилось таким образом.

В пещере своей, в глубокой тишине, он упирался босыми ногами в сырую землю и чувствовал беспрепятственный ход Земли, и ещё чувствовал, что это движение имеет лёгкое колебание. Он хотел прислушаться к молчаливой согласности солнца, земли, луны и созвездий и слышал липкое густое течение собственной крови — от указательного пальца к виску — и отсутствие крови ниже колен. Под своей прозрачной кожей он проследил за движением крови, и он вошёл в собственное сердце и постиг — сердце не подлежит исследованию, потому что побудителем его работы является добро.

Разбор грамматики греческого языка Прокопиуса Амасеци он завершил в ԹՄԴԵ году¹, присовокупив ишатакаран — памятную запись, дескать, отныне он больной вдовец, рука уже нетверда, ослабло зрение, дескать, частенько он бывал сыт не хлебом, а воспоминанием о нём и, вместо того чтобы жечь масло в лампадке, — сжигал глаза свои во мраке. И ему захотелось со стоном разогнуть спину. Ох, матушка, ох, — но спина не разгибалась. Держа земной шар в руках, он вышел из пещеры, и бормотанье речки влилось в пустоту ушей, и уши оглохли, араратский свет пристал к больным глазам, и землю обволокла белая слепота. На мерцающем свете сидел на холме чабан и остриём ножа писал на замшелом камне — «Али-Вали». Отряд конников приближался. Когда это было? — отважный и удачливый Нерсес Чичраканцы собрал армянских князей — и они, со своим войском каждый, пошли войной на персидского царя, их всех тогда перебили...

— Сахласын, — сказал отряд всадников.

Это не был персидский язык. И не коптский был язык. Не греческий был. Не грузинский, не албанцев речь. Грамматик растерялся и оглянулся — не было селения, тропы не было, по всему горизонту, обгладывая землю, двигалась отара. Сквозь туман долины грамматик искал глазами, захотел разглядеть вершины Арарата и вершины Арагаца, следуя за его взглядом, искал горы и отряд всадников — двуглавой вершины Ахри-дага² не видеть было, и Алангёз³ застилал туман, жара стояла, сейчас бы сюда холодный арбуз...

— Сан языджысан? — спросил отряд, по всей вероятности спросил, это не был коптский язык и не греческий был. — Афферим! — наверное, похвалили они, хотя это был не парфянский и не ассирийский языки. Понтиец Митридат знал двадцать языков, грамматиком не был, но знал двадцать языков. — Бу боюк Искандарин тарыы дыр ехса Шах-Исмаилинын.

¹ «...завершил в ԹՄԴԵ году...» — согласно армянской цифири, в 1685 году.

² Турецкое название Арарата.

³ Турецкое название Арагаца.

— Человек, — сказали они, — по-турецки не понимаешь?
— По-турецки? — переспросил он.
— Турецкий, — кивнули они. — Турки.
— Турки? — Грамматик покачал головой.
— А что это у тебя в руках?
— Земля, — сказал грамматик. — Земля круглая.
— Какая земля? — спросили они. — Наша земля не круглая.
— Вообще, — сказал грамматик.
— Вообще? — протянули они. — Вообще-то, конечно, круглая — коня если вместе с солнцем гнать на запад — попадём обратно в пустыню на востоке. Дальше?

— Кровь в нас не стоит, движется.
— В тебе крови нет, о чьей крови толкуешь?
— Вообще.
— А почему она движется?
— Сердце движет.
— Откуда про всё это узнал? — спросили.

Ответил:

— Изучил. Наблюдал.
— Ты человека зарезал? — засмеялся отряд.
— Озарением разума изучил.
— Афферим, афферим, — похвалили они. — И долго изучал?
— Тысячу пятьсот лет.

Отряд сказал:

— Если мы разим сердце человека стрелой, копьём, кинжалом, пулей — человек тут же умирает. Если перережем шею, но не до конца, человек всё равно умрёт, потому что сердце через поражённое место выталкивает всю кровь. Сотник Арп-Арслан на тысяче людей испытал это и увидел, что в человеке пять литров крови. Арп-Арслан посчитал это за один час, а ты сидел и думал тысячу пятьсот лет. Молодец. Арп-Арслан тоже не очень-то хорошо поступил. Сахол, чох, сахол, — сказали. — Наверное, ещё что-то есть, изучай. Молодец.

Измученный грамматик погрузился в блаженство. Под его прозрачной кожей было видно сердце, было видно угасающее, умирающее лёгкое, грамматик изнутри был освещён мирным светом мудрости. От блаженства он растворился — растворился и исчез в белой долине Ноя — оставив нам не кусок земли, изборождённый долинами и горами, реками и озёрами, а всю округлость земли — в книге.

Отряд стегнул коней и пошёл резать, бить, очищать от инородцев, украшать, укреплять свою землю и край этот сделать родиной своих детей и внуков.

Азнив Окиоберидзе (в девичестве Хачтовмасын) ищет отца Амазаспа, мать Арусяк. Родившихся в Западной Армении в городе Битлисе в 1895 — 1914 годах своих братьев — Андраника, Проша, Анушавана, Манука, Арутюна, Амбарцума, Гарнука (Азнив Окиоберидзе не помнит настоящего имени Гарнука, ему было полтора года, дома его звали Гарнук), сестёр Мариам, Арпеник, Шушан Хачтовмасынов, дядьёв Аршака, Саргиса, их детей — Ашота, Арташеса, Акопа, Галуста, Шушан, Гургена, Сурена, Ахавни, Воски, Тухманука Хачтовмасынов, родившихся в том же городе Битлисе. Без вести пропали в 1915 году, Азнив все эти пятьдесят лет ищет их — но от них пока ни звука. Есть сведения, что турки иттиата не были такими уж варварами и родные Азнив уцелели и живут в каком-нибудь уголке на этой большой земле — в Аргентине, Австралии или, может, России. Дом Азнив стоял за церковью, между домом и церковью был их сад, в саду колодец был.

— Говорит Ереван. Передаём сообщение ТАСС. В результате первого успешного советского космического полёта советской космической ракеты на планету Венера спущен вымпел с гербом СССР. Буржуазная печать выражает опасение — не хочет ли, дескать, Советский Союз сказать тем самым, что планета Венера принадлежит исключительно Союзу Советских Социалистических Республик. ТАСС уполномочен заявить, что усилия советских учёных и всего советского народа, направленные на изучение космоса, лишены всяких захватнических целей. Вселенная принадлежит всем народам — независимо от степени технического прогресса. Советский Союз никоим образом не утверждает, что планета Венера принадлежит исключительно Союзу Советских Социалистических Республик.

...Планета Венера.

Планета Венера, каджаранский молибден в броне космического корабля. Золото Рослина, Мартирос Сарьян. Цветы Сарьяна, всемирное движение тондракийцев. Эпос о сасунских чокнутых храбрецах. Когда Давид третий раз взмахнул мечом, дядька Торос вышел вперёд: «Погоди, Давид, ежели ты Мелика пополам не разрубишь, я тебе больше не дядя». Давид опустил меч и отошёл в сторону — дядька Торос подошёл посмотреть, ровно ли пополам получилось. Не ровно было, одна половина была больше другой на пуд. Дядька сказал: «Я не дядя тебе, знай», но потом народ пригляделся, увидел, что Мелик не о двух яйцах был, а об одном. Там рабский Гехард, там золотые хачкары. Чаренц, тяжёлые скобы письмен, летописи, песни, торговля, удачливость в чужих дворцах, наша поэзия, наш Комитас, наш Шекспир, наш Коджоян — чёрт возьми, пятидесятилетней давности мертвец Талаат — что он такое, чтобы оттуда отравлять мою жизнь. Чёрт дери, этот народ так волочит-тащит через века свою культуру, как борется муравей с налитым колосом, как трещит арба под тяжестью хачкара. Ах, чёрт возьми, тебе есть где стоять, сорви в этих тысячелетних глинозёмных виноградниках янтарно-рыжую гроздь винограда, поддержи на свету рюмку коньяка, встань в долине, где, расстеленный, сушится хлеб-лаваш рядом с Ноевой горой, и скажи — я это я.

Но... добро... Но всё-таки добро. На этом свете умножается или же сходит на нет? Человечество впервые за всё время своего существования ест досыта. Этот знойный край под солнцем наполнился здоровыми девушками — их голые обнажённые руки с отметинами оспы — цивилизация поставила печать своей победы... Во всех домах хозяйки слой за слоем воздвигают для своих мужей, столяров и водителей, затейливый торт, который некогда пришёлся по вкусу утончённому нёбу императора Наполеона. Самолёты, фрукты, кинофильмы, живопись, таланты, коньяки, движущаяся вперёд, топча прогнозы, действительность, золото ярлыков — господа, почему же до вчерашнего дня человеческая жизнь простекала так ползуче, продираясь сквозь чуму и голод. Ватикан пожелал космонавтам благополучного возвращения. Добро умножается, зла становится меньше, почему мы не дожили до этих дней?

Рассеялась всемирная большая сумятица, океаны привычно бились об собственные берега, Германия, зажмурившись, переваривала своё поражение, существование русского социализма спокойно просачивалось в сознание мира, выкрашенные мазутом пограничные столбы новых границ тускнели и источали мечту об изначальной незыблемости, инвалиды, согреваемые солнцем и воспоминаниями, беседовали о том, как здорово упала бомба, как она унесла их ногу и как они... — старшая дочь Мустафы Кемалья играла в глубине зала Шопена, ворсистые занавеси сохраняли прохладу в просторных комнатах, два глотка кофе гасли на маленьком столике, дочка Кемалья получила образование в Европе, Кемаль выбрался из молчаливых мыслей, сказал уважаемому послу Большого Соседа: «Да... мы с армянами обошлись бесчеловечно». В глубине зала играли Шопена, Аралов в кресле молчал, Земля и Сфинкс ещё ненамного состарились за это время, Кемаль сказал, и видно было, что он додумывает ту же мысль: «Да... но у нас не было другого выхода». Рана принадлежала

другим, судя по всему глубокая была рана, но случившееся уже случилось. Да... — сказал Аралов.

Почему геноцид этого народа должен был случиться в 1915-м, — не нашли, что ли, другого времени для того, чтобы резать, жечь, бросать пепел в море, на месте пожарищ разводить огород — не нашли другого времени? — скажем, 1315 год или 815-й, просто 15-й, наконец? Протягиваю руку и достаю рукой до этих двух миллионов паломников, всходящих на гору Спасения. Пройти через все затаившиеся в мире засады, через рассеянный по белу свету тиф, пройти, дойти, достигнуть и быть растерзанным на пороге своего дома! Мастер не имеет права разрушить построенный им мост, отец не имеет права умерщвлять своего сына, человек не имеет права убивать себя самого, поскольку себя не он создал, — как же вы смогли на нашем челе новую метину сделать?

— В Сардарапатскую битву наша артиллерия вот тут стояла, чуть-чуть сюда от тростника. Полководец стоял вот здесь — где я сейчас стою, на этом самом месте. Сам я был артиллеристом, но себя почему-то не помню. Полководец стоял тут, мы им жару дали, да такого, что даже турецкий паша нас хвалил потом.

Наша артиллерия стояла под этим Мецаморским холмом, и не помогали ей никакие рукописи и хиксосы и изучавшие землю учёные — с воем просила только Араратскую республику. Право смеяться над двумя миллионами мертвецов — вам, право жалеть или же совсем нисколечко не жалеть два миллиона поэтов и кузнецов — вам, право издеваться над тоской трёх миллионов скитальцев — тоже вам, нам, этим несколькими людям, позвольте забиться в угол в своём старом большом доме, даём слово не плакать, обещаем не напоминать... Целый день наша артиллерия громила, стирала в порошок наш Сардарпат, потом ребята впряглись и как волы, плача в голос, потянули пушки пядь за пядью вверх по Арагацу к Апарану, потому что противник не хотел честного боя, честной победы или честного поражения, поскольку не противником был, а гиеной и гиена эта не хотела наших виноградников и винограда — она нашей падали жаждала. Потом противник хвалил нас, мол, эти армяне ничего как будто бы мужчины, дерутся — и сейчас какая-то шкура, что-то мягкое обвивается вокруг моей шеи и я чувствую вкус собачьей шерсти.

Кар, кар, каркуша, журавли вон полетели. Под крылом у журавлей пришла весна к нам во двор, дважды два четыре, дважды три шесть, Ованес Туманян — любимый поэт нашей детворы, рубашка чистая, ногти подстрижены, в ранце четыре учебника, закрытое затычкой отверстие чернильницы под большим пальцем, покачивая большой головой на тоненькой шее, ребёнок идёт в школу, майское утро звенит во всём его чистом существе, и собака с крыльца прыгнула ему в лицо. Её слюна коснулась глаз ребёнка, ребёнок на минуту утонул в грязной собачьей шерсти и заглотнул и сжевал клочок шерсти, потом его хрупкие руки оттолкнули собачью морду, его ноги отшвырнули ускользящую тяжесть собаки. Что-то твёрдое нашёл — стукнул об собачий череп, теперь собака стояла совсем близко, захлёбываясь в лае, похожая на слизь её слюна летела ребёнку в глаза. Он не боялся этой собаки, его передёргивало от отвращения, и, видя устремлённую в его лицо эту пустоту взгляда, он терял сознание от злости. Тьфу, передёргивало его, и он плакал, оттого что этот ничтожный, эта скотина, эта навозная лепёшка считает себя равным человеку противником. А вообще-то это такая мерзость, когда рот забит собачьей шерстью.

Знаешь что? Это жизнь, и не жди бесшторного моря, и если тонешь, если идёшь ко дну — виноват ты, а не шторм, поскольку шторм — это море. Где твой якорь? Якорь где?

Племя хромых, горбатых, красивых, лысых, смешных, мрачных, ложно-непоколебимых, ложно-торжественных, довольных, всегда недовольных, радостных — до бездумности радостных твоих поэтов, эта большая семья шутов по всему свету сеет сейчас солнце,

под солнцем сеет дух укропа, сажает абрикосовое дерево, луну освящает, с помощью талисмана стачивает клыки у человека, осмыслив смерть, стелет молчаливые кладбища под этим солнцем, осмыслив рождение — разбивает кубок радости, швыряет в небо голубей и ракеты, а неопределённое желание сотворить вечность обращает тоской по родине, славит, когда есть хлеб, и славит, когда его нет, из мужчин-разбойников делает отцов-ослов и солнечную свою сторону наполняет кручёными тропинками и добрыми ослами, и вот это племя поэтов превратило зыбкую равнину в холм, и нет иного союза, и да будет свято твоё семейство поэтов, перед чьим усталым предводителем перекрыли путь — здесь, под этим холмом, перед самым домом люди военной профессии преградили ему путь и потребовали: «Пропуск! Поэт там или кто, ничего не знаю, пропуск!» Он был патриархом, но был патриархом поэтов, твоим патриархом — он был только твой. Твоё племя поэтов по-шутовски подмигивает из-под виселиц, по ошибке село в тюрьму и с усмешкой ждёт, что сейчас попросят прощения за недоразумение, револьвер держать не умеет и идёт на поединок, над ухом кричит Гитлер муравьиным голосом — он, дескать, не согласен с его мнением и имеет абсолютно другую точку зрения, он восстанавливает разрушенные мосты и не замечает, что следом, всё по пути круша, идут те же разрушители, из-за виселицы с растерянной улыбкой смотрит на тебя — ждёт, что сейчас поймут свою ошибку, и ошибку эту по-человечески можно понять, ничего. Генералы армий-победителей не вздёргивают на виселицу генералов армий-пораженцев, они усаживают их с собой за стол откусывать хлеба, и потому что армейского дневного пайка маловато для застолья, генералы армий-победителей шельмуют поэтов из своей армии. Водители дальних рейсов приветствуют друг друга радостным гудком и сдержанным взмахом левой руки — радость по поводу того, что видит собрата целым-невредимым. Это ещё и свидетельство любви к их общей профессии. Вражеские бомбардировщики встречными вихрями несутся с лица земли вражеские города и, надо же — не сталкиваются друг с другом в одном небе. Вот так.

Возле Арарата сыплется дождь вперемежку с солнцем и радуга уже связала свою зелёно-красную арку — это значит, что за дождём — солнцем есть село, дети там гурьбой навалились — мучают осла, они обобрали целое дерево вишни и направились к речке, в сто ртов, на сто ладов шепчут — сообщают друг другу, что в овраге какая-то женщина была ниже белье, и всем селом вскрикивают — дескать, это Ахмад снял в овраге одежду с Гюли — а возле кизячной горки прирос к земле мальчик с тонкой шеей, смотрит большими глазами на радугу и чуть не плачет, потому что радуга рождается незаметно и умирает беззвучно. А на его челе, освещённом радугой, нестираемыми письменами начертано — что дорогу ему перекроют — виселица, безумие и самоубийство, поскольку его болезнь — принадлежность к племени поэтов — родовая.

Как генералы не убивают генералов, как приветствуют друг друга водители дальних рейсов, вот точно так же шепни из-под умирающей радуги этому ребёнку из твоего рода, скажи ему: да будет свят трепет твоего сердца и да примет господь твою жертвенную шею агнца. И знай, что самое могущественное из всех — твоё божество, потому что слово исповеди звучит только в храмах твоего божества.

«...Со всей любовью вновь посетил бы Советский Союз, но занят; страшно загружен делами. Наши романисты — суцкая находка для французских издателей. Как только кончу свою последнюю вещь, — прощаясь, сказал прогрессивный турецкий писатель, — приступлю к давно задуманному — книге о национально-освободительной войне, которую вёл мой народ в двадцатые годы...»

Досыта выславшись, он сядет за письменный стол. Сладко-горькая мощь юношей турецкой пустыни вольётся в его лёгкие, и с криком восторга он восславит того вшивого чабана, который одной пастушьей дубинкой раскрошил доспехи армяно-греческого рыцаря и, подталкивая той же дубинкой, погнал его вместе с отарой с родины, предназначенной

богом его поколению.

Он восславит победу своего предка над арабами и войну своего народа с курдами. И войну против армян.

И восславит греков за их поражение, и отдельно восславит поражение арабов, и особо — поражение армян.

С трепещущим сердцем он воспоёт ту бронзу, что и раскрошилась под мечом. Он воспоёт пустынное могущество очищенных от армян территорий и пожелает мужской мощи каждому турку — для того чтобы заполнить эту пустыню турчатами. И только потом... и только потом он подскажет дипломатам своей страны повести разговор о причинённом армянам ущербе и смиренно взять на себя компенсацию этого ущерба — две или, может, три тысячи золотых, пускай возьмут и заткнутся. Но только... Кому Турция возмещает ущерб? — Дашнакам, рамкаварам, гнчакянам¹, общему благотворительному союзу, католикосату Эчмиадзинскому, Антилиасскому католикосату, большевикам или же ООН? Пусть армяне сами промеж себя решат этот вопрос. Турция готова смиренно возместить ущерб, который даже не она причинила, — скорее печальные обстоятельства, усугублению коих, между прочим, способствовали сами армяне, их поведение.

И в это время в его благополучной сущности миллионерского сына и сына сильной державы глухо застонет нерв поэта — под слоями разумного сознания — и он отложит перо, заглянет в себя и грустно скажет себе — но ведь когда мы их резали, они смотрели нам в глаза и не верили, что мы их убиваем.

И в это время, Нефзад Устюн, в это время над головой твоей занесут руку с камнем и с серьёзной улыбкой потребуют: «Нефзад Устюн, насилуй, а не то мы сами тебя... если только ты не ангел». Дай бог тебе силы в эти минуты, и да сохранит он в тебе поэта, чтобы, как тронувшийся умом мудрец, не желающий вымалывать жизнь на коленях, повторить: «Когда мы их резали, они смотрели нам в глаза и не верили, что мы их убиваем».

...Надев кеды на шипах, турецкая девушка поднялась с американскими спортсменами на вершину Арарата и протанцевала на льдах танец живота. Что турчанка-красавица плясала на вершине Арарата с американскими спортсменами — от этого только моё сердце сжимается — а Гора стоит себе, погружённая в себя, невозмутимая и молчаливая. Мецаморский курган стоит сейчас под палящим солнцем, в духоте. Аист выловил из последнего болота лягушку и полетел к гнезду. Ватага невысоких, крепко сбитых смуглых мальчишек поднимается вверх по течению, руками вылавливая в воде рыбу. Младшенькие идут по берегу, выбирают из травы выброшенную на берег рыбу и нанизывают на ивовые прутья. Ивовые тени в озере думают — превратиться в рыб или же ещё немножко подремать. Старая мельница раздумывает, развалиться ей сейчас или же погодить и когда-нибудь пропеть песню о зерне и сказке. Серебристая змея почуяла дух загорелых крепконогих мальчишек и — подальше от греха — поспешила спрятаться в водорослях — головы не видно, а тело, извиваясь, поблёскивает в воде. Буйволы подышают от жары, но в воду войти ленятся.

Именно в эту минуту в законодательном Париже была перерезана лента и открылась выставка «Турецкому искусству десять тысяч лет». Организатором выставки был молодой смуглый красавец мужчина, и европейцы, женщины и мужчины, поверили, что это искусство турецкое и очень старое — и пантюркистская карта ещё на немножко стала правдоподобной и осмысленной, Армения страна далёкого случая и самоуправляющийся город Ереван лихо и свободно зажил в центре этой страны.

В ту самую минуту, когда в Париже перерезали ленточку на выставку древнего искусства Турции, возле Мецаморского кургана, чуть подальше тростников, там, где в Сардарпатскую войну стояла армянская артиллерия — артиллерия армян, — на этом самом месте

¹ Армянские партии.

вдруг расстелилась большая скатерть и выстроились на ней стаканы, рюмки и соки, коньяк, зелень, лаваш, сыр, соль, Юпитер, созвездие Айка, туманности Амбарцумяна — незнакомые женщины и мужчина расстелили на скатерти наше гостеприимство и сами исчезли. Сам собой зажёгся костёр, сам собою рухнул-потух и с шампурами над тлеющими головешками стал поджидать гостей-астрономов. Под божьим взором пребывает Гора, глухая и самоуглублённая — вечный йог. (И затем замкнулись под водой мутные истоки родниковые, и затворились врата небес, и вода на земле стала убывать, и ковчег сел на гору Арарат, и Ной подождал ещё семь дней, и на рассвете сошёл в Араратскую долину.) На старой потухшей мельнице вещи ждут одного волшебного взгляда — чтобы откатиться под этим взглядом на тысячу лет назад и на глубине двух тысяч лет не принадлежать никому, чтобы подраться на рубеже третьего и четвёртого тысячелетий и густой шеренгой незначительных потерь проложить путь и выйти на светлую опушку во тьме. Мецамор, девятнадцатый век до нашей эры, кузнецы посредством могущества огня освобождают железный меч из каменного заточения — зынг-зынг-зынг. Гора плавает над туманами, мальчишки вылавливают рыбу в воде и швыряют на берег, буйволы стонут в водоёмах, астрономы из тьмы колодцев наблюдают напряжённое равновесие Вселенной, косари, убрав урожай, зарезали бычка у входа в храм для детей своих и подручных — они считают себя армянами и именуют страну свою — Айка.

Весь холм, раскопки, астральная карта на камне, фундамент то ли жилья, то ли храмов, совершенно очевидное глиняное капище печи, обуглившаяся кость в горне, целый склад неиспользованных костей — чего не хватает нам, чтобы расшифровать иероглифы под мхом — «Хиксос» или «Хайксос» или «Айксос» или же «Хай»? — или само божье наказание — чего не хватает для расшифровки? Не хватает танков, бомбардировщиков, истребителей, десантников, сапёров — армии в сто дивизий. Этого у нас нет. Что нам выставить вместо армии? В Музее этнографии — гостеприимство и вежливость — снискав тем самым симпатию гостей-астрономов.

На вершине кургана сидел курд, под курдом на камне — созвездие Большой Медведицы, и, посвистывая, он говорит себе, что здесь ничего, неплохое место, можно сидеть и поджидать, не появится ли потерявшаяся лошадь, раздумывать о жизни, о том, какая она никчёмная, о разных вещах, начиная с цены на лошадь и кончая ценой человеческой жизни вообще. Э, папиросу бы.

— Ты курд? Добрый день.

— А что? Дайте закурить.

— Так, спрашиваю.

— Я армянин, христианин.

— Какой же ты христианин-армянин, ты курд.

— Э, да что во мне курдского, одна лошадь у меня, и та потерялась, лошадь и одиннадцать детей.

— А овец нет?

— Одиннадцать детей.

— А на что тебе лошадь, если овец не держишь?

— Да где же у меня лошадь — нету, потерялась.

— Ну так и шут с ней, на что тебе она?

— А в горы поехать посмотреть, как там мои овцы.

— Сколько их у тебя?

— Штук пятнадцать было, четыре сдохли, осталось сорок.

— А говоришь — нету?

— Этой ночью волк их сожрёт — и не станет их у меня.

- Может, и не сожрёт?
- Отнесу это «может» на базар, продам.
- Значит, ты плохо живёшь?
- Почему это я плохо живу?
- Одиннадцать детей ведь.
- Ребёнок — достаток, прокормить не трудно, но сами дети — большой достаток.
- Сколько тебе лет?
- Сколько дашь?
- Сорок — сорок пять.
- Сорок.
- А жена какого возраста?
- Женщина живёт себе, на что ей возраст?

Над Мецамором пролетел и пошёл на посадку суперлайнер, и печаль буйволов и сами буйволы с крутыми шеями были красивы.

— Знаешь, чьи они? — не то пояснил, не то погрозились погонщик буйволов, — их хозяин в зооветинституте работает, диссертацию пишет, в Министерстве сельского хозяйства, значит, сильную защиту имеет, раз сумел заставить наше руководство держать этих буйволов для диссертации. Теперь эти буйволы от этой диссертации зависят, как только диссертацию кончат — мы их тут же под нож.

- А если он в диссертации докажет, что буйволов держать выгодно?
- Кто? Преподаватель?
- Ну да.
- Ну рассмешил — он, что ли, должен говорить, что хозяйству выгодно?
- А кто же?

— Выгодное — и так выгодно, а что преподавать в зооветинституте выгодно — это факт. А вы, случайно, не оттуда же? Но ведь стыдно, приходят посмотреть на старую древнюю обсерваторию, а видят буйволов. Я, например, не учёный, но ведь стыдно же. Программа, значит, такая — от края села забираем старое кладбище и этот курган, конечно, ставим высокую стену, институт древностей — туда же, тогда вопрос буйволов решится сам собой. Потому что водоёмы тоже входят в музей.

- Это кто же так запрограммировал?
- Это я придумал, но вроде они тоже что-то такое наметили.
- А если село не отдаст им свои земли?
- И это учтено. Передаём музей какому-нибудь сильному учреждению. Например, обсерватории Виктора Амбарцумяна — обсерватория потребует у Министерства сельского хозяйства отдать им эти земли, и всё, пусть попробуют отказать.
- Это тоже ты придумал?
- А что тут мудрёного? Нет, не я.
- А кто же?
- Здешнее руководство, местные.
- Корюн, что ли?

— Мкртчян? Мкртчян геолог, его дело воду искать, а эту обсерваторию он добровольно нашёл. Послали воду искать, а он им — это. Здешним хозяином был заведующий буйволиной фермой — сориентировался, пришёл и говорит — я тут сторожем, мол, буду. Ни зарплаты, ничего. А он не уходит, торчит, сторожит вроде — дали ставку. Теперь зарплату от академии получает, фактически дальновиднее меня оказался.

- Ты больше получаешь или он?
- Как?
- Ну кто из вас лучше живёт?

— Я, он там ерунду получает.
— А что же завидуешь?
— Да ведь не сегодня завтра буйволов ликвидируют, а у музея большое будущее.
— А сторожу что с этого? Пятьдесят лет мужику, учёным уже не станет.
— Людей видеть будет, разговоры интересные слышать, сам, глядишь, чего-нибудь скажет.

— Ты откудашний?

— Здешний.

— Коренной?

— Родители из Сасуна, а я тут родился. В нашем селе почти все родом сасунские. В восемнадцатом году пришли сюда, турок силой прогнали и живут с тех пор. Зейва турецкое имя, от них осталось.

— А что силой прогнали — хорошо это разве?

— По-моему, нет. Всего-навсего одно село турок было, а Ереван большой город, тысячу сёл в себя вберёт.

— А что турки вас из Сасуна прогнали, это как?

— Они, может, и со злым умыслом гнали, но мы теперь живём культурной жизнью.

— Сколько детей у тебя?

— Двое, мальчик и девочка.

— Что так мало?

— Не мало, мальчик и девочка — как раз. Сын в школе отличник, дочка музыке учится.

— Квартира, что ли, маленькая?

— Пять комнат, сад, кухня, теннис.

— А детей — мало.

— Интересно, да ведь не в старое тёмное время живём. Неудобно даже.

Из села выехал велосипедист, он маячит в поле в жатве, но вперёд что-то не продвигается, потом, оставив велосипед, с соломенной шляпой в руках бежит к нам трусцой. Время от времени что-то выкрикивает.

С залепленными грязью боками — пришёл и встал возле дверей мельницы буйвол — встал и замычал куда-то внутрь; змея почувствовала, что мальчики её заметили, и было поплыла, но через минуту вокруг её шеи обвилась проволока — обвязали проволокой и бросили обратно в воду, босенькие, нагишом маленькие мальчик и девочка, стоя в воде, руки на коленях, наклонились и, пугаясь, разглядывали и жалели полудохлую змею. С сорокадневными муками водой и огнём очистились замшелые иероглифы на скале, и улыбнулись как человек, открывающий тайну, и был приведён профессор из берлинских — московских профессоров, чтобы прочитать «Вселенная бесконечна и конечная черта Вселенной — безумие», но он прочитал «аливали», ну да, али вали, то есть Али Вали, то есть Али и Вали, и получилось, что два турецких чабана, в старом селе Зейва, овцы — на холме, волков нет, сидят, выводят на мягком туфле ножиком: «Али, Вали»; водитель грузовика заметил, проезжая, полноводный мецморский родник, остановил машину, пришёл с товарищем поесть возле воды колбасы с лавашем и перцем и уехать, оставив яичную скорлупу и шкурки от огурцов; курд нашёл-таки папиросу, сел на самом удобном месте и песнею поведал миру весть о потерявшейся лошади и про другие земные печали, небритый погонщик буйволов решил с посторонним человеком судьбу Мецморского кургана, его буйвол, поди, разворошил уже, сокрушил в старой мельнице научную легенду своих предков и предков своих хозяев; крепкие мальчишки баламутят воду в озере, а маленькие мальчик и девочка в одних трусиках бегут по пыльной дороге, волокут за собой полудохлую змею.

Человек в соломенной шляпе пришёл-добрался до нас, и в руках его блеснул рупор. И на него с завистью глядел погонщик буйволов. И чтобы приехавшие из Японии, Аргентины,

Цейлона и не знаю ещё откуда, чтобы весь этот недоверчивый народ не подумал, что Виктор Амбарцумян сделал свои научные гипотезы стоя посреди буйволов, потерявших лошадей, голых мальчишек и шоферни, лопающей огурцы, чтобы доказать, что предки нашего учёного были исключительно астрономами, надо очистить окрестность от всех этих непотребных деталей — оставить только голый курган. Человек в соломенной шляпе медленно поднял руки, рупор закрыл всё его лицо.

— Освободить холм от посторонних предметов!

— Предлагается освободить холм от всего постороннего!

Рупор, поблёскивая, поглядел на нас и обратился к погонщику буйволов:

— Тебе говорят, гони отсюда этих тварей, кто они там у тебя, не знаю!..

— Кто... не имеет непосредственного отношения к музею, попрошу освободить территорию!

— Иностранцы сюда направляются, освободите холм от посторонних предметов!

— Подите кушайте свои огурцы у себя дома, пошевеливайтесь!

Мы что — мы при галстукке, посторонние предметы, — это то, что связано с потерявшейся лошадей и буйволами, с севшими закусить водителями, босоногими мальчишками. Но это самое удобное место, отсюда лучше всего обозревается окрестность, и курд спросил:

— Что это он говорит?

— Говорит, ищи свою лошадь там, где нет японцев.

— А японец кто?

— Астроном, вон он, идёт сюда.

— Япония — где? Дайте закурить.

— Япония возле Китая.

— А, дикари, значит.

Водитель с дружкой кончили есть, напились всласть родниковой воды, поглядели на Масис, на небо, на задыхающийся клопочущий родник — всё это было связано между собой, и был в этом какой-то печальный смысл, не поддающийся определению, просто он был — в той мере, в какой есть этот смысл в любом божьем создании; им ничего больше не надо было от воды и еды, они были вполне готовы встречать иностранных гостей — глубоко уважая себя, они сели и стали ждать — они знают об Андранике, о Ное, о Париже, о коммунизме и капитализме, если надо, не ударят в грязь лицом, не подведут нашу нацию, а вообще-то что-то зачастили в Армению иностранцы, стоит, пожалуй, устроить небольшую мастерскую в подвале, изготовить изображения двуглавого нашего Масиса, маленькие модели храмов и продавать там, куда водят иностранных гостей, а то что это — водитель...

Председатель колхоза сидел возле обнаруженных ночью карасов, все голоса и намерения Араратской долины отражались и гасли в этих карасах, и человек этот чувствовал, что сейчас он совершит преступление. Как Америка не принадлежит американскому президенту, так и сад этот не принадлежит ему, председателю, пропади всё пропадом, пусть делают здесь свой музей, пусть виноградарь станет сторожем, распахивающим перед гостями двери в музей, а хлеб и вино пусть привозят сюда на самолёте из Мадагаскара. А если что случится с самолётом, пусть жрут музейные карасы и бусы.

Вереница светлых машин зигзагами спустилась из высокогорной Бюраканской обсерватории, с неторопливостью въехала в долину и доехала, поблёскивая на солнце, к виноградникам. Остановилась. Как, уже? Помедлив, машины взяли курс на Мецамор. Бедный Мецамор, бедный Зейва, бедный Эчмиадзин. Слушайте, я в своём саду это нашёл, — моё, значит, а раз моё, что хочу, то и делаю, не желаю хранить, разбиваю к чертям — р-раз!

Аргишти, говорите, сам крепость построил? — р-раз! — вино пил? — ещ-щё! — он войско укреплял, дело какое-нибудь делал или стоял сторожем — сторожил меч своего деда? — р-ра-аз! И наконец Аргишти — царь, а я простой крестьянин — тахк! — наши интересы не совпадают, идите Маркса читайте — тахк-тахк! Большой страной были, ничего не осталось, а что осталось — то, значит, Аргишти отдать? Тахк-тахк-тахк... До чего крепкие, проклятые. Не заметил ли кто — тахк! Аргишти. Ничего себе имя. Нет чтобы Вазген, Аршак, Месроп, Геворг, Врам, — а то Ар-гиш-ти. Соленья в них, наверное, здорово хранить, знала бы Варсик... Эй, иностранцы, Аргишти зовёт вас, хочет виноградом попотчевать, идите сюда. А на земле сорок дней потоп был... И ковчег опустился на гору. И земля впитала в себя воду, и Ной сошёл в Араратскую долину. И, слушайте, у нас дома потопы не было, идите у себя дома его ищите.

Мальчишки нагишом обступили родник и смотрели-вглядывались в далёкие туманы. Рупор им приказал:

— Кто это бросил змею в воду, забирайте её и марш отсюда. Сюда люди идут.

Они медленно повернули короткие шеи к рупору. Они ему ничего не ответили — только медленно повернули короткие шеи к рупору — и гостями здесь были — соломенная шляпа, группа тех, что были при галстуках, сам рупор, музей, эта немножечко европейская армянская скатерть-самобранка, Ной, хиксосы, завезёнными были даже ивы — коренными были только они. Они словно не увидели рупора...

Но через минуту они уже спускались вниз, вдоль Мецморской речки. Загорелые спины, сами крепкие, и шеи короткие, штанины закатаны выше колен. Один из них поглядел со спокойной грустью, потом подпрыгнул и забил по земле набирающей темп рысью — побежал к Вагаршапату — так и так, дескать, архимандрит Маштоц несёт письма... Возле пшатового дерева стоит отец истории Мовсес, смотрит устало-устало, исчезая в лучах солнца, идут киликийские посланцы — процессия с гробом блаженного Маштоца направляется в Ошакан. Великий патриарх Нерсес сильно разгневался, стуча посохом по земле, идёт-спешит во дворец — послушай, Аршак, послушай, сынок, нельзя же так... в жарком мареве идут слепой Тиран, грамматик, сумевший из зыбкого теста скатать круглый ком несовершенного постижения мира, а высокая длинная тень Туманяна маячит-кружит над оравой задремавших сирот. «И как мне заменить мою больную овцу на чужого зверя, чьё незыблемое здоровье — уже напасть». «Ты нам не патриарх, значит».

Всё это так и пребудет так, пока ещё бетон не насел, не навалился всей тяжестью, не задушил эту прекрасную, сумасшедше-прекрасную землю. И меня. И вас.

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЗЯИН. <i>Повесть</i>	3
ПОХМЕЛЬЕ. <i>Повесть</i>	179
МЕЦАМОР. <i>Эссе</i>	289

Грант Игнатъевич Матевосян

ХОЗЯИН

Редактор *Е. А. Метченко*
Художественный редактор *А. С. Томилин*
Технический редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *Т. В. Малышева*

ИБ № 7170

Сдано в набор 27.04.89. Подписано к печати 13.09.89. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 17,99.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 242. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Матевосян Г. И.

М 34 Хозяин: Повести. Пер. с арм. — М.: Советский писатель, 1989, — 336 с.

ISBN 5–265–00774–1

Новая книга лауреата Государственной премии Гранта Матевосяна включает повести «Хозяин» и «Похмелье» и эссе «Мецамор». В повести «Хозяин» лесник Ростом Саргсян не боится выступить против корысти, цинизма и равнодушия, разрушающих человеческую веру и надежду. Повесть пронизана тревогой, болью и любовью к судьбам народным.

В повести «Похмелье» автор впервые обращается к городской тематике, остро и иронично изображает жизнь съехавшихся со всех концов страны слушателей сценарных курсов.

Эссе «Мецамор» — это размышления о национальных истоках.

М $\frac{4702080201 - 356}{083(02) - 89}$ 276 – 89

ББК 84 Ар 7

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

КОСЫНКА Г.

Гармония

Повести, рассказы. Пер. с укр. — М.: Советский писатель, 1990 (I кв.).
— 20 л. — ISBN 5—265—01405—5 (в пер.): 1 р. 50 к., 30 000 экз.

В книгу реабилитированного сегодня выдающегося украинского прозаика, признанного мастера малой формы, вошли лучшие произведения, написанные в 20 — 30-е годы.

ШЕВЧУК В.

Каменное эхо

Повести. Пер. с укр. — М.: Советский писатель, 1990 (III кв.).
— 25 л. — ISBN 5—265—01413—6 (в пер.): 2 р. 10 к., 30 000 экз.

Известный русскому читателю своими историческими повестями украинский прозаик Валерий Шевчук в новую книгу включил необычные, разножанровые произведения. Повесть «Маленькое вечернее интермеццо» — это весёлая история о любви немолодой уже девушки, «рассказанная» с грустью её котом; повесть «Двое на берегу» — трогательное повествование о дружбе между стариком и мальчиком; «Каменное эхо» — повесть о молодом человеке, который ищет душевное равновесие и благородную цель в жизни.

МРИЙ

Записки Самсона Самосуя

Роман, рассказы. Пер. с белорус. — М.: Советский писатель, 1990 (I кв.).
— 22 л. — ISBN 5—265—01344—X: 1 р. 90 к., 30 000 экз.

С опозданием на шестьдесят лет выходит к русскому читателю талантливый белорусский писатель-сатирик Андрей Мрий (А. А. Шепелевич, 1893 — 1943). В романе «Записки Самсона Самосуя», написанном в конце 20-х годов, он показывает типичного выскочку, пробирающегося из мещанских низов к вершинам советской власти, и бичует чванство, зазнайство, безапелляционность, самовлюблённость — пороки, с которыми продолжается борьба и сейчас. Атмосферой тех лет проникнуты такие рассказы как «Лицом к деревне», «Непростой человек», «Командир» и др.

МАРТИНОВИЧ А.

Груша на голом поле

Роман. Пер. с белорус. — М.: Советский писатель, 1990 (III кв.).
— 26 л. — ISBN 5—265—01342—3 (в пер.): 2 р. 20 к., 30 000 экз.

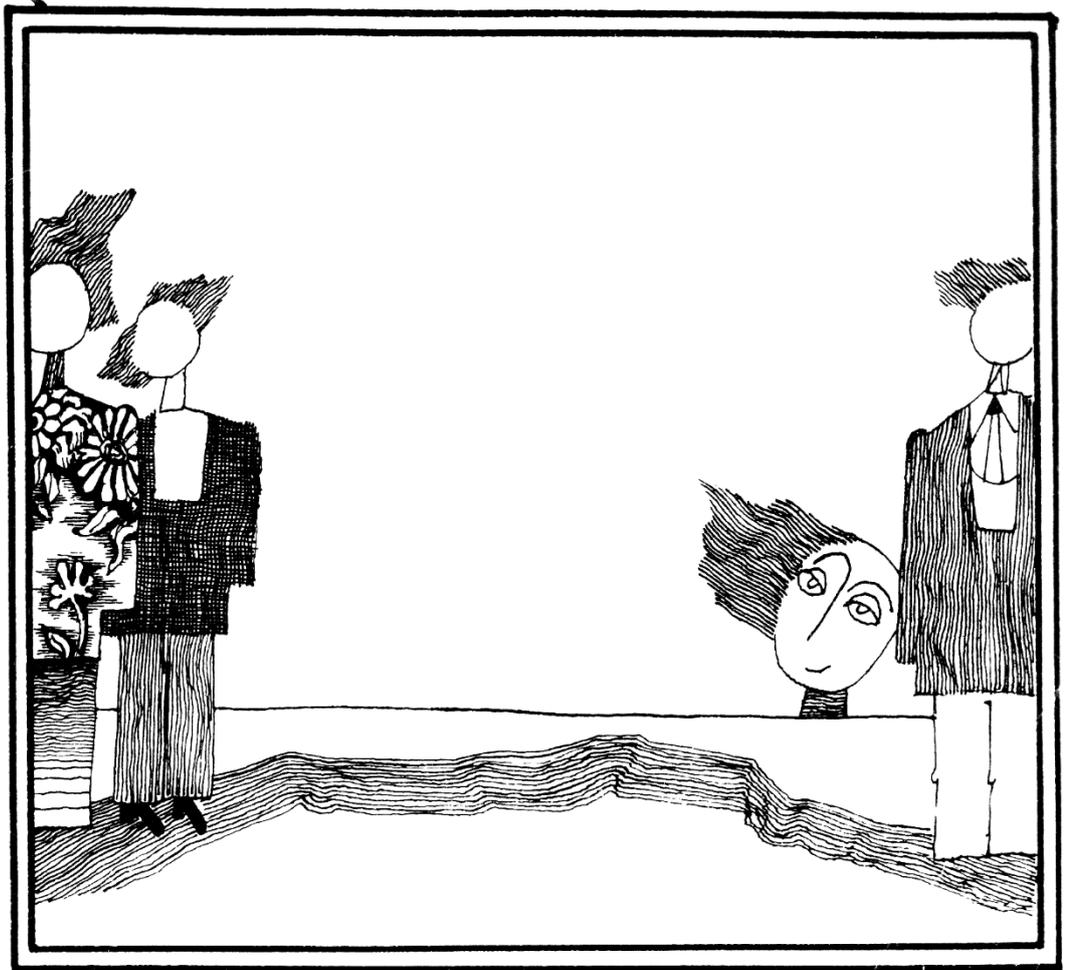
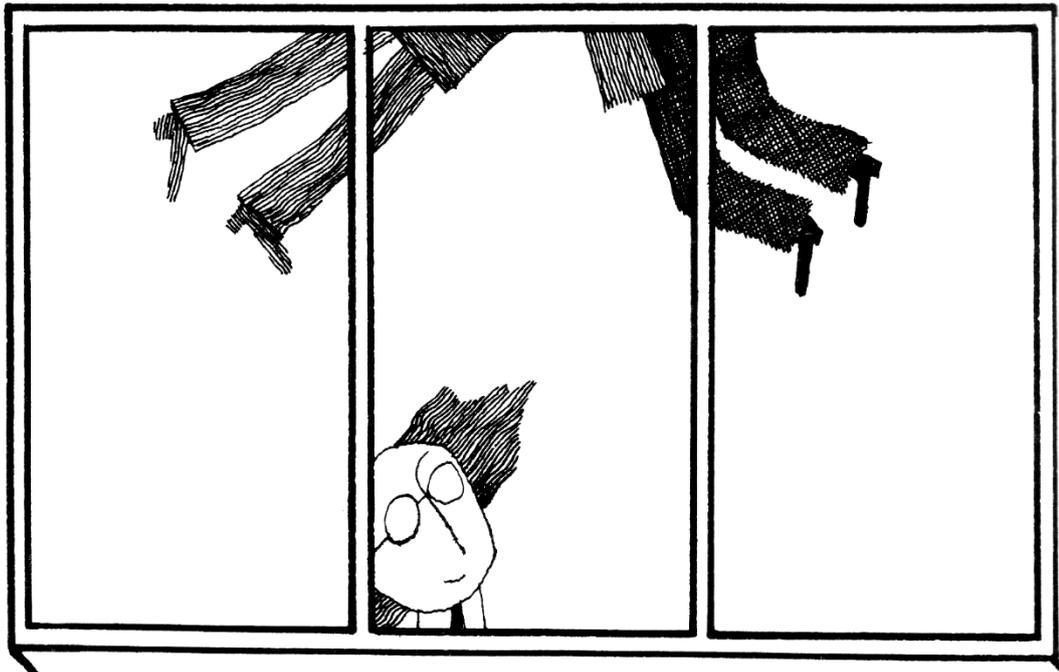
Новый роман известного белорусского поэта, прозаика Аркадия Мартиновича «Груша на голом поле» повествует о ратном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Новый поиск, новое осмысление неумирающей темы с высоты прошедших сорока с лишним лет после войны.

МЕЛЕЖ И.

Фронтовые дневники

Рассказы, воспоминания. Пер. с белорус. — М.: Советский писатель, 1990 (II кв.).
— 15 л. — ISBN 5—265—01343—1 (в пер.): 1 р. 20 к., 100 000 экз.

В книгу одного из талантливейших прозаиков Белоруссии, лауреата Ленинской премии СССР, народного писателя Белоруссии Ивана Мележа (1921 — 1980) «Фронтовые дневники» вошли лучшие рассказы и дневниковые записи, до настоящего времени не публиковавшиеся.



1 p. 20 к.

